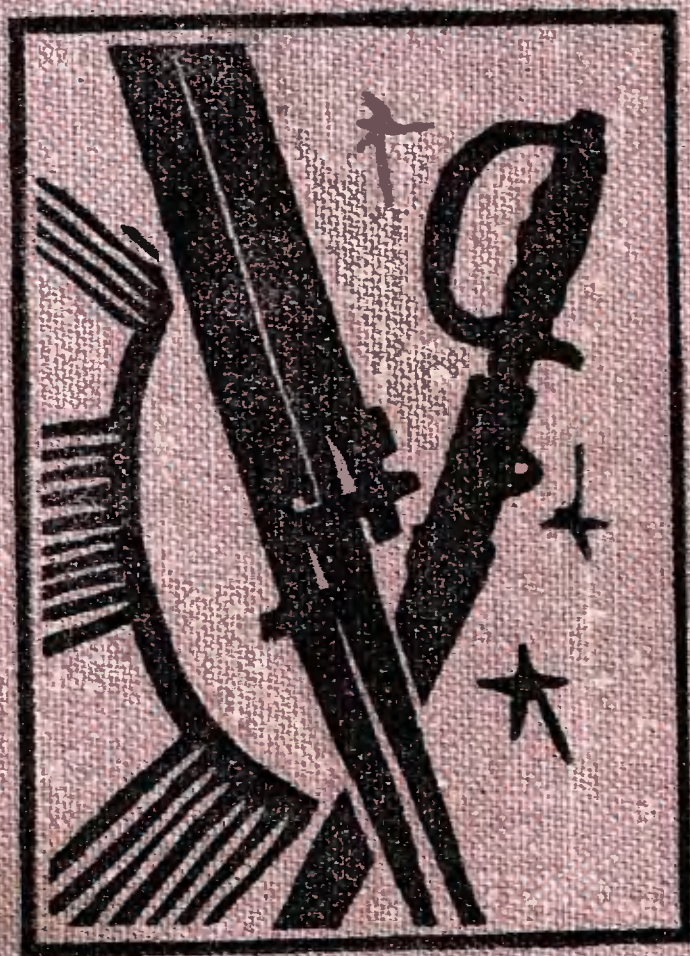


АБЛИКАММА  
НУПЕИСОВ



крушение



БИБЛИОТЕКА  
**ДНН**  
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Сурен Агабабян  
Ануар Алимжанов  
Сергей Баруздин  
Альгимантас Бучис  
Константин Воронков  
Леонид Грачев  
Анатолий Жигулин  
Игорь Захорошко  
Имант Зиедонис  
Мирза Ибрагимов  
Алим Кешоков  
Григорий Корабельников  
Леонард Лавлинский  
Георгий Ломидзе  
Михаил Луконин  
Андрей Лупан  
Юстинас Марцинкявичюс  
Рафаэль Мустафин  
Леонид Новиченко  
Александр Овчаренко  
Александр Руденко-Десняк  
Инна Сергеева  
Леонид Теракопян  
Бронислав Холопов  
Иван Шамякин  
Людмила Шиловцева  
Камил Яшен**

Б И Б Л И О Т Е К А « Д Р У Ж Б Ы Н А Р О Д О В »

# АБДИЖАМИЛ НУРПЕИСОВ

## крушение

Р О М А Н



КНИГА ТРЕТЬЯ  
ТРИЛОГИИ «КРОВЬ И ПОТ»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1975

С(казахск)2

Н 90

Авторизованный перевод с казахского  
Ю. КАЗАКОВА

Художник Т. КОРМУШИНА

Н  $\frac{70302-009}{074(02)-75}$  70—75 (подписное)



Абдижамил Каримович НУРПЕИСОВ родился в 1924 году в местечке Бел-Аран на берегу Аральского моря. Вырос он в маленьком рыбацком поселке. Там учился в школе, там же в 1942 году был призван на военную службу.

Жизнь знакомила будущего писателя с различными людьми, заставляла задумываться над природой мужества и малодушия; фронтовыми дорогами провела его до берегов Прибалтики, где на Курляндском плацдарме отчаянно сопротивлялась группировка фашистских войск.

После войны весь этот запас наблюдений и впечатлений сложился в замысел романа «Курляндия».

А. Нурпеисов идет от реальных характеров. За художественным вымыслом в его романах часто стоят действительные факты. Автор хорошо знает жизнь своих героев, потому что это и его жизнь, жизнь его народа.

Трилогия «Кровь и пот», которой писатель отдал почти десять лет творчества, охваты-

вает период предреволюционных «сумерек» 1916 года, революции 1917 года и гражданской войны в Казахстане. В этой книге слиты воедино размышления о прошлом и будущем народа, о судьбе нации на переломном этапе истории, об уходящем и нарождающемся. За трилогию А. Нурпеисов удостоен Государственной премии СССР 1974 года.

В первой книге — «Сумерки» (опубликована на русском языке в журнале «Дружба народов» в 1965 году) с большой художественной силой запечатлен процесс усилившегося перед революцией социального расслоения в казахской степи. В рыбацком поселке, куда приводит нас писатель вслед за главным героем романа Еламаном, уже не так заметны родовые отношения и привязанности. Рыбакам все равно, кто из какого рода, — лишь бы умел работать. «Общая судьба, общий и котел». Но хотя и сближал рыбаков коллективный труд, все они разные, их единство неосознанно и рушится при всяком серьезном испытании. Капитализм разлагающе действует на души людей: прежний друг Еламана Дос неласково встречает приехавшего с фронта Еламана, боится, что появление в поселке смутьяна поколеблет его благополучие. Но не может человек притерпеться к унижениям, и хотя он одинок в мире и подвластен слепой судьбе, обстоятельствам, но уже способен на протест (Еламан убивает Федорова, пославшего на верную гибель рыбаков, ведет восставших бедняков против волостного; Кален убивает волостного). Разбуженный событиями 1916 года, когда царь нарушил свою

клятву не брать казахов на военную службу, казахский народ не может бездействовать, но как действовать — еще не понимает.

Во второй книге трилогии — «Мытарства» (на русском языке напечатана в журнале «Дружба народов» в 1967 году) характер Еламана, отзывчивого на чужую беду, терпеливого, упорного, обретает новые черты, связанные с сознательной социальной активностью. Годы тюрьмы, фронт, потеря младшего брата Рая не прошли даром для Еламана, никогда раньше не думал он так много, ему не хватало сердечности, сострадания к людям. По-новому оценивая измену Акбалы, ее тяжкую жизнь, по-иному он пытается оценить и окружающее.

Постепенно пережитки родового сознания уступают место сознанию социальному, классовому. Не стихия индивидуалистического бунта ведет теперь Еламана, а осознанное участие в коллективной борьбе за правое дело. В единении народов видит он противодействие байскому беззаконию и произволу.

В третьей книге трилогии — «Крушение» (журнал «Дружба народов», 1972 год) Еламан, боец Коммунистического полка Красной Армии, выполняет ответственные задания комиссара полка Дьякова. Именно Дьяков олицетворяет в романе идею интернационального объединения, совместных усилий русских и казахов в борьбе против армии Колчака.

А. Нурпеисову удалось показать в романе историческую вину и неизбежность гибели белой армии, обреченность жестоко сопротивляющегося феодального байства. С мыслью о всесветном крушении,

конце мира уходит из жизни мурза Танирберген, красивый, умный, энергичный, цивилизованный.

На страницах трилогии мы встречаемся с обаятельными женскими образами. Автор страдает своим героиням — судьбы их изломаны средой, борьбой за существование.

Нурпеисов умеет передать движение истории через драматические перипетии человеческих судеб.

Писатель много ездит по республике. В газетах и журналах появляются его очерки о героях труда, о хлеборобах Казахстана («Сказание о белоликой пшенице» — 1971, «Хлеб — добро народное» — 1972, «Край голубых гор» — 1973, «Дума Аутена» — удостоена первой премии «Литературной газеты» за 1974 год). Эти поездки и встречи дали А. Нурпеисову материал для сборника лирических очерков о современниках «Край родной».

Русская литература всегда в поле зрения писателя. Еще в студенческие годы А. Нурпеисов переводил рассказы Чехова и Горького. В 1956 году в Алма-Ате вышел в его переводе на казахский язык сборник рассказов М. Горького «Знахарка», А. Нурпеисов пишет о Тургеневе (статьи — «Могучая поэзия жизни», «Слово о Тургеневе»). О дружбе казахского просветителя и общественного деятеля Чокана Валиханова с Достоевским идет речь в статье «На земле Чокана и Абая».

За заслуги в развитии казахской литературы А. Нурпеисов награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». За участие в Великой Отечественной войне — боевым орденом Красной Звезды.

## ● ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

-Заходи! Кто там?— крикнул Мюльгаузен, заслышав стук прикладов и грубый топот сапог в сенях.

Мюльгаузен в нетерпении вышел из-за стола, но там, за дверью, не спешили. Перед тем как войти, задержались у слегка приоткрытой двери, сморкаясь и глухо переговариваясь. Кто-то старательно откашлялся, прочищая простуженное горло, будто собирался петь. Кто-то поспешно докуривал самокрутку, а потом сплевывал и гасил, тщательно растирая каблуком окурок по грязному полу. Наконец человек шесть командиров в разномастной одежде ввалились в комнату.

«Вояки!» — подумал Мюльгаузен, разглядывая их. В комнате было пусто, голо — несколько грубых скамеек и стол. Мюльгаузен ходил перед столом, пока остальные рассаживались, и под сапогами его потрескивали рассохшиеся половицы.

— Все собрались?— громко спросил он, останавливаясь.— Готовьте людей, выступаем.

— Куда?

— В долину Жем.

— От... продотряда известия?— спросил Ознобин. Голос его вдруг сел, и он закашлялся.



— Помощи просят.

— Там же тихо было. Опять Дутов?

— Ну, готовьте бойцов. Только быстро!

Командиры торопливо поднялись, вывалились гурьбой, затопали в сенях и по крыльцу. Остался один Ознобин. Он сидел понурясь, крепко сжимая узловатыми пальцами свою старую замасленную кепку, с которой не расставался ни зимой, ни летом, и терпеливо ждал, когда наконец Мюльгаузен заговорит с ним. Длинный, сутуловатый, он совсем согнулся и сидел неподвижно, словно вечерняя тень.

— Ну, что скажешь?— спросил Мюльгаузен, разглядывая его.

— Как у них там дела?

— А я откуда знаю? Небось несладко...

— Патронов у них мало... Ты с дивизией не связывался?

— А?

— С дивизией, говорю...

Мюльгаузен только гмыкнул. Переспросить Ознобин не решился. Он не любил, когда у Мюльгаузена становилось кислое лицо, говорить с ним в такие минуты было тяжело.

— Свяжись с дивизией,— все-таки выговорил он.— Они ближе к долине Жем, чем мы, скорее подойдут на помощь.

— Гм... Еще чего скажешь?

— Там ведь у нас есть еще продовольственные отряды. Вот бы их объединить! Пока Дутов с ними возился бы, мы бы и подоспели...

Мюльгаузен сел за стол, нахмурился. Взял какую-то бумагу, начал читать, потом бросил, усмехнулся.

— Я гляжу, на кой нам комиссар со стороны? У нас свой есть.

— Тут не до шуток...

— А я не шучу.

Ознобин поднялся и, напяливая на ходу кепку, вышел. Голову держал он понуро, руки поматывались, будто пришитые. «Вот старый хрен!» — подумал Мюльгаузен.

Не успели затихнуть шаги Ознобина, как хлопнула дверь и в комнату торопливо вошла телеграфистка. Мюльгаузен поднял на нее настороженные глаза.

— К нам комиссар выехал!

Она протянула ему телеграфную ленту, но Мюльгаузен не взял ее, холодно рассматривая возбужденную девушку: «Дура! Чему радуется? Нам бы боеприпасов побольше, а не комиссара...» Телеграфистка положила телеграмму на стол, растерянно поглядела на Мюльгаузена и ушла.

Оставшись один, Мюльгаузен откинулся на стуле, покосился на ленту издали. «Приедет хам какой-нибудь в кожаной тужурке!» — подумал он. Поднялся, обошел стол, на ходу захватил, смял в кулаке ленту. Опять начали скрипеть половицы под тяжелыми шагами.

Ему почудилось было, что кто-то поднимается на крыльцо. Он круто остановился. Короткая, с бычьим загривком шея его не поворачивалась, и, остановившись, он по-волчьи, всем телом поворотился к двери. Но никто не вошел. Мюльгаузен подошел к окну и оперся о подоконник.

Старый карагач, зимой и летом возвышавшийся над домом, теперь изгибался под ветром, шелестели засохшие листья, скрипели и гудели ветви. Со станции донесло гудок паровоза.

Мюльгаузен закурил, жадно затянулся. То ли звуки, шорохи с улицы, то ли табачный дым так подействовали на него, но он успокоился и решил доложить о неприятных известиях командиру дивизии. Он потянулся было к телефону, но раздумал. Прежний командир дивизии погиб в бою под Эмбой, а с новым Мюльгаузен не ладил. Они еще не видались друг с другом, но уже одна фамилия нового командира приводила Мюльгаузена в ярость. Хан-Дауров! Надо же — Хан-Дауров!

Телефонные разговоры с Хан-Дауровым только злили Мюльгаузена. Он не выносил рокошущего в трубке командирского баса, раскатистого, как рык медведя в берлоге, с кавказским акцентом, и даже трубку отстранял от уха.

Видит бог, это он нарочно посылает к нему комиссара, чтобы связать его по рукам и ногам. Ну что ж, пускай приезжает! Пускай попробует связать! Гм... Хан-Дауров! Бывший царский офицер. Теперь лижет задницу красным. И ведь новый человек, ни черта не знает, не разбирается в здешней обстановке. У населения нет

хлеба, у рабочих отрядов — патронов! Вот о чем надо заботиться. Нет, он посылает ему комиссара!

После того как атаман Дутов захватил Оренбург, положение рабочих отрядов стало критическим. Связь с Москвой была прервана. Доставка боеприпасов, оружия и продовольствия прекратилась. Дней пять назад кое-как сколотили рабочий отряд во главе с одноруким сыном Ознобина и отправили в долину реки Жем выбивать хлеб. Завтра или послезавтра отряд должен был вернуться с хлебом. И вдруг страшная весть — появились передовые сотни атамана Дутова! Ах сволочи, ведь разобьют отряд!

Мюльгаузен все же позвонил в штаб дивизии. Только он начал было рассказывать об отчаянном положении продотряда, как начальник штаба перебил его и сообщил новость почище: узнав о подходящих частях Дутова, казаки подняли мятеж в Акбулаке и Мартуке.

— Грузи бойцов в эшелон и с ходу подавляй мятеж! — приказал начальник штаба.

Мюльгаузен побежал на станцию. Все это лето стояла жара. Но со вчерашнего дня погода испортилась, с севера задул пронзительный ветер. Туго охватывая тело, он проникал в рукава, за пазуху. Глаза Мюльгаузена сразу начали слезиться. Он пошел боком, загоразживаясь рукавом. Стоило чуть повернуться, как песок начинал сечь лицо.

Ветер вылизал землю, отшлифовал ее, словно доску. Сапоги по земле стучали, как по камню. Мела песчаная поземка.

Мюльгаузен сплевывал скрипящий на зубах песок и думал, что в такое время опасен любой мятеж, даже самый малый, что злоба вспыхивает как порох, тронутый огнем.

Подходя к станции, Мюльгаузен увидел знакомую суматоху перед отправкой. Слышались торопливые обрывки команд, крики, звон котелков и фляг. Бойцы тащили подсумки с патронами, бегом катили пулеметы, карабкались в вагоны. На двух платформах в конце эшелона громоздились два орудия. Они смутно темнели и издали были похожи на залегших в золе верблюдов.

Мюльгаузен пошел вдоль вагонов. Плоская коробка маузера, болтаясь на длинных ремнях, хлопала его по ляжке. Круглая шапка с красным бантом была сдвинута



набекрень. Любуясь сам собой, он все поглядывал на часы, подзывал к себе то одного, то другого, торопил, покрикивал густым, севшим на ветру голосом.

Но когда суэта у эшелона прекратилась и Мюльгаузен собирался уже подать команду к отправлению, его внезапно позвали к телефону. На проводе был Хан-Дауров.

— Мы бросаем на подавление мятежа Ташкентский отряд... — рокотал в трубке кавказский бас.

— Но мы уже погрузились...

— Ничего, разгрузишься! Отряд держи под ружьем, понял? У кавалерии Дутова ноги длинные, сегодня здесь, завтра у вас. А мы, дорогой, вовсе не намерены сдавать еще и ваш город.

— Ну, а может быть, что он сюда и не сунется?

— Все может быть, дорогой.

— Так что нам у моря погоды ждать?

— Зачем так говоришь, зачем погоды? Нездоровые настроения у тебя, дорогой! Не погоды ждать, а заниматься боевой и политической подготовкой в отряде. Кстати, почему молчишь о комиссаре? Комиссар был?

— Нет еще...

— Как нет? Алло! Алло! Давно должен быть. Разыщи его, звони на все станции, головой отвечаешь, понял? Ал-ло... Алло!.. — надрывался на другом конце провода Хан-Дауров.

Мюльгаузен швырнул на рычаг трубку и вышел на улицу. Постоял, сплевывая и матерясь про себя, потом закурил, сунул руки в карманы и пошел в штаб отряда. Сжатые кулаки его были круглы и тяжелы, как булыжники. Скорым шагом он уже подходил к двухэтажному дому, где расположился штаб отряда, когда какой-то верховой поравнялся с ним. Мюльгаузен покосился на шубу и тумак всадника и отвернулся, решив, что это один из назойливых аульных казахов, ищущих, чем бы поживиться возле отряда. Всадник в шубе не отставал, ехал рядом, наконец сказал:

— Салам алейкум, Петька!

Мюльгаузен удивленно взглянул на казаха. Тот был страшно худ. Бледное лицо его густо заросло щетиной. Видно было, что долгие дни не слезал он с коня и теперь еле держался в седле. Конь под ним отворачивался от

ветра, грива и хвост его сухо шелестели. Всадник при каждом движении коня цеплялся за холку.

«Больной, что ли?» — подумал Мюльгаузен.

— А-а... Здорово! Ко мне?

— К тебе, к тебе...

— Чего ты у меня забыл?

— В отряд к тебе хочу вступить.

— Верблюдов, что ли, пасти? — Мюльгаузен засмеялся и пошел дальше. — Верблюдов у меня нет.

Еламан тронул коня следом. По затвердевшей земле громко застучали копыта. Обогнав Мюльгаузена, Еламан хотел спешиться, охнул, побледнел и повалился бы навзничь, если бы не поддержал его Мюльгаузен. Одной рукой придерживая Еламана, Мюльгаузен другой распахнул ему шубу. У левого плеча ситцевая грязная рубаха запеклась от крови.

— Что такое? Ну?

— Да так...

— Ранен, что ли?

Еламан вытер рукавом холодную испарину на лбу. Разлепил запекшиеся губы, хотел что-то сказать, но Мюльгаузен не стал слушать.

— Ступай в лазарет, ступай, после поговорим! — И пошел в штаб.

## II

Еламану все это время было тяжело. В прошлом году, уезжая из разграбленного рыбацкого аула в Челкар, он все думал о Мюльгаузене. Вообще-то Мюльгаузен немало добра сделал для него. Можно сказать, открыл ему глаза, за руку привел в большой мир. И все же, чем чаще думал Еламан о нем здесь, вдали от родных мест, тем больше убеждался, что между ними, как между равными, не было дружбы, согласия, теплого человеческого взаимопонимания. Мюльгаузен властен и крутонрав, больше всего он любит себя и совсем не считается ни с кем. Даже с друзьями он бывает груб и резок. При нем легко потерять достоинство, а это унижало Еламана. Но повернуть коня обратно, вернуться в аул рыбаков, где он распрощался со всеми, он тоже не мог.

В глухой, безлюдной степи Еламан оказался как бы на перепутье. И тут ему встретились караванщики. С наступлением осенних холодов аулы перекочевали на зимовье. Впереди были тяжкие месяцы зимы. И вот самые храбрые джигиты из нескольких аулов, собравшись вместе, отправились с обозом в далекий путь — в Кунграт и Чимбай за хлебом. Еламан еще думал и надеялся в глубине души, что может найти Айганшу. Ведь она убежала от басмачей Жонеут-хана почти на границе с Каракалпакией. Может, набредет на ее след... Он пристал к караванщикам да так и промаялся почти год на чужбине.

Несколько месяцев он проработал в Кунграте. Потом в поисках постоянной работы побывал в Хиве, в Ходжейли и в Ургенче. Но ни в одном из городов знаменитого Пятиградья он так и не прижился. И он к этому времени уже устал. Не нашел и Айганшу. Потерял всякую надежду найти ее и казался себе одиноким и несчастным. Весной примкнул было к воинственному племени казахов — адайцам. Но и у адайцев не мог он найти занятия по душе. Жить же без дела было невмоготу. Из аула в аул перебирался одинокий всадник, пока по дороге в Челкар не наткнулся вдруг на воров. Он стал уходить, отстреливаясь. За ним гнались, стреляли вдогонку и ранили в плечо. Еламан решил уже, что все пропало, но от смерти спас его легконогий темно-рыжий жеребец с белой звездочкой на лбу.

Да, помучился он за этот скитальческий год! Но что было, то прошло. Теперь он был рад, что опять очутился в Челкаре, что теперь он будет при деле, среди знакомых людей, с которыми когда-то пришлось ему жить и работать бок о бок.

Перебирая прошлое, Еламан забрел на какую-то кривую улочку и теперь не узнавал места. Он подосадовал на себя, что не расспросил, где лазарет. Небо плотно обложило тучами, и неизвестно было, сколько теперь времени и когда наступит вечер. Но потом Еламан увидел на западе, где тучи были почти черны, закровеневшую нижнюю кромку облаков — значит, скоро станет совсем темно.

Еламан испугался, что в темноте совсем заблудится, и прибавил шагу. На коне, хоть и болела рана и слабость кружила голову, было все-таки покойно в тумане

и шубе, но теперь, ведя коня в поводу, он почувствовал, что совсем взмок и выбился из сил. Тогда он снял тяжелый поярковый тумак и с удовольствием ощутил, как на ветру остывает потная голова.

Невдалеке от железной дороги стояли низкие каменные бараки. Еламан почему-то решил, что лазарет обязательно должен находиться в каком-нибудь из больших барачков, и побрел вдоль их унылой линии, не обращая внимания на другие дома. Но вдруг знакомый и неприятный степняку тошнотворный запах остановил его. Он поморщился и оглянулся. Прямо перед ним белел небольшой дом. Таких небольших и, как правило, заброшенных домов, называемых лазаретами, немало повидал он в свое время на турецкой земле. В них вповалку на матрацах или просто на полу сотнями валялись раненые и больные. Обросшие, грязные, изможденные люди. У одних были забинтованы головы, у других руки или ноги. Стоны, крики, вонь и запах лекарств стояли тогда в лазаретах. «Не проваляться бы мне здесь долго», — со страхом подумал Еламан и сразу озяб. После стычки с ворами на большой караванной дороге, чтобы остановить кровь, Еламан приложил к ране лоскут подпаленной кошмы. Теперь рана воспалилась, болела, и от нее шел гнилой запах.

Молоденькие сестры, увидев рану, сморщились и начали ругать и жалеть Еламана. Быстро промыв рану, наложили какую-то бурую мазь, крепко забинтовали плечо и, к великой радости Еламана, отпустили его восвояси, сказав, чтобы пришел на перевязку дня через два. Из лазарета Еламан вышел повеселевшим.

Сумерки сошли на город. Ветер заметно потеплел, но дул все еще сильно. Тополя перед лазаретом раскачивались, посвистывая верхушками. Еламан не прикрыл за собой ворота, и пока не свернул за угол они все скрипели и хлопали вслед ему, то открываясь, то закрываясь.

Еламану стало совсем хорошо на душе. Он быстро шел в надвигающейся темноте и улыбался, будто удачливый джигит, возвращающийся со свидания. Главное, что он приехал все-таки в Челкар и нашел рабочий отряд! А какие сомнения до этого терзали его! Сколько бессонных ночей он провел! В прошлом году, после набега басмачей, ему жить не хотелось. Весь мир ка-



зался черным. Теперь-то он посмеивался даже над своим тогдашним отчаянием.

Интересно все-таки создан человек. Так скрутит иногда тебя тоска, что душа корчится, как опаленная шкура. И тогда раздольный, огромный мир съеживается так, что кажется, весь уместится на ладони. Черная судьба схватит тебя, сожмет обручем и душит... Не выдержишь — и конец, задушит, ломает.

Это теперь он приободрился и повеселел, и какое-то неясное, но хорошее будущее проглянуло перед ним, как клочок синего неба в тучах. А ведь было время, его судьба чуть не сломала. Особенно в ту скитальческую пору, когда он не знал куда приклонить голову, а в груди было все выжжено и мертво. Не чувствовал он тогда тепла и сладости жизни, не замечал солнца и луны над головой, свет которых испокон веку приносит радость всему живущему на земле.

Потом, когда на душе у него немного полегчало, когда начало оттаивать заледеневшее сердце, он вдруг как бы очнулся и — о господи! — увидел такой же, как и в дни его детства, огромный светлый мир. Все так же всходила луна над степью, все так же грело солнце. И все было как прежде. Был кто-то счастлив и богат. И была у богатого на пастбищах тьма-тьмущая скотины, над головой — крыша, в постели — горячая баба. И был кто-то несчастлив и обездолен судьбой. И у такого обездоленного единственной надеждой и опорой в жизни были собственная силушка да натруженные руки. И жил он себе, довольствуясь долей, отпущенной ему скрягой-судьбой, такой скудной и ничтожной, будто горсть проса, брошенная курам.

Да, все живое на земле, будь то человек, или птица перелетная, или зверь, рыскающий по степи, все неустанно хлопочут, все бьются ради жизни, ради потомства, ради будущих поколений. И потому, пока ты жив, нечего робеть и забиваться трусливо в угол.

«А! Вот и пришел», — удивился Еламан, останавливаясь перед казармой, в которой располагался отряд. Он спросил какого-то бойца о Мюльгаузене. Того не было. Еламан растерялся: он никого не знал здесь, не знал, у кого просить постель.

Бойцы поужинали, и теперь кто пришивал пуговицу к шинели, кто прилаживал заплатку к прожженным

махоркой или у костра штанам, кто просто разговаривал, а кто и пел... В просторной, как конюшня, казарме тускло мерцала лампа. В дальнем углу шестеро бойцов, усевшись в круг, жадно накуривались на ночь, передавая после затяжки друг другу большую козью ножку, и огонек самокрутки ярко рдел в темноте.

Еламан, как всякий степняк, был непривередлив. Расстелив под собой одну полу большой шубы, он, не раздеваясь, лег.

Только теперь он почувствовал, как измотался за день и как охватывает тело сладкая предсонная истома. Сон борол его, а на заросшем, осунувшемся лице все еще бродила та нежная слабая улыбка, которой он улыбался, идя в темноте из лазарета.

«Интересно, здесь ли еще Акбала?— думал он.— Живет ли она у рыжего в доме или ушла? Или совсем уехала? Ну ладно, завтра узнаю... А теперь спать...» Так он и уснул, пригревшись, улыбаясь хорошим мыслям.

Проснулся он еще в темноте и сразу почувствовал, что не выспался, не отдохнул по-настоящему. Тело, побитое долгой верховой ездой, болело, кости ныли. Мало-помалу бойцы начали подниматься. Встал и Еламан. Кто-то уже входил с улицы, крепко стуча сапогами. Еламан стоял в проходе, поглядывая то на свою шубу, то на входивших с улицы бойцов. У дверей догорала в мутном стекле лампа. Большие тени метались, шевелились по стенам.

Еламан поднял с полу шубу и тумак, положил на нары. Оглушенный сном, он никак не мог взять в толк, что нужно делать, но когда все повалили на улицу, в одной рубахе вышел и он следом за другими. Во дворе он протолкался под струю ледяной воды и умылся. Потом вернулся в казарму, надел шубу, нахлобучил на голову тумак и опять вышел во двор. Бойцы во дворе уже строились. Еламан растерялся и не знал сперва, куда приткнуться в своей длиннополой шубе. Потом вспомнил, что в строю становятся по росту, поискал глазами в шеренге высокого, как и он, бойца и поторопился стать рядом. Пока он никак не мог приноровиться к обстановке. Ему и думать-то о чем-нибудь было некогда. Он только удивлялся, чувствуя себя лодкой, плывущей по течению. Его будто бросило в стрежень реки, и несло, и крутило, не давая дотянуться до берега. Куда

его вынесет, он теперь уже и не знал. Пока разберешься в этой заварухе, пока поймешь что к чему, глядишь, и вынесет тебя на какой-нибудь и в страшном сне не снившийся берег.

— Сми-р-р-рнааа!— раздался командирский окрик и тут же изумленно-насмешливое:— Эт-того еще не хватало!

Еламан внутренне съежился, быстро взглянул на нагнувшегося Мюльгаузена и отвел глаза.

— Как же пускаете его в строй в таком виде? А ну-ка марш из строя!

Еламан, понурясь, чувствуя на себе взгляды всех бойцов, отошел в сторону. Мюльгаузен не торопясь обошел строй, потом скомандовал «вольно!» и позвал к себе командиров отделений.

Со вчерашнего дня у него не выходило из головы, что от продотряда, посланного в долину Жем, по-прежнему нет известий. Если рассудить здраво, вряд ли удастся продотряду уйти от атамана Дутова. Если и была надежда, то только на однорукого сына Ознобина. Опытный солдат, прошедший германский фронт, он один мог что-нибудь придумать, как-нибудь выкрутиться.

Вчерашний приказ держать отряд в городе бесил Мюльгаузена. В бешенство приводил его и новый комиссар, застрявший черт знает где. Его ждали еще вчера к вечеру, как вдруг пришла телеграмма, что комиссар, выехав из Актюбинска, в дороге заболел и его сняли с поезда где-то возле Эмбы. Все складывалось плохо.

Ознобин предложил было послать к комиссару делегата, но Мюльгаузен только поморщился, буркнув: «А! Небось не помрет!» Все были поражены, но настаивать никто не посмел. Ознобин понуро опустил голову и нахмурился. Он лучше всех понимал состояние командира отряда, понимал, что для того был нож острый делиться с кем-то властью. Мюльгаузен вообще не любил комиссаров. Этих людей, вдохновленных партийной идеей, в последнее время стали уважать не только свои, но и враги. Мюльгаузен же был твердо убежден, что комиссар — это путы на ногах командира. И даже их одежда — кожанка, хромовые сапоги — и неизменная опрятность и подтянутость бесили его.

Так и стояли командиры, а перед ними молча прохаживался хмурый Мюльгаузен, когда прибежала

испуганная телеграфистка. В лице ее не было ни кровинки, она кусала губы, стараясь не разрыдаться. Встревоженные командиры окружили ее. Мюльгаузен быстро выхватил телеграфную ленту у нее из рук.

— Ну вот, докомиссарились! Эх!..

Ознобин побледнел и двинулся к Мюльгаузену. Ноги его ослабли, и он споткнулся. Он протянул было руку к телеграмме, но Мюльгаузен, сжав зубы, быстро разорвал ленту, и ветер тут же унес клочки. Ознобин с тоской глядел на командира и молчал...

### III

К полудню Еламан совсем замотался. Утром, похарчившись вместе с бойцами из общего котла, он пошел в баню. После бани отправился искать цирюльню. Побрившись, он заторопился на вещевой склад за город. В глухом, без окон, складе он долго рылся в темноте в куче старой пахнувшей одежды, выбирая себе шинель по росту.

После тяжелой казахской шубы в шинели он почувствовал себя сразу удивительно легко и бодро. Одно только было нехорошо — шинель оказалась узковатой в плечах. Выйдя из склада, он расправил грудь и тут же с огорчением убедился, что шинель тесна ему. Рукава были коротки, далеко торчали кисти рук. И запах был от нее чужой, нехороший.

Еламан шел по безлюдной, не полетному холодной улице и на ходу, нагибаясь и оглядывая, все щупал свою обнову. Все-таки досадно было: торопясь избавиться от тяжелой шубы и тумака, он в темноте склада так и не разглядел толком шинель, а в ней, может, до смерти ходить. Мало того что была она узка и коротка, видно было, что побывала она до него не на одном плече. Рукава вытерлись, грудь и спина стократно пропитались потом, грязный ворот лоснился, будто затертый потник, и холодил шею.

Еламан расстроился и, чтобы отвлечься, стал вспоминать рыбачий аул. Вот уже целый год, как не имел он оттуда известий. Как там живет-поживает старый тамыр Дос? Ладит ли со Рзой? И жива ли бедная Ализа?



Перебирая в памяти всех оставленных близких, думая об их житье-бытье, воображая родной аул на берегу моря, на круче, Еламан нет-нет да поглядывал на шинель, ощупывал, мял ее там и сям. Только теперь заметил он дырку на боку, в которую свободно проходил палец. То ли у костра прожгло, то ли пробило пулей... «Уж не с убитого ли сняли?» — со страхом подумал Еламан и сразу забыл о родном ауле. Сколько людей до него носило эту шинель? И где теперь все эти люди, живы ли? Или давно уже, отведав сполна и радостей и горестей, отпущенных им на этом свете судьбой, лежат теперь где-нибудь в разных концах необъятной степи в наспех, по пояс вырытых могилах, и уж холмики над могилами давно осели или развеяны ветром?

Не одно сердце билось под этой шинелью, не одно тепло она сохраняла и, видно, не одна жизнь оборвалась под ней, пока не нашла она тебя. Попробуй-ка теперь расстанься с ней! Поди узнай, сколько вершков тебе осталось до последнего твоего рокового шага, за которым навсегда оборвутся твои следы. Живи, надейся и жди, пока не порвется тонкая нить твоей жизни.

Но так уж создан человек, что, даже дойдя до конечного своего рубежа, даже коснувшись носком сапога смертной межи, за которой пропадут все его следы на земле, он по-прежнему беспечно и слепо стремится дальше, будто и не начинал еще жить, будто ждет его жизнь, бесконечная и радостная...

Переполненный невеселыми мыслями, шел Еламан по улице мимо неказистых домишек, чуть не наполовину ушедших в землю. Редкие прохожие оглядывали его внимательно, быть может, стараясь угадать в нем знакомого, но он смотрел в землю и никого не замечал. Он стал думать о Рае, которому не суждено было даже лечь в родную землю, а не то что пожить на ней всласть. Потом бледными тенями прошли перед ним скорбные лица Култумы, Мунке, Тулеу... Кто погиб в туретчине, кто замерз на льду в море, кого свалила басмаческая пуля — мало ли их было!

Господи, до чего же ненасытна земля! С тех пор как создан мир, земля одинаково равнодушно поглощала и младенцев, не успевших еще осмыслить жизнь, и стариков, не брезгуя, принимала в свои холодные объятия. Тьму веков земля все прибирает в свою утробу вечно

грызущихся, дерущихся, бьющихся людишек, весь их безумный род, неспособный без ненависти и убийства прожить свой мгновенный, куцый срок. И хоть бы что ей! Сколько ни подавай, все мало — и не вздыбится, не закровенеет, не исторгнет назад ни одной души.

Одному аллаху ведомо, сколько еще прольется крови, пока люди не выкинут на свалку оружие, пока последний солдат не сбросит с плеч последнюю серую шинель.

Еламан считал, что ему повезло, что он двужилый. В самом деле, сколько раз смерть стояла у него за плечом и холодом дышала в затылок, но каждый раз обходилось, каждый раз он срывался, как рыба с крючка. А в будущем кто знает. Будь хоть каким живучим, хоть каким двужилым, но пока на тебе эта серая шинель, придет когда-нибудь конец и твоему везению. В чьей-то обойме наверняка и на тебя заготовлен патрон.

Он опять внимательно рассмотрел дырку в боку, сплюнул и отвел глаза. И тоскливо ему стало, как в дырявой юрте, где во все щели свищет холодный ветер.

Еще утром у него была одна мысль: приодеться, помыться в бане, побриться и пойти искать Акбалу. Но теперь ему вдруг стало все равно, и он уже никуда не хотел идти. «Неужели люди рождаются только для насилия и убийства? — думал он, исподлобья поглядывая на увешанных оружием встречных. — Ведь у каждого где-то пухнут детишки с голоду, есть мать или жена, их кормить надо, а не наливать глаза кровью. И у всех одна дорога: или сам убьет, или самого убьют. И вот он тоже надел шинель, взял в руки оружие, пошел воевать. Почему?..»

Очнулся Еламан только возле казармы. Мысли, терзавшие его душу, погасли, но не ушли совсем. Он их спрятал до поры до времени, как мелкий воришка прячет украденное где-нибудь под тюком, под старой одеждой.

Сделав холодно-непроницаемое лицо, Еламан вошел в казарму, огляделся. Ни Ознобина, ни Мюльгаузена не было. Бойцы сидели или лежали. Не было обычного оживления, никто не бегал, не кричал, не смеялся, будто в доме, где лежит покойник. Не решаясь пройти на свое место, Еламан остановился у порога. Растерянно переводил он взгляд с одного на другого, стараясь поймать

в ответ добрый взгляд, чтобы заговорить, но никто на него не смотрел. Он подошел было к одному пожилому бойцу, лицо которого показалось ему добрым, но тот хмуро отвернулся.

Потоптавшись и вздохнув несколько раз, ничего не понимая, Еламан опять вышел на улицу. Долго разглядывал он полу шинели, черную от сажи, наклонился, поднял кусок глины и стал затирать пятно. Что же случилось в его отсутствие? Строя разные догадки, он побрел по улице. Остановился, прищурился на небо поверх плоских крыш, по которому плыли легкие белесые тучки. Потом с внезапным подозрением подумал: «А может, я им противен, раз они от меня отворачиваются?»

На улице было уныло и пусто. Вольно гулял ветер, гоня мелкую, как пудра, желтую пыль. Ветер лез под шинель, холодил лицо. Еламан поежился и поднял воротник. «Где же Мюльгаузен?— размышлял он.— И почему весь отряд в казарме, почему не идем в поход?»

Он хотел было вернуться, как вдруг на той стороне улицы заметил молодую белолицую казашку. В первое мгновение ему показалось, что это Акбала. Внешность, осанка, горделивая походка, одежда были те же, что и у Акбалы. И даже две длинные косы за спиной подрагивали так же, как у Акбалы. Но это была не Акбала...

Долго смотрел Еламан вслед случайно прошедшей мимо женщине, странно похожей на далекую теперь уже, прежнюю Акбалу. Потом пришел в себя и улыбнулся. Ему опять непременно захотелось увидеть Акбалу. Он опустил воротник и быстро пошел навстречу ветру, и лицо его загорелось, как бывало, когда целыми днями пропадал он в зимнем море, не чувствуя мороза.

После целого года отсутствия он не узнавал города, блуждал по глухим его улицам и часто не знал даже, куда зашел. Но теперь, будто путеводная звезда вела его, он безошибочно попал в ту часть города, где жили казахи. Улицы пошли кривые, узкие, мазанки были небеленые, приземистые, похожие друг на друга. Нигде не было ни деревца, ни кустика.

Еламан шел, оглядывал домишки, пока вдруг не остановился перед изъеденным ветрами и солнцем, размытым дождями старым глиняным дувалом. За дувалом виднелся такой же старый, обшарпанный дом. Горячая

волна обожгла Еламану грудь. Об этом доме думал он беспрестанно, скитаясь вдали от родных мест.

Он даже не удивился, что так легко нашел этот дом,— непонятное, безошибочное чутье привело его сюда. С горящими глазами он быстро подошел к двери, толкнул, забыл нагнуться и ударился головой о притолоку. Не чувствуя ушиба, зацепив какое-то ведро у порога, он вошел в комнату.

В комнате до этого играли, а теперь вскочили испуганно трое мальчишек, одинаково рыжих и растрепанных.

— А где... где хозяйева?— сипло спросил Еламан, насильно улыбаясь.

— Отец ушел. Он работает.

— А еще... Еще у вас есть кто-нибудь?

— Апа<sup>1</sup>, что ли?

— Апа? А... кто же у вас апа?

— Акбала.

— А-а... Значит, Акбала вам апа?

— Она у нас ай-ай-апа<sup>2</sup>.

— Вот как? Так и зовете ее?

— Так и зовем. И он, и вон тот, и я — все мы зовем ее ай-ай-апа.

— Ну хорошо. А она где?

— Она ищет работу.

Все ребяташки были нескладные и тощие, такие же, как их отец. Еламан потрепал их по головам, грустно и ласково улыбнулся и вышел вон. На этот раз он не забыл нагнуться в дверях и только во дворе уже выпрямился, поднял голову и посмотрел на небо в пестрых облаках. Потом вышел на улицу, не удержался и оглянулся на облупленный домишко. Все трое рыжих мальчишек сгрудились у окна, прижавшись носами к потрескавшемуся стеклу, и провожали его взглядами. Когда Еламан оглянулся, они разом заулыбались. И Еламан опять грустно и ласково улыбнулся им в ответ.

Все эти годы Еламан удивлялся самому себе. Давно уже дороги их с Акбалой разошлись, а он все не оставлял ее в покое, будто и без него мало ей было в жизни горя. Все у него было с этой женщиной, жил он с ней

---

<sup>1</sup> Мать, старшая сестра.

<sup>2</sup> Красивая апа.

вместе и врозь, любил ее, и ненавидел, и жалел, и все чаще ему думалось, что такова уж у него судьба. Крепко, мучительно вошла она в его жизнь и не отступала. Целый год не был он в Челкаре, мыкался по чужим краям, а если вспомнить, дня, пожалуй, не проходило без мыслей о ней. И чем чаще он думал о ней, тем сильнее болело сердце, до того, что иногда хотелось вырвать его, как вырывают больной зуб. Много в жизни каждого мужчины бывает женщин, но все они скоро забываются, а вот полюбить, видно, все-таки суждено один раз, одна только женщина входит в твою жизнь навсегда.

Еламан прошел мимо дневального, стоявшего у ворот. Еще не войдя в казарму, он услышал голос Мюльгаузена, сердитый его бас. «Уж не меня ли ругает?» — подумал Еламан и, робко войдя в казарму, остановился за спиной бойцов.

— Один он виноват! — кричал Мюльгаузен, расхаживая в кругу бойцов. — Все из-за него! Связать нас по рукам и ногам... Какого черта нам здесь торчать!

— А чего о нем слышно-то?

— Когда грозился приехать-то?

— Ну погоди! Я ему, собаке, покажу хром! Я хром-то с него сдеру...

— Это он о ком? — тихо спросил Еламан, наклонившись к стоявшему рядом бойцу.

— О комиссаре.

— Как? Комиссар?

— Да, да, комиссар...

— Ага... — Еламан закивал, хоть и не понял ничего.

— А когда их привезут? — подал голос совсем еще молоденький боец.

— Сегодня. К вечеру, — глухо отозвался Мюльгаузен.

— Неужто так никто и не уцелел?

Мюльгаузен промолчал. Минуту назад яростный, тугой, как сжатый кулак, он вдруг расслабился, жалко сгорбился и молча, осторожно протискавшись между бойцами, пошел к двери. В казарме повисла гнетущая тишина. Никто не смотрел в глаза друг другу.

Еламан, ничего не поняв, потолкался еще немного среди бойцов, потом прошел к своей постели. Лег, подмял поудобней жесткую комковатую подушку и прикрыл глаза. Сквозь ресницы он стал глядеть в потолок и думать об Акбале. Сейчас она, наверное, уже пришла



домой. Чего ему было не подождать ее? Интересно, что ей сказали малыши о нем? Приходил какой-то высокий дядя, искал ее? Раздумывая об Акбале, Еламан и не заметил, как смежились его веки. Рука его соскользнула со спинки топчана и повисла...

Вечером отряд, построившись, пошел на станцию. Там уже собрался чуть не весь город. Стояли молча, с томительным ожиданием посматривая на запад. Скоро вдалеке показался лоснящийся бойкий паровозик с единственной красной теплушкой. Жарко дыша паром, шипя, остановился он на станции. Народ на перроне зашевелился. Вытянув шею, Еламан с тревогой, напряженно глядел на паровоз. Из кабины машиниста стал спускаться по металлической лесенке мрачный человек. Подкованные сапоги его громко стучали в тишине. Ни на кого не глядя, он подошел к вагону. Толпа всколыхнулась, подалась ближе и опять замерла. Со скрипом откатилась дверь, а за дверью, уложенные в ряд, видны были изуродованные, окровавленные трупы. Над толпой раздался вой сначала одной женщины, потом другой, третьей... Мужчины отворачивались, моргали, закрывали лица. В глаза Еламану бросилась дико кричащая молодая женщина. Ее держали под руки, она рвалась к вагону, но тут же обвисала на руках.

Еламану было знакомо ее лицо, но он никак не мог припомнить, кто это. Около нее оказался почему-то Ознобин. Со вчерашнего дня он неузнаваемо изменился, щеки ввалились, редкие волосы были встрепаны, тощая шея напряжена. Он стал было говорить что-то бывшейся женщине, но не договорил, всхлипнул и стал пробираться к вагону. Он протискивался, как слепой, на ощупь, глаза его закатывались вверх. Ему говорили что-то со всех сторон, но он не слушал, отмахивался.

Расталкивая людей, Еламан стал пробиваться к Ознобину и догнал его возле самого вагона. Он подхватил старика под руку, но тот не заметил, не повернул даже головы. Ознобина, когда он карабкался в вагон, поддерживало еще несколько рук. Среди окровавленных тел Еламан узнал однорукого сына Ознобина. У старика сразу запотели стекла очков. Он медленно опустился на колени возле сына, стал разглядывать его, потом дрожащей рукой осторожно погладил того по волосам, по лбу, по щекам.

— Андрю... Андрю... шенька...— услышал Еламан задыхающийся голос старика.

Тела убитых стали выносить из вагона. На перроне убивались матери, бросаясь к сыновьям, голосили жены, ревели на разные голоса ребятишки. Еламану стало так страшно и одиноко, что захотелось плакать, как в детстве. Много смертей повидал он на своем веку и только бледнел, только вздрагивали ноздри, тяжелей и сумрачней становился его взгляд. А сейчас он так ослабел, что слезы подступили к горлу, и он уже не мог видеть ничего вокруг, будто и он вместе со всеми потерял самого близкого человека.

Несколько человек, мешая друг другу, подняли сына Ознобина, стали выносить.

— Лицо, лицо-то... Хоть бы лицо прикрыли, господа!— раздались голоса.

Еламан быстро снял с себя шинель и, спрыгнув на перрон, прикрыл изрубленное шашками тело младшего Ознобина.

#### IV

Еламан дважды ходил в Совдеп, но оба раза Селиванова на месте не оказывалось. Каждый раз, не отрывая глаз от бумаг, секретарша отвечала:

— Товарищ Селиванов ушел в депо на митинг...

Еламан, подумав, пошел в депо. На улице вокруг депо не было ни души. Зато внутри громадное здание было переполнено народом. От самых ворот, широко распахнутых, плотно стояли рабочие в черной замасленной одежде. В глубине, затянутой сероватым дымком, тускло темнел потухший паровоз. Оттуда же доносился звонкий, бойкий голос, складно лилась непрерывная речь. Еламан, выставив здоровое плечо, стал протискиваться на голос сквозь толпу. На него недовольно оглядывались, тихо поругивали. Еламан только виновато улыбался в ответ. Наконец он уперся в спину рослого детины. С трудом подавшись в сторону, Еламан увидел оратора, который так быстро и звонко говорил. В глубине на наспех сколоченной трибуне держал речь Селиванов. Еламан давно его не видел и теперь удивился, что тот ничуть не изменился за это время. Он жестику-

лировал, взмахивал плавно рукой, и каждый раз, когда он поднимал, потрясая, руку вверх, из-под рукава выскальзывало тонкое, как у подростка, запястье. Селиванов старался казаться старше, принуждал себя говорить баском, но голос его не слушался и звенел совсем по-юношески.

Еламан уже неплохо понимал разговорную русскую речь, но, когда говорили о вещах сложных или отвлеченных, тем более быстро и долго, он терялся в обилии слов. И теперь он даже щурился от напряжения, стараясь понять, о чем идет речь. Он начал слушать Селиванова с середины и поэтому скорее догадывался, чем понимал, что тот говорил о богатых и бедных, которые, будто огонь с водой, схлестнулись в классовой битве, о непримиримой вражде их, о предстоящих кровопролитных боях. Говорил о безвестных и беззаветных бойцах, которые еще в давние годы сложили свои головы за свободу и справедливость на земле.

Еламан видел, как у многих хмурились лица и гневно раскрывались глаза. Его самого бросало то в жар, то в холод, и он вспоминал вчерашний вечер и окровавленные, изрубленные тела рабочих бойцов.

После митинга, забыв, что пришел к Селиванову, Еламан один отправился домой. Он шел серым вечером такой же понурый, как и десятки других людей, расходившихся с митинга. В голове у него возникали никогда не тревожившие его раньше мысли. И это было для него так неожиданно и ново, что он останавливался несколько раз в изумлении, потом качал головой, усмехался и шел дальше.

Он думал, что вот испокон веков населяли землю разные народы и что народы эти были в чем-то схожи, а он раньше не думал об этом. Народы эти не общаются друг с другом и не знают ничего друг о друге, но ведь живут они под одним небом, и потому в жизни их должно быть много общего, общих радостей и печалей. А между тем, что знали, например, о русских его отцы и деды? Всегда говорили одно и то же, что русские — кафыры, иноверцы. Недоверие и даже ненависть были у казахов к русским. Но понимали ли они душу этого народа, знали ли его тревоги и беды? А вот, оказывается, и у русских были свои бедняки и свои баи, и у русских были свои батыры, как Жанходжа-батыр или

Срым-батыр, которые в час великих испытаний бросали гордый клич и звали свой народ на борьбу. А сколько, оказывается, было у русских храбрых бунтарей, всю жизнь свою проводших в неволе, в кандалах, как Сары, сын Батака. Нет, видно, народы познают друг друга и объединяются только в борьбе, только на пути к свободе.

Вчера на похоронах двадцати восьми зарубленных плакали все — русские и казахи. Не плакал только один человек — старик Ознобин. К нему подходили, стараясь утешить, но старик сердито отворачивался. Он крепился — кто знает, не плакал ли он перед этим всю ночь? Но теперь глаза его были сухи. Только стекла очков время от времени запотевали. Не отрываясь, смотрел он на сына. Но когда гроб закрыли крышкой и стали опускать в могилу, старик дрогнул и отвел глаза. Посыпалась земля, комки глухо забарабанили по крышкам гробов. Ознобин смотрел в могилу, смотрел на собравшихся людей и ничего не видел. Еламан поразился тогда и не знал, что думать. Какую силу надо носить в себе, чтобы не зарыдать в страшный час вечной разлуки!

Пустынную улицу насквозь продувал ветер. Мело и мело пыльную поземку. Гнулись, кланялись, шуршали листьями, большие тополя. Еламан поднял воротник шинели и с досадой подумал, что еще лето, а ветер лютый, осенний. Одно было утешение: под ветер легко было идти, успевай только переставлять ноги.

Он взглянул вперед и увидел худого усталого человека. Широкое, бывшее когда-то коричневым пальто свисало мешком с его плеч. Шея прохожего была обмотана грубым полосатым шарфом, пальто, по-видимому, было без пуговиц, так как полы все время расходились и он их запахивал. Еламан внимательно оглядел путника сзади и решил, что тот совсем недавно с каторги. Когда он убил Федорова и его заковали в кандалы и увезли в Орск, ему много попадалось таких — худых, измученных, кое-как одетых. Он было догнал прохожего, но замедлил шаг и опять приотстал на корпус коня, чтобы получше разглядеть того сзади. Теперь он заметил большие уши, тонкую шею и ямку на затылке.

Не решаясь обогнать прохожего, Еламан шел позади.

«Как все-таки нелегко поддается человек неотвратимому, — думал он. — Да что там человек! Любое живое

существо, даже былинка какая-нибудь, еле пробившаяся на белый свет, не хочет расставаться с жизнью. И осень пройдет, вот-вот грянет зима, а на обочине большой дороги еще струится под ветром запыленная, чахлая травка. По ней ходили и ездили люди, топтал ее скот, ее герзали, давили колесами, а она все не сдавалась, все тянулась к солнцу, пока не срывала ее чья-то рука или не заваливал снег.

Так и этот человек в арестантском своем пальто... Ох и крепко же, наверно, помяла, пообкатала его жизнь, а он все кособочился, все жил на этом свете, все радовался солнышку. Видно, у него тут дом, родные», — решил про себя Еламан.

Тот обернулся, увидел Еламана и остановился. Остановился и Еламан. Прохожий быстро оглядел смуглого казаха в военной шинели и спросил:

— По-русски понимаешь?

— Немного...

— Не знаешь, где тут рабочий отряд?

— Пойдем! — сказал Еламан.

Он сначала удивился, что этому больному, слабому человеку нужен военный отряд, но потом решил, что у того в отряде есть какой-нибудь знакомый или родственник. Шагая рядом с прохожим, Еламан все время чувствовал на себе его пристальный взгляд. Он даже подтянулся и поправил ремень.

— Ты кто по национальности? Киргиз?

— Казах.

— Ты из отряда? В отряде еще казахи есть?

— Нет.

— Так... Ну давай знакомиться: Петр Дьяков. А тебя как?

— Еламан.

— Ну вот, теперь в этом городе у меня и знакомый есть, — улыбнулся Дьяков.

— Ты здесь никого не знаешь?

— Да вот, кроме тебя, выходит, никого.

— Вон как!

— А что?

— Так... Во-он штаб, видишь дом? — Еламан показал на небольшое двухэтажное здание.

— Ну пока, еще встретимся, — сказал Дьяков и пошел к штабу.



У дверей Мюльгаузена толпились увешанные оружием бойцы. Вид Дьякова был так нелеп в этой военной прокуренной комнате, что все сразу замолчали и уставились на него, будто верблюда увидели. Дьяков привык уже к таким взглядам и сам старался ни на кого не глядеть. Он по привычке поддернул плечами сползающее пальто и запахнул полы. Шаркающими шагами подошел к двери и взялся было за ручку.

— А ну-ка погоди!— сказал рослый боец с винтовкой.

— Мне сюда надо...

— Да нет, папаша... Тебе, верно, в Совдеп надо, а тут командир отряда.

— Мюльгаузен?

— Он самый.

— Мне как раз нужен товарищ Мюльгаузен.

— А-а... Ну тогда жди. Видал, к нему сколько народу?

Дьяков переступил с ноги на ногу, оглядываясь. Народу было действительно много. В комнате было душно, плавал слоями махорочный дым, крепко пахло сапогами. Дьякову стало нехорошо, он нахмурился и вынул свой мандат.

— Я ж тебе, папаша, сказал, обожди!— ухмыляясь, боец отвел руку Дьякова.— У нас тут все с мандатами.

— А вы все-таки прочтите!— жестко сказал Дьяков, и синие мешки у него под глазами задрожали.

По-прежнему ухмыляясь, боец взял мандат. Но тут ухмылку его как ветром сдуло. Он быстро отступил от двери и вытянулся, одергивая гимнастерку.

— Проходите, товарищ...— покраснев, бормотнул он и распахнул дверь.

Прежде чем войти, Дьяков стянул с головы старую свою кепку, и все увидели не тронутый загаром, болезненно-бледный шишковатый лоб с залысинами. Оглянувшись еще раз на бойцов, он вошел и закрыл за собой дверь. Едва дверь закрылась, часовой плюхнулся на стул и схватился за голову.

— Ну, братцы, пропал я!

К Мюльгаузену Дьяков вошел со смутной тревогой на душе. Он недоволен был, что снял кепку, входя, будто перед учителем, но и надевать теперь в кабинете было неудобно. Стесняло его и то, что одет он был как-то уж очень не по-военному.

Мюльгаузен сидел, уткнувшись в бумаги. Не поднимая глаз, он мельком взглянул на ноги вошедшего. Сапоги были совершенно разбитые.

— Ну? Чего вам?— строго спросил он, отрываясь от бумаг.

— Да вот, направили меня в ваш отряд.

— Хан-Дауров?— протянул Мюльгаузен насмешливо.

Мюльгаузен нахмурился, взгляд его потяжелел. Он даже прищурился от напряжения, и Дьяков под его взглядом переступил с ноги на ногу. Оглянувшись, он заметил поблизости стул и вдруг сел, положив кепку на колени. Он сидел боком к Мюльгаузену, но чувствовал, как тот грубо и презрительно осматривает его, и в смущении стал терзать кепку.

— Ну, слушаю...

— Понимаете, я в дороге заболел...

— Что?

— Заболел, говорю, по дороге к вам.

— А-а...

— А больница, знаете, известное дело, попади им только в руки... Еле удрал.

— Кто удрал?

— Я о себе говорю, что из больницы...

— Не понимаю. Вы кто такой?

Дьяков привстал и положил перед командиром свой мандат. Мюльгаузен медленно прочел мандат, отодвинул в сторону, вытащил кисет и начал крутить папироску. Руки его вздрагивали, табак рассыпался. И спички почему-то ломались, никак он не мог прикурить. Дьяков незаметно наблюдал, как командир закуривает. Он чувствовал, что тот злится, даже уши покраснели. Наконец какая-то спичка зажглась, и Мюльгаузен медленно раскурил самокрутку, глубоко затянулся и выпустил из носа две струи дыма. Дьяков поморщился, глядя на дым, и слабо обмахнулся кепкой.

— А город ваш довольно большой, оказывается. Правду сказать, я не ожидал, что...— начал было Дьяков оживленно, но запнулся.

Мюльгаузен молчал, попыхивая дымом. На Дьякова напал вдруг кашель. Шея и лицо его побагровели, на

висках вздулись крупные вены, высокий белый лоб мгновенно покрылся испариной.

— Извините... Астма проклятая...

Мюльгаузен и на этот раз промолчал.

— Я видел, у вас большое депо... Сколько рабочих?

— Н-да...— неопределенно протянул Мюльгаузен и стал смотреть в окно. Лицо его стало таким рассеянным, что казалось, он совсем забыл про Дьякова.

— Меня зовут Петр Яковлевич. А вас, товарищ Мюльгаузен?

Мюльгаузен поднялся из-за стола, заложил руки за спину.

— Не могли с музыкой встретить. Извини.

— С музыкой?..

— Почему так долго ждать себя заставил?— загремел вдруг Мюльгаузен.

— Ждать?.. А зачем меня было ждать?

— Приказано было ждать тебя! Сколько людей напрасно потеряли! Эх ты, ко-мис-сар!

Дьяков рукавом отер пот со лба. Опять на него напал кашель, вся кровь кинулась в лицо. Он согнулся, зажмурился задыхаясь. Вот собака! Всегда вот так, в самый неподходящий момент вдруг накатит. Что говорит этот Мюльгаузен? Каких людей потеряли? Почему из-за меня? Да он еще и уходит?! «Подождите!» — хотел сказать Дьяков, но Мюльгаузен только хлопнул дверью.

Оставшись один в кабинете, Дьяков стал махать кепкой, разгоняя махорочный дым. Губы его пересохли, в горле першило. Он огляделся, ища воду, а сам все думал о непонятной грубости командира. Поглядывая на дверь, он ждал, что тот вернется и недоразумение разъяснится. Ему пришли в голову слова Хан-Даурова о чрезмерном властолюбии Мюльгаузена, о его грубости. «Боже тебя упаси оказаться под его влиянием!» — наставлял его на прощание Хан-Дауров. «Но ведь он не классовый враг, а товарищ по оружию, революционер,— думал Дьяков,— не может быть, чтобы мы с ним не сработались, в конце концов. Не беда, если он крут и властолюбив — тряпка командир еще хуже...»

Всю свою жизнь Дьяков терпел унижения и относился к ним стоически. Круглый сирота, он натерпелся всякого от тетки с дядей. Потом совсем мальчишкой поступил на фабрику «Скороход». Через год за участие в

рабочем кружке был арестован и сослан в Сибирь. Десять лет проработал он на шахте, пока не удалось бежать. Но недолго ему пришлось пожить на воле: опять схватили и опять ссылка, на этот раз в Среднюю Азию. Только после революции вышел он на волю окончательно. И все эти годы никто — будь то фабрикант, мастер, полицейский, начальник тюрьмы или конвойный, — никто не видел в нем человека. Наоборот, все будто соревновались в грубости, в жестокости. Это были враги...

«Куда он делся?» — думал Дьяков, выглядывая в переднюю. Но в передней никого, кроме часового, не было, и вообще весь дом опустел, ни в одной комнате не слышно было голосов. За окном свистел ветер. Часто и монотонно тикали на стене ходики. В городе собирались сумерки. Они проникали и в здание штаба, скапливаясь по углам комнат. В два окна, обращенных на запад, было видно, как догорал закат. Дьяков понял, что Мюльгаузен больше не придет. Когда совсем стемнело, он спустился вниз, поговорил с часовым, стоявшим на крыльце, но в своем пальто долго не устоял на ветру, вернулся в штаб. Часовой разговаривал с ним вытянувшись, на вопросы отвечал: «Так что, товарищ комиссар...» «Комиссар!» — думал Дьяков, посмеиваясь над своим нелепым положением. Да, вот он и комиссар. Прошу любить и жаловать. Комиссар рабочего отряда. И с его изможденного лица не сходила легкая улыбка. Сон одолевал его, тело набрякло, хотелось лечь, укрыться с головой, согреться как следует. Он присел к столу, облокотился, навалился грудью на столешницу, уткнув лицо в ладони. Жилки на висках набухли, бились под ладонями. В передней громко тикали ходики.

Дьяков поднялся, осторожно ступая, стал ходить взад-вперед по темной комнате, покашливал. Все сильнее хотелось ему прилечь где-нибудь. Он много хорошего слышал о славной Туркестанской армии. Но первые его личные впечатления были малоутешительны. Хан-Дауров командир новый, только что принял дивизию. Это был высокий плечистый человек с крупным носом. Тщедушный, болезненный, Дьяков всегда с восхищением и тайной завистью относился к физически здоровым людям. Хан-Даурову Дьяков тоже, видно, понравился — он долго и откровенно разговаривал с ним. Со слов Хан-Даурова Дьяков узнал, что до образования Туркестан-

ской армии на обширной территории вокруг Актюбинска существовало несколько десятков мелких разрозненных отрядов. Как и Челкарский рабочий отряд, все они формально подчинялись высшему командованию, но действовали часто совершенно самостоятельно, почти всегда стихийно и несогласованно. Чтобы исправить положение и ввести среди бойцов дисциплину, их стали объединять в полки и дивизии. Так и родилась Туркестанская армия. Вооруженные отряды железнодорожников Челкара, Казалинска, Джусалы, Ак-Мечети<sup>1</sup> и Ташкента теперь подчинялись штабу Туркестанской армии. «А вот Мюльгаузен бунтует, не хочет подчиняться»,— сказал тогда Хан-Дауров.

К рассвету Дьяков так устал, что уронил голову на стол и провалился в забытие. Спал он крепко и проснулся часа через два. За окном уже рассвело. В комнате было неуютно, тихо... Только ходики в передней неумолимо отмеривали время.

Дьяков потер лицо, встал, прошелся, разминаясь. Руки затекли, голова болела, тело ныло, как побитое. Со вчерашнего дня он ничего не ел. Но есть все равно не хотелось, во рту было сухо и горько, мучила жажда. Он поискал, но так и не нашел воды. Потом вспомнил, что во дворе видел колодец, и спустился вниз, чтобы умыться и напиться. Пальто он оставил в штабе и на дворе сразу же продрог. Вчерашние тучи ушли, небо нежно голубело, но было по-утреннему холодно. Поскрипывая сапогами, кто-то вошел в ворота. Было еще не совсем светло, и Дьяков сначала не узнал его, но потом тот резко и громко заговорил с сопровождавшими его двумя командирами, и по голосу Дьяков сразу определил Мюльгаузена. Он хотел было поздороваться, но раздумал, боясь, что Мюльгаузен не ответит.

Студеная вода была неприятна Дьякову. И еще не проходило сомнение, не напрасно ли он согласился стать комиссаром в отряде Мюльгаузена. Умывшись и напившись, он пошел в штаб, чувствуя, как дрожит всем телом. В передней он столкнулся с коренастым толстяком, который отрекомендовался старшиной.

— Ну вот, на ловца и зверь бежит,— улыбнулся Дьяков.— Вы мне как раз и нужны.

---

<sup>1</sup> Сейчас Кзыл-Ординск.



— Извиняюсь, товарищ комиссар, отдельной комнаты у нас пока нету,— сказал старшина.— Может, поживете временно с одним младшим командиром?

— Неважно...

— Вы и не харчились, верно, еще? Пойдемте со мной, вас накормят...

— Это потом... Сейчас мне...— Дьяков не закончил. Мучительный кашель овладел им, кровь бросилась в лицо. Старшина удивленно посмотрел на него, подождал.

— Как хотите,— сказал он.

На другой день, выбрав свободное время, Еламан опять пошел в Совдеп. Перед крыльцом большого дома с красным флагом над синей крышей толпился народ. Еламан заметил два тумака, возвышавшихся над кепками и фуражками. С непосредственностью степняков казахи подвели коней к крыльцу, привязали их за перильца и пошли прямо к начальству. Их не пустили, они начали кричать и махать широкими рукавами.

Оказалось, двое казахов пригнали из волости Кабырга на базар скотину. Но какие-то документы были у них не в порядке, и теперь они изнывали от отчаяния, не зная, как быть. Базарные власти всегда находили повод придраться к неграмотным аульным казахам. Вот уж несколько дней им не разрешали продавать скот. Увидев Еламана, они еще издали завопили. «Ойбай, родной!— и бросились к нему, путаясь ногами в широких длинных чапанах.— Нет ли у тебя среди начальства тамыров? Выручай, дорогой!»

Еламан поклялся, что не только среди начальства, но и в городе целом нет у него тамыров, приятелей. Но казахи и слушать ничего не хотели. Вцепившись в Еламана с двух сторон, они только твердили:

— Выручай, дорогой, выручай! Ты ведь, говорят, с самим Слейбановым знаком?

— Знаком не знаком, а немного знаю.

— Вот и хватит! Нам ведь много не надо. Нам бы только свое дело проверить. А так на кой он нам? Мы ведь к нему не свататься приехали...

— Ну ладно, поговорю с ним о вас.

— Ай, спасибо, дорогой! Да благословит тебя создатель!

— Да пошлет он тебе здоровье и долголетие!

— Апыр-ай, как хорошо, что мы тебя встретили. Верно говорят: да будет у тебя приятель и в стране иноверцев!

Селиванов проводил совещание с руководителями городских учреждений. За широкой черной, обитой дерматином дверью слышен был высокий юношеский голос, который так звенел вчера на митинге в депо.

Еламан забеспокоился, что придется долго ждать, но совещание неожиданно кончилось. За дверью разом заговорили, задвигали стульями. Не успел Еламан как следует одернуть на себе шинель, как дверь распахнулась и все повалили вон. Селиванов выходил последним.

— Ба, кого я вижу!

Селиванов, улыбаясь и протягивая руки, пошел к Еламану. Еламан обрадовался, что Селиванов его узнал, бросился навстречу и крепко обнял его. Так, улыбаясь, похлопывая друг друга по плечам, они и вошли в просторный кабинет со многими окнами. Переступив порог, Еламан удивленно остановился: он еще не видел такой обстановки. В глубине громадного кабинета стоял массивный полированный стол, покрытый сверху красным сукном. Вдоль стен выстроились новые блестящие стулья. На столе сверкал телефон.

— Значит, и ты в нашем отряде?— радостно сказал Селиванов, одобрительно поглядывая на военную шинель джигита.

Еламан неожиданно для себя захохотал.

— Я гляжу, ты самым главным начальником в городе стал? Вот здорово!

— погоди, брат, на это место в будущем еще ты сядешь! Ну как дела, с чем пожаловал?

— Я к тебе...— начал было говорить о своем Еламан, но Селиванов перебил его:

— Слушай, я тебя, кажется, вчера где-то видел...

— Ну ты и говорил вчера!

— Я после митинга хотел с тобой повидаться, просил тебя найти, да ты ушел уже.

Еламан в это время думал о другом. Раза два он хотел заговорить, но чувствовал, что Селиванов теперь занят чем-то своим, и молчал. Селиванов хмурился и порывисто шагал по просторному кабинету на своих длинных ногах, потом резко остановился возле Еламана,

опустил на плечо ему руку. Еламан решил, что тот хочет что-то сказать ему, выжидательно заглянул Селиванову в лицо. Но Селиванов на Еламана не глядел, а глядел куда-то вдаль, откидывая свободной рукой волосы со лба, запуская в гущу волос тонкие бледные пальцы. Сжав волосы на затылке ладонью, он долго стоял молча, прикрыв глаза. Молчал и Еламан.

— Сколько людей погибло!— сказал наконец Селиванов.— Сколько жертв! Но что поделаешь? Война... Война, братец ты мой!

— Война...— поддакнул Еламан.

— Что? Ах да... война! А где, кстати, Мюльгаузен?

— В городе.

— А где именно?

— Может, на станции.

— Да, да, я не подумал...

Селиванов крепко взял Еламана под руку, будто боясь, что тот уйдет, и вышел с ним в приемную.

— Мюльгаузен сейчас скорее всего на станции,— сказал он секретарше.— Позвоните туда или пошлите кого-нибудь — пусть немедленно зайдет ко мне.

— Хорошо, сейчас...

— Только... Ну, вы его знаете, пригласите там как-нибудь повежливей, не задевая самолюбия...

— Понимаю.

— Трудный он у нас человек... Ну,— повернулся Селиванов к Еламану,— говори, по какому делу пожаловал?

— Да уж не знаю... Есть у меня одна...

— А-а?

— Говорю: одна знакомая...

— Ах да, да. Ну?

— Она живет плохо. Если можно, надо бы...

— Помочь нужно?

— Да нет, ей бы работу подыскать какую-нибудь...

Пронзительно зазвонил телефон.

— Извини,— сказал Селиванов и взял трубку.

Недовольно поговорив с кем-то, Селиванов раздраженно бросил трубку. Лицо его сразу осунулось, видно стало, что он устал.

— Ты откуда родом?— неожиданно спросил Селиванов.

— Из Аральска.

— Так... Значит, с твоими земляками история вышла. Понимаешь, пригнали лошадей на базар, а документы не в порядке. Не все лошади записаны в документах.

— В ауле какие документы?

— Не знаю, не знаю... А если лошади ворованные?

— Нет, нет! Свой кони.

— А ты откуда знаешь?

— Я с ними говорил у крыльца. Им соседи дали по коню, чтобы они продали. Материя, чай, сахар с базара всем нужны...

— Не знаю, не знаю...

— Я правду говорю! Не всему же аулу на базар ехать — у нас всегда так, кто едет на базар, тому и поручают продавать... Прикажи, чтобы им вернули лошадей.

— Не могу, дорогой.

— Ты же начальник.

— В том-то и дело, что я прикажу, а Мюльгаузен не согласится. Ты же его знаешь!

— А при чем тут Мюльгаузен?

— Как при чем? Отряду нужны кони, а покупать денег нет.

— Значит, насильно отнимаете?

— У бедноты мы ничего не берем насильно. Конфискуем только у богатых.

— Ну а теперь как получается?

— Это лошади неоформленные, значит, незаконные, понимаешь?

В кабинет бочком протиснулся какой-то работник Совдепа с папкой. Селиванов взглянул на него и сразу похолодел лицом. Робко подошел к нему служащий и, почтительно оглядев громадный стол, протянул папку. Селиванов, не читая бумаг, стал одну за другой небрежно и размашисто подписывать, а подписав, нетерпеливо указал служащему на дверь.

Еламан во все глаза глядел на Селиванова и вдруг увидел, что начальнически каменное выражение, с которым Селиванов подписывал бумаги и глядел на служащего, заменяется дружелюбной улыбкой. Он понял, что Селиванов вспомнил о нем и сейчас обернется к нему прежний, молодой, внимательный... И не успел Селиванов повернуться к Еламану, как тот отвел глаза и стал

смотреть на дверь, которую тихо прикрывал за собой робкий служащий. Ему не хотелось теперь встретиться взглядом с Селивановым. Господи, как можно ошибиться! Человек, который сидел сейчас за огромным столом в огромном кабинете, так был непохож на вчерашнего юношу, своей горячей речью в депо властно возбуждавшего мысли и чувства многолюдной толпы. Юноша, который бросал вчера людям высокие слова правды, казалось, мог делать с этими людьми все, что хотел, мог звать их в бой, на смерть — и они пошли бы! А сегодняшний Селиванов был то холоден и надменен, словно бай, то простодушен и весел, будто свой брат-табунщик, сегодня он владел своими чувствами так же легко и ловко, как мальчишка объезженным стригунком.

И Еламан презирал его теперь. Он понял, что будь этот Селиванов хоть сто раз председателем Совдепа, но без Мюльгаузена он ничего не сделает... А пойти и просить о чем-то Мюльгаузена Еламану не хотелось. И он сразу забыл, зачем пришел сюда, думал о своих бедных земляках, у которых отобрали лошадей, и на душе у него стало так тоскливо. Несчастные люди! Всю жизнь свою, с детства до старости, в зной и в стужу, пасут, выхаживают они скот и никакой не видят радости. Испокон веков их скот становился добычей чужих. Каждый, кому не лень, мог увести у казаха хоть целый табун. И вот наступили перемены, настала вроде бы желанная пора справедливости на земле, но, видно, бывают народы, обделенные судьбой.

Еламан встал, собираясь уходить, но Селиванов остановил его:

— Куда ты? Ты же говорил, у тебя дело ко мне...

— Верно, было... — неохотно сказал Еламан.

— Ну так говори. Я слушаю.

— Устрой ее на работу...

— Ах да, да, — сказал Селиванов и вдруг вспомнил о чем-то, стал перебирать, складывать и раскладывать всякие бумажки на столе. Длинные прямые волосы его сползали на лоб, и он все встряхивал головой, отбрасывая их назад.

Еламан с тоской и недоверием смотрел на него.

• Покончив с бумагами, Селиванов снял с вешалки шинель и фуражку. Громко зазвонил телефон на столе, но Селиванов только досадливо поморщился, взял приуныв-

шего, переминающегося у дверей Еламана под руку и вышел вместе с ним на улицу. Шагая против ветра рядом с Еламаном, он застегивал на все пуговицы и крючки новую свою шинель.

— Мы хотим кочевников перевести на оседлую жизнь, приобщить их к городской культуре. Поэтому твой приход как нельзя более важен и своевременен. Мы должны уже сейчас привлечь местное население к постоянной работе. И в первую очередь женщин-казашек. Понимаешь? Это наш первоочередной долг!

— Раз так, тогда эту женщину...

— Приведи ее ко мне. Я буду в столовой железнодорожников, там вы меня найдете.

Еламан быстро шел к дому Акбалы и улыбался. Смуглое лицо его горело на ветру, большие глаза радостно блестели. Мигом дошел он до маленького домика, с треском распахнул еле державшуюся, скрипучую и такую знакомую дверь и вошел в комнату. Рыжие детишки испуганно замерли. Акбала сидела у окошка, в которое заглядывало солнце, и сосредоточенно штопала свое старое девичье платье. Подняв глаза на ворвавшегося Еламана, она испугалась, воткнула иголку в платье и быстро встала. Она не успела ни о чем спросить, как Еламан схватил ее за руку и потащил на улицу.

— Здравствуй... милая!..— бормотал он.

— Что такое? Что случилось?— слабо сопротивлялась Акбала. Ей было неловко перед прохожими, но Еламан не выпускал ее руки.

— Понимаешь... нашел тебе работу! Ты же искала, работу, я знаю... Теперь ни от кого зависеть не будешь! Может, сначала и трудно будет... Но ты потерпи.

На красивом лице Акбалы вспыхнула и тут же погасла слабая, грустная улыбка. «А то я не терпела!— казалось, говорила эта ее улыбка.— И теперь опять терпеть!»

— Ничего, привыкнешь, все будет хорошо!— продолжал Еламан.

Акбала опять улыбнулась.

— Привыкну... А куда ты меня тащишь?

— К начальнику. Давай быстрее, он нас ждет.

Хоть и торопилась Акбала, она еле поспевала за рослым, крупно шагавшим Еламаном. Она все отставала, но это для нее было даже хорошо, потому что так



ей можно было откровенно разглядывать его. Она видела его поседевшие виски, морщинки возле глаз стали еще заметней, чем в прошлом году. Скулы его обтянулись, лицо посерело, печальная тень неотвратимо приближающейся старости лежала на нем. Бабья жалость подкатила вдруг к сердцу Акбалы. Такой слабости за собой она давно уж не замечала. В последнее время Акбала все чаще открывала в себе черты отцовского характера. Если однажды она ожесточилась, то уж никакое горе не могло ее сломить, все у нее в груди черствело, застывало камнем. И уж не оглядывалась она назад, на дорогу пройденной жизни и не вспоминала прошлого, а прощалась со всем, что было хорошим или плохим, навсегда. Прощалась, как прощаются навеки с близким, но умершим человеком.

— Ну вот и пришли...— сказал Еламан.

Акбала взглянула туда, куда глядел Еламан, но в это время мимо проезжала колымага-арба, запряженная верблюдом, и Акбала сначала никого не увидела. А когда арба проехала, громко скрипя, она сразу заметила высокого молодого русского. Он стоял у входа в железнодорожную столовую и разговаривал с рыжей женщиной в белом халате. Разговаривая, он нетерпеливо поглядывал по сторонам и, увидев Еламана, явно обрадовался. А когда разглядел Акбалу, и вовсе повеселел.

— Ого,— сказал он, жадно, даже до неприличия, разглядывая Акбалу.— Я гляжу, губа у тебя не дура! Ну познакомь...

Еламан промолчал, стиснув зубы. Селиванов удивленно посмотрел на Еламана, увидел его потемневшее лицо, захохотал и шагнул к стоявшей за спиной Еламана Акбале.

— Зачем тебе? Не трожь!— хмуро буркнул Еламан, и Селиванов остановился.

Оглядев еще раз Акбалу, он вернулся к женщине в халате и стал ей что-то торопливо говорить, указывая глазами на Акбалу. Женщина вытерла красные руки о полы халата, добродушно улыбнулась и подошла к Акбале. Акбала посмотрела на Еламана.

— Подай ей руку!— по-казахски сказал он.

Степняки не подавали руки при знакомстве, и Акбала в смущении опустила глаза. Несмело подав женщине руку, она тут же отдернула ее и покраснела.

— Скажи свое имя,— подсказал Еламан.

— Акбала.

— Как? Акбала? А меня можешь звать тетя Марфа... Акбала все не поднимала глаз.

— Я тут готовлю, варю еду. А ты мне будешь помогать. Будешь носить воду, колоть дрова, мыть посуду... Согласна?

Акбала молчала, будто в рот воды набрала. Подумав, она покорно пошла к деревянному сараю и подняла валявшийся среди поленьев топор.

## ▼

Дьяков ехал в последнем вагоне. В этом вагоне расположился взвод Ознобина. Бойцы, казалось, не замечали присутствия в их вагоне комиссара. Многие вообще не знали его в лицо, да и внешне он ничем не выделялся, одет был как все. Когда он, в старой шинели, в поношенной шапке, догнал в Челкаре тихо тронувшийся от платформы эшелон и уже на ходу прыгнул в последний вагон, никто не обратил на него внимания.

Такое незаметное положение в отряде вполне устраивало сейчас Дьякова. Перед раскрытой дверью сидело несколько бойцов. Дьяков подошел и встал за их спинами. Поезд шел не останавливаясь, промелькнуло уже немало разъездов, промчалась мимо и станция Улпан. Внизу без умолку стучали колеса, телеграфные столбы вдоль дороги, мелькая, бежали назад. А за столбами простиралась бескрайняя голая степь, не за что было глазу зацепиться. Травы здесь давно засохли. Печально клонили головы поблекшие ковыль и типчак. Редко, если не считать разъездов и полустанков, можно было увидеть в степи признаки жизни. Иногда только где-то у самого горизонта журавлиной цепочкой тянулось кочевье. Как-то раз увидели одинокую юрту в степи. Из нее струился жидкий, бесцветный дымок. Невдалеке от юрты паслась покрытая попоной верблюдица с верблюжонком. Выведенная из оцепенения шумом поезда, верблюдица лениво повернула шею, посмотрела на поезд, но не шелохнулась, одиноко возвышаясь над степью.

— Вот у кого жизнь!— громко крикнул сидевший с краю пожилой боец.— Ни забот, ни горюшка...

Бойцы опять примолкли, покуривая, созерцая струившуюся пустынную степь, потом вдруг оживились.

— Эй, гляньте!

— Кто такие — наши, нет?

— Какие наши, белые!

Десятка полтора казаков возникли на вершине рыжего холма и поскакали вдоль железной дороги. Держались они в отдалении, пульей было их не достать, но бойцы, устав от безделья, схватили винтовки и начали стрелять на авось, вдруг достанет. Казаки, горяча коней, некоторое время скакали вровень с эшелоном, потом отстали, затерялись вдали. Бойцы, изматерив казаков, опять расселись по своим местам.

— Разведка была!

— Похоже на то...

— Знать бы, где их основная сила!

— Черт их знает! А близко где-то, это уж точно...

— Исподтишка хотят ударить...

— А ты, товарищ комиссар, свою штуку спрячь!

Дьяков только теперь заметил тяжелый наган в своей руке. Вспомнив, что в азарте он тоже схватился за наган, но так ни разу и не выстрелил, Дьяков покраснел и поснешно сунул наган в кобуру. «Смотри-ка, а меня здесь знают, оказывается!» — подумал он, и ему стало стыдно, что он вел себя как мальчишка. Но он тут же утешился, решив, что невоенному человеку это простиительно, зато за несколько дней ему удалось неплохо познакомиться с местной обстановкой.

Когда он ехал в отряд, он никак не думал, что назначение ему так важно. Ему представлялось, что отряд Мюльгаузена просто охраняет жизнь населения маленького сонного городка от возможных нападений белоказарков. Но не прошло и двух дней, как он резко переменил мнение. Теперь он знал, что Челкар, затерявшийся в степи, имеет огромное значение для всей Туркестанской армии. Этот городок, стоявший на железной дороге, контролировал движение эшелонов на Оренбург, Самару и Москву, а в другую сторону — на Аральск, Ак-Мечеть, Аулиэ-Ата<sup>1</sup> и Ташкент. Небольшая, на первый взгляд, железнодорожная станция была на самом деле звеном, связывающим Центральную Россию и Сред-

---

<sup>1</sup> Ныне Джамбул.

нюю Азию. Кроме того, в Челкаре находились вагоно-ремонтный цех и большое депо по ремонту паровозов. Половину населения города составляли рабочие. Поэтому чрезвычайно важно было, чтобы Челкар не захватила конница атамана Дутова.

Казаков Дутова Дьякову в деле видеть еще не приходилось. Понаслышке он знал, что казаки своими действиями напоминают древних монголов — так же быстры, внезапны и свирепы. И кони у них были отборные, и оружие самое лучшее. Так же, как монголы, казаки предпочитали кружить, таиться, выжидать, чтобы ударить потом внезапно в самое слабое место. Ни разу казаки не приняли открытого большого боя. Врываясь в городок или на станцию, они грабили и жгли все, что только можно было, и через короткое время исчезали бесследно, чтобы ворваться потом в какой-нибудь мирный аул и перевернуть его вверх дном.

Туркестанская армия была хоть и многочисленна, но разбросана по необозримой территории. Части ее действовали разрозненно, разведка была организована плохо, и почти невозможно поэтому было уследить за стремительной конницей Дутова.

Именно в это время и были созданы подвижные рабочие отряды, среди которых самым боевым и сплоченным был отряд железнодорожников Челкара.

Дьяков сразу понял, что военное дело Мюльгаузен знал хорошо. В отряде была железная дисциплина. За все эти дни Дьяков ни разу не видел, чтобы отряд бездельничал. Едва позавтракав, бойцы четким строем выходили из казармы и шли за город. Целый день до сумерек Мюльгаузен учил бойцов стрелять и рубить шашкой.

Отряд из тысячи человек был распределен по двум эшелонам. Платформы с орудиями были защищены тюками с хлопком. С первых же дней создания отряда Мюльгаузен то и дело вступал в бои на всем пространстве между Эмбой, Аральском и Челкаром. Едва узнав, что какую-то станцию захватил враг, Мюльгаузен тут же грузил свой отряд в эшелоны и мчался отбивать станцию.

Сейчас отряд спешил в Соль-Илецк.

В то время как с востока к Соль-Илецку приближался Челкарский отряд, с северо-запада так же быстро подходили оренбуржцы. Челкарский отряд остановился

на разъезде. Поезд затормозил так резко, что вагоны загрохотали и залязгали буферами. Мюльгаузен спрыгнул на землю и побежал было к паровозу, но встретил по дороге железнодорожника.

— Что случилось?— крикнул он.— Почему стоим?

— Путь повредили.

— Где?

— Версты две впереди...

— Ремонтируют?

— Давно...

— Ну и как? Скоро наладят?

Железнодорожник пожал плечами и стал махать кому-то, а потом побежал вперед. Сквозь шипение и чуханье паровоза из-за Соль-Илецка доносилась стрельба, потом в разрозненную яростную винтовочную пальбу вклинился монотонный звук пулемета.

— Ах черт!— в бессильной ярости выругался Мюльгаузен.

Рядом с челкарским эшелоном стоял еще один военный состав. Мюльгаузен решил, что это отряд из Ташкента. Судя по тому, как мирно и редко попыхивал у них паровоз, они тут стояли уже давно.

Командира Ташкентского отряда Жасанжана Мюльгаузен не любил. Тот был мурзой, байским отпрыском, недавно перешедшим на сторону красных. Одежда Жасанжана и весь его вид интеллигентного, выросшего в достатке казаха, его породистость вызывали у Мюльгаузена отвращение. От одной мысли, что нужно бы все-таки пойти к Жасанжану посоветоваться, Мюльгаузена передергивало. Вспомнив заодно и о Хан-Даурове, он подумал со злобой: «Ничего себе подобрались дружки: один бывший офицер, другой байский выкормыш!»

В это время к Мюльгаузену подошел Дьяков с командирами.

— Что собираетесь делать?— спросил Дьяков.

Мюльгаузен нахмурился. Скользнув взглядом мимо Дьякова, будто того здесь не было, он повернул властное свое лицо к командирам.

— Выгружать людей, снимать орудия! Начнем атаку на город!

— А ты погоди, дорогой!— пророкотал кто-то за его спиной.

Голос был с явным кавказским акцентом, низкий и раскатистый. Мюльгаузен потемнел лицом и медленно обернулся на голос. Перед ним стоял гигант раза в полтора выше и крупней его, и Мюльгаузену пришлось поднять голову, чтобы взглянуть тому в лицо. Человек, стоявший перед ним, сложен был богатырски. Его широкие мохнатые, как лапы тарантула, брови вразлет кое-кому вполне сошли бы за усы. Глаза у него были огромные, синие и круглые, как у филина. Под кожей большого лица туго перекатывались желваки.

— Ты Мюльгаузен?!— прорычал он.— Здравствуй, дорогой!

— Ну? А ты кто такой?

Великан вдруг потерял все свое благодушие.

— Что, не узнаешь?— вкрадчиво спросил он и опустил свою тяжелую руку на плечо Мюльгаузена. Пальцы его так сжались, что Мюльгаузену показалось, вот сейчас хрустнет плечевой сустав.

— Пусти!— крикнул он, дергаясь и болезненно морщась.

Дьяков шагнул к Мюльгаузену, шепнул ему на ухо. Смутившись, Мюльгаузен надвинул круглую шапку на лоб и болезненно усмехнулся.

— Ну? Узнал?

— Узнал...

— Так... Это хорошо, что узнал. А теперь слушай, что я тебе прикажу. Белоказаки уже позади нас.

— Как? Мы ехали — все спокойно было...

— То было, а теперь по телеграфу сообщили, что совершили налет на станцию Григорьевка и повредили дорогу. Так что давай со своими бойцами жми туда.

— А здесь что же будет?

— Я думаю, мы тут справимся.

Мюльгаузен неохотно повернулся и пошел к своему эшелону. Хан-Дауров исподлобья глядел ему вслед, на его мощный загривок, на плотную, почти квадратную фигуру. Потом перевел свои круглые глазищи на Дьякова.

— Ну, как устроился?

— Спасибо, неплохо.

— А с ним как? Ладите?

— По-моему...— начал было Дьяков, но Хан-Дауров перебил:



— Ладно, можешь не объяснять. И так все ясно.

Сначала Дьяков не придавал особого значения словам комдива. Но потом, когда поезд мчался уже назад, стоя у распахнутой двери и глядя на выжженную бурую степь, он стал раздумывать над последними словами Хан-Даурова. Он совсем не хотел жаловаться комдиву на Мюльгаузена и теперь чувствовал себя неловко, боясь, что тот совсем не так его понял.

Казаки, как оказалось, совершенно разгромили станцию Григорьевку, разграбили и подожгли дома всех, кто хоть мало-мальски сочувствовал красным. Жилья лишилось много семей.

Оставив здесь небольшую часть отряда, Мюльгаузен поехал дальше. Однако буквально через десяток километров поезд остановился: впереди были выворочены рельсы и шпалы. Выгрузившись из вагонов, бойцы взялись за ломы и лопаты. Но они не проработали и часа, как у горизонта за клубилась пыль и в степи показались казаки. С длинными тонкими пиками они маячили некоторое время в отдалении, потом пропали. Все понимали, что это разведка и что скоро не миновать боя, поэтому спешили изо всех сил и не расставались с оружием. Орудия на платформах были развернуты в сторону ускользавших казаков.

Еламан таскал шпалы. Вместе со всеми он без конца поглядывал в ту сторону, где скрылись казаки, но вдруг забыл про них. Взмахивая на плечо шпалу, он неожиданно вспомнил про Акбалу, и на обветренном, осунувшемся его лице появилось мягкое, нежное выражение. «Она теперь работает в столовой, сыта и детей кормит — хорошо!» — думал он. Боясь за нее, он все ходил к ней, как только выдавался у него в Челкаре свободный час. Как давным-давно, в рыбацьем ауле, он любил помогать ей. Он носил ей воду или колол дрова. Однажды ему попались особенно крепкие, корявые березовые чурбаки. Как ни старался Еламан, топор отскакивал от чурбаков, как от железа. Разозлившись, он широко размахнулся, ударил что есть силы и чуть не вскрикнул от пронзительной боли в плече. Выронив топор, он схватился за раненое плечо и присел. Подбежала встревоженная Акбала. Еламан, пересиливая себя, потянулся было опять за топором, но Акбала решительно отпихнула топор ногой.



— Не надо. Хватит с тебя!— тихо попросила она.

— А что же мне тогда делать?— смущенно пробормотал Еламан.

— Ничего. Просто... побудь рядом со мной...

Как счастлив был он в тот день! Акбала помалкивала, но от вспыхнувшего волнения, от нежного и робкого чувства, нахлынувшего вдруг на нее, бледные щеки ее то и дело покрывались румянцем. Она опускала гла-

за, стараясь не показать своего волнения, но не могла удержаться, быстро взглядывала на Еламана, и глаза ее при этом странно вспыхивали.

Тот яркий огонь, вспыхивавший в ее больших глазах, как бы загорелся теперь у него в груди, так что по всему телу его прошла волной истома. Господи, подумал он, ну почему этой доброты, этого теплого взаимного сочувствия и молчаливого согласия не было у них тогда, в рыбацьем ауле? Разве он не таким же был и тогда? Разве он хоть немного изменился? Почему же только холодность была между ними?

«А таким ли был я раньше?— вдруг подумал Еламан и даже остановился, забыв про шпалу на плече.— Таким ли я был?.. Да нет, конечно, я тогда моложе был, лучше, добрее, и седины не было в волосах, и морщин тоже...» Еламан печально усмехнулся. Лучше ли, хуже ли, но если бы тогда Акбала относилась к нему, как сейчас, все было бы иначе, и не знать бы им всех тех невзгод, которые выпали на их долю.

Но эти досадные мысли стали одолевать Еламана только сейчас, в степи, а в тот солнечный день, возле столовой, у поленницы, он видел только самую любимую на свете женщину, только руки ее, глаза, лицо... Он видел, что она рада и волнуется от мысли, что он с ней. Как никогда, стали они близки в тот день. Что будет дальше, ни он, ни она не думали. Сколько ни размышлял о ней Еламан, как ни заглядывал в будущее, но как сложится их жизнь, предугадать не мог. Он одно лишь знал, что за свою недолгую жизнь на земле человек, кроме мук и несчастий, должен же испытать и радость. Хоть немного радости должен же испытать человек? И что может быть дороже одной-единственной, на всю жизнь любимой женщины, которая одна только может согреть твою душу, стать твоим утешением в этом неуютном мире, под этим равнодушным небом? Вот ради этого чувства, ради этой женщины готов ты идти хоть на край света, готов снова и снова пойти на любые муки. Но как же зато, господи, любя ее больше жизни, хочется порой задушить ее собственными руками! Отчего это? Почему это так? Разве можно любить и ненавидеть сразу? Разве совместимы любовь и презрение?

— Белые!

— Где?

— Во-он показались, во весь опор идут...

— Бросай лопаты...

— К бо-о-ою!..

Еламан, будто обжегшись, бросил шпалу, побежал, на бегу стаскивая винтовку, и залег с другой стороны насыпи. Вытер пот со лба и поглядел вперед. По ровной широкой степи лавиной катились казаки. В пыли, летящей из-под копыт, тонкими жалами взблескивали обнаженные шашки. С бешеной быстротой приближались они к железной дороге и вдруг пропали в глубокой балке. Впечатление было такое, будто земля разверзлась под ними и поглотила их. В один миг исчезли кони, и люди, и блеск шашек, и топот затих — только пыль еще висела в воздухе.

Еламан положил перед собой гранату, улегся половчее, раза два вскинул винтовку, проверяя, удобно ли будет стрелять.

— Орудия к бо-о-ю! Подпустить поближе и бе-еглым!..— донесся сзади голос Мюльгаузена.

Казаки наконец вынырнули из балки. Еламан опять прицелился и увидел, как пляшет мушка. Сердце колотилось. Чтобы успокоиться, он нашарил, не глядя, чуть качавшийся под слабым ветерком пучок полыни, сорвал его. Казаки накатывались стремительно, уже хорошо можно было разглядеть всадников. Не отрывая взгляда от них, Еламан жадно нюхал полынь — это его успокаивало.

— Ого-онь!— раздалась команда по цепи, и тут же рванный залп звонко отдался в степи.

Еламан бросил полынь и стал ловить на мушку казака на темно-рыжем коне. Бородатый казак кричал и махал шашкой. Еламан выстрелил, казак вздрогнул и выронил шашку. Конь, не чувствуя больше повода, понес в сторону, встал на дыбки, и казак вывалился из седла.

Застрочили пулеметы на флангах, раз за разом стали бить орудия...

Через несколько минут всадники маячили уже на черном перевале, а потом и совсем пропали.

— Ну, ребята, молодцы!— сипло, негромко выговорил кто-то, но Еламан не узнал голоса.

В смертном напряжении боя он даже не заметил тех, кто лежал и стрелял с ним рядом. Теперь он огляделся

и увидел Ознобина. После смерти сына Ознобин сразу состарился. Волосы его, выглядывающие из-под низко надвинутой засаленной кепки, стали совсем белые. Он и раньше был немногословен, а теперь и вовсе замолчал. Да с ним старались и не заговаривать...

Обычно нескладный, длинный, сейчас он был как-то весь подобран, пружинисто напряжен, и даже очки, державшиеся всегда на кончике носа, теперь сидели плотно, и взгляд его был остер. «Ну, бог свидетель, этот, наверное, не одного казака снял!» — подумал Еламан.

Дьяков, пройдя вдоль цепи, лег рядом с Еламаном. Он был возбужден, и на болезненном, усталом лице его играл румянец.

— Ну как жизнь? — весело спросил он, дружески толкая Еламана в бок.

— Живем пока... — улыбнулся и Еламан.

— Славно поработали! Как думаешь, еще полезут?

— Не знаю.

— А по-моему, нет. Уж очень сильно им наклали.

Еламан с любопытством глядел на взволнованно дышавшего, веселого комиссара. Он еще в Турции заметил, что в бою, как ни странно, больше всех выделяются обычно тихие, незаметные люди. Казалось бы, что с него возьмешь — мухи не обидит, — а в тяжелую минуту самый стойкий и смелый человек!

— Денек-то какой! — расслабленно сказал вдруг Дьяков и восхищенно огляделся, будто впервые увидев степь и солнце.

И в самом деле нежился, плавился в лучах солнца один из последних дней лета. Ветер совсем улегся, по голубому небу тихо плыли редкие белесые облака. И хотя над насыпью еще стоял кислый запах пороха, степь после боя казалась еще шире, а тишина особенно мирной. Невдалеке под густым курчавым кустом полыни робко зазвенел кузнечик. И сразу целая стайка откликнулась на железнодорожном полотне. Из норок стали выглядывать суслики.

Дьяков широко открытыми глазами смотрел на оживавшую степь. Это необъятное голубое небо, бесконечно простиравшаяся глухая, нетронутая степь, ясный день, обласканный благодатным теплом летнего солнца, — все это был дивный мир, которого Дьяков не видел, может быть, во всю свою жизнь.

Детство и молодость в Петербурге почти не остались у него в памяти. Чуть не вся сознательная жизнь его прошла в Сибири, в темных, как могила, шахтах. А штреки там были низкие, ходить надо было согнувшись в три погибели. Под ногами хлюпала вода, шуршала мокрая мелкая порода. Под неимоверной тяжестью трещали и прогибались стойки. Иногда они с грохотом рушились, и тогда людей заваливало землей и углем. В крошечной тьме слышались глухие крики и стоны. Как призраки копошились оставшиеся в живых, освещенные тусклыми фонариками...

— Орудия к бо-ою!— закричал Мюльгаузен.

С маузером, низко надвинув на лоб круглую шапку, Мюльгаузен бежал к правому флангу. Опять вдали поднялось облако пыли, но на этот раз казаки докатились только до балки и были отогнаны орудийным огнем.

## VI

Из этого похода Дьяков вернулся бодрым и деятельным. Впервые в жизни принял он участие в бою. Раньше он опасался, что в бою может сплеховать и станет потом посмешищем для бойцов. Сначала ему было страшно, он мыкался среди бойцов, не зная, за что взяться, как унять противную дрожь. Но когда началась перестрелка, он вдруг почувствовал себя свободно и уверенно.

Что там ни говори, а первое испытание боем выдержал он хорошо. Да и в степи, на вольном воздухе, побывав впервые и все еще чувствовал горьковатый аромат полыни. Какие там травы, какой животворный запах они источают! И день выдался прекрасный, не жаркий, не холодный, а тихий и солнечный, какие бывают лишь на стыке лета и осени, когда вся природа погружается в дремотную истому. Последнее время Дьякова мучила астма, и больших усилий ему стоило скрывать ее, а после похода он совсем забыл про болезнь, чувствуя необычную легкость и бодрость во всем теле.

После похода Дьяков не сидел без дела. В свободную между военными учениями минуту он приходил то в один, то в другой взвод и рассказывал бойцам о внешнем и внутреннем положении страны.



Но Мюльгаузен по-прежнему не обращал на него внимания. Чувствуя неприязнь к себе Мюльгаузена, Дьяков и сам избегал его. Только однажды после похода они встретились и поговорили с глазу на глаз. Узнав о жалобах бойцов на усталость, Дьяков пошел к командиру. Мюльгаузен встретил его хмуро.

— Бойцы устали,— сказал Дьяков.— Надо бы им дать отдых. Кроме того, давно уже не было банного дня. Я считаю, что бойцам нужен отдых...

Мюльгаузен молчал. В кабинете повисла тишина. Раньше, когда вдруг становилось тихо, из приемной доносился стук ходиков. Но недавно ходики сломались, и от этого молчание Мюльгаузена было еще тягостнее.

А Мюльгаузен слушал тяжелое, прерывистое дыхание комиссара, будто тот только что поднялся на высокую гору, и думал с неприязнью: «Что это у него? Никак чахотка одолела?» Подумав о чахотке, он решил, что такого комиссара еще можно терпеть. Хуже было бы, если б приехал какой-нибудь задорный хам да начал бы власть делить. А этот как старик. Дать ему местечко потеплее, постель помягче — и никаких хлопот. Надо сказать, пока не забыл, чтобы позаботились о комиссаре. А то еще помрет, другого пришлют похлестче.

А решив так, он тут же согласился весело:

— Это ты хорошо придумал. В самом деле, надо дать отдых бойцам. Объяви там в отряде...

Дьяков после этого короткого разговора все же стал надеяться на сближение с командиром. Но в их отношениях ничего не изменилось. Дьяков отлично понимал, что бойцы отряда видели в нем не комиссара, а слабого, больного человека и относились поэтому к нему снисходительно. За полмесяца, которые он провел в отряде, никто не пришел к нему за советом, никто не поделился своими думами. Все дела отряда, большие и малые, решал по-прежнему Мюльгаузен. Как-то уж так получилось с первого дня, что комиссар оказался не у дела, сам по себе, будто неродной ребенок в большой семье. Одно только его утешало, что к нему все по привычке: пришел, ушел — никому не было до него дела. Никто перед ним не робел и не стеснялся его. Больше того, обращались с ним попросту, как с обыкновенным бойцом: один пригласит на свои харчи, другой подвинется,

освобождая место... Всем он был просто товарищ по оружию.

Тем не менее за эти дни Дьяков успел кое в чем разобраться. Он понял, например, что отношения между Совдепом и отрядом натянутые. Мюльгаузен, зная Селиванова, в грош его не ставил. Это было бы еще полбеды, но Мюльгаузен и к народу относился пренебрежительно. По глубокому его убеждению народ был сам по себе, а вооруженный отряд сам по себе. Для Мюльгаузена важно было только то, что происходило в его отряде, а на каких-то казахов он и внимания не обращал.

А Дьяков очень скоро узнал, что казахский народ, такой мирный и робкий с первого взгляда, свято хранит память о своих богатырях — батырах. Что только из одного этого края вышли такие знаменитые батыры, как Котибар, Арыстан и Есет. Что, например, прадед Еламана в седьмом поколении Тойгожа тоже был батыром. И когда в одном из многочисленных боев ногу его пронзила стрела и нога стала гнить, он призвал аульного костоправа и велел отнять себе ногу. С тех пор его звали Хромым Волком...

Люди этого края только сравнительно недавно взяли в руки курук и бадью и пошли за скотом, а в старые времена джигиты проводили жизнь в походах, охраняя родную землю от бесчисленных набегов врага. А разве теперь в них угас дух предков, разве мало нашлось бы среди них мужественных героев? Взять хотя бы Еламана — на такого человека можно положиться во всем.

Дьякову несколько дней не давала покоя мысль привлечь на борьбу с белыми беднейшие слои казахов. Решив, что этот вопрос нужно хорошенько обсудить, он пошел к Мюльгаузену. Тот выслушал его, как всегда, молча и хмуро. Потом недобро усмехнулся.

— Еще что скажешь? — процедил он.

— Нет, уж позволь мне у тебя спросить! Что ты скажешь?

— Значит, ни слова по-русски не знающим казахам...

— Научатся.

— Нет, не научатся! Я их знаю, дикие они, дикие и есть! Ни хрена не кумекают... Да что я с ними как с глухонемыми в бою объясняться буду?!

— Ничего, как-нибудь пойдем друг друга.

— Брось, не глупи! Пока они язык выучат...

— Выунат. Да и нам не мешало бы наконец заговорить по-казахски.

— На кой это мне сдалось? И не подумаю! А пока они по-русски заговорят, война кончится.

— После войны жизнь не кончится.

Мюльгаузен побагровел от злости.

— Народ... народ...— пробурчал он.— Заладил!

— Как бы ты ни рассуждал, а власть держится только народом.

Мюльгаузен встал, прошелся по комнате, закурил и остановился, засунув руки в карманы. Потом с интересом посмотрел на комиссара.

— Как хочешь, но без поддержки казахов нам не прожить,— снова убежденно повторил Дьяков.

— Ты ведь комиссар,— ядовито ответил Мюльгаузен,— вот и осуществляй эту поддержку.

— Тогда я прикажу Еламану ехать в аулы. Пусть соберет отряд из своих земляков.

— Пусть катится, не держу.

Дьяков ушел. Мюльгаузен долго еще стоял посреди комнаты. Потом громко чертыхнулся. Он намерен был совсем не подпускать комиссара к делам отряда. И теперь удивлялся себе, что не смог переспорить Дьякова и вроде бы пошел у того на поводу. Одно его утешало: он все-таки был уверен, что из затей комиссара ничего не выйдет. «Этот казах еще и не вернется. Его от ихнего бешбармака за уши не оттянешь!— думал он о Еламানে.— Вот тогда я с этим комиссаром чахоточным поговорю!»

## VII

Сегодня Акбала пришла домой позднее обычного. Мужик, который возил воду для столовой, запил и приехал только к концу дня. Пришлось Акбале одной перетаскать сотню ведер воды. Вообще работа изматывала ее: ломило в плечах, ныла поясница, ноги к концу дня становились как ватные. Даже небольшое ведерко, в котором она носила домой суп или кашу, было ей порой в тягость.

Еле дойдя до дому, она опустилась у порога, вглядываясь в темную пустую улицу. Оттого что поблизости было озеро, ночи в этой части города стояли прохлад-

ные. Таская воду, Акбала замочила подол, и теперь платье прилипало к ногам и неприятно холодило.

Что ни говори, а работа была тяжелая. Непривычная к труду, Акбала всего боялась. Трудно ей было еще и потому, что она была одна казашка среди русских женщин. Но верно говорят: глаза боятся, а руки делают. Еще хорошо, что попала она под начало к доброй тетке Марфе. Акбала стеснялась произносить вслух ее трудное имя, а про себя звала ее Сары-апа — Рыжая тетя. Хорошей женщиной была эта Сары-апа, значит, сжалился над Акбалой создатель... А что было бы, попадись она к злой, крикливой бабе? Конечно, ничего не поделать — терпела бы. Но ей повезло, Сары-апа полюбила ее как родную. Узнав, что у Акбалы дома есть маленькие дети, она каждый раз наливала Акбале в ведерко супу или накладывала каши, а если видела, что Акбала устала таскать воду или колоть дрова, она посылала на помощь кого-нибудь из судомоек или сама помогала.

О Еламане и говорить было нечего. Когда он бывал в городе и выдавался у него свободный час, он шел к столовой, но к Акбале подходил не сразу. Несколько раз она замечала, как он, будто мальчишка, смотрел на нее из-за угла какого-нибудь дома или из-за дерева. Из засады он выходил, когда видел, что Акбала устала. Он молча брал у нее топор, быстро и ловко раскалывал все чурбаки и уходил, не вытерев даже пот со лба.

Вчера на станцию вернулся военный эшелон, бойцов сразу повели обедать, Сары-апа с остальными женщинами с ног сбилась, бегая от плиты к раздаточной. Акбала скоро совсем выдохлась, таская на кухню воду двумя ведрами. Вот тут подошел Еламан, и Акбала сразу вздохнула облегченно и стала поправлять выбившиеся из-под жаулыка волосы.

Покусывая кончик ситцевого платка, она отдыхала и разглядывала Еламана, споро ходившего перед ней взад-вперед с ведрами. Еламан хмурился и не поднимал глаз. Странно, что такой сильный и немолодой мужчина мог так смущаться, краснеть и мучиться, когда глядела на него Акбала.

Нежная улыбка проступала постепенно на ее лице. Уже волнуясь, она думала, что до конца работы осталось немного и, может быть, он пойдет ее провожать. Может быть, он поведет ее к озеру и там... Как хочет,

что бы он с ней ни делал теперь, куда бы ее ни повел, она пойдет с ним. Она бы все забыла, только бы ей быть с ним всегда вместе. Она бы даже не спросила его, что он хочет делать и как жить, с закрытыми глазами, очертя голову она пошла бы за ним хоть на край света. От этих мыслей ей стало страшно и сладко. С надеждой и нетерпением смотрела она на Еламана и все ждала, что он скажет: «Ну, пошли!»

Перетаскав всю воду, Еламан вздохнул и, отводя глаза, буркнул:

— Ну, я пошел!

— Что ж, иди, спасибо...— бессильно ответила она. Еламан помедлил немного, потом повернулся и ушел.

— Твой ухажер, да?— спросила Сары-апа, глядя ему вслед.

Акбала отвернулась.

Сегодня она весь день думала, и многое ей стало ясно. Она поняла, что Еламан по-прежнему любит ее, но простить не может. И как бы ни тянулись они теперь друг к другу, видно, не суждено им больше жить под одной крышей. Как ни сильна была их любовь, но память о прошлом сильнее любви. Это Акбала поняла твердо. Она знала, что от нее ничего уже не зависит. И от этой мысли она внутренне потухла и замкнулась. Еламана она не смела винить — он-то ни в чем перед ней не виноват! Но и страдать понапрасну она больше не хотела и твердо решила, что в следующий раз, когда он придет, она ему скажет: «Уходи!»

— Ах, да пропади оно все пропадом!— горько прошептала она, нашарила в темноте ведро с супом и поднялась. В прошлую ночь она почти не спала. И сегодня ей захотелось, ни о чем не думая, сразу же завалиться спать.

В комнате слабо мерцала подслеповатая плошка. И при этом свете, сбившись в кучку, робко ждали ее рыжие детишки Ануара. Они были одни. Каждый вечер, прихватив с собой старое ружье, Ануар уходил на работу. Работал он ночным сторожем.

Увидев Акбалу, детишки радостно вскочили и с криком «Ай-ай-апа пришла!» бросились к ней.

— Чай пить хочешь? Вода давно кипит...

— Нет, милые, не буду.

— Тогда спать хочешь? Постельку тебе постелить?

— Не надо. Ничего мне не надо...

— Ай-ай-апа... Ты устала сильно, да?

Акбала поставила ведро с супом на горячую плиту. Слезы выступили у нее на глазах. Отвернувшись, чтобы скрыть лицо, она приласкала детей.

Лукавить Акбала не умела и к детям была довольно равнодушна. А когда у нее становилось тоскливо на душе, она часто срывала свое зло на них — больше не на ком было срывать. Зато как радовались, как ликовали бедняжки, если суровая ай-ай-апа невзначай приласкает их! Как увивались они вокруг нее, как старались прикоснуться к ней, потереться о ее руки...

— Ну давайте, ребятки, вымойте руки и рожицы. Тащите свои миски. Сейчас налью я вам вкусного супу...— устало сказала им Акбала.

## VIII

Уже неделю гостила Бобек в ауле рыбаков на круче. Невелико было расстояние между ее аулом и аулом рыбаков, а после замужества редко ей удавалось вырваться из дому. Но, узнав о болезни старшей своей сестры Ализы, она не могла не приехать. Не дожидаясь мужа, загулявшего где-то в аулах, она оседлала верблюда и, прихватив грудного ребенка, отправилась в путь.

После гибели Мунке осталась одна Ализа. Храня память и очаг мужа, жила она в старой землянке. Болезнь совсем одолела Ализу. После паралича у нее не действовали рука и нога, и ей трудно было передвигаться даже в доме. Лишь с приездом Бобек она немного ожилилась. Бобек выстирала белье, выбила и прожарила на солнце постель, и Ализа посвежела лицом, стала поправляться на глазах.

Но однажды ночью нагрянул к ним старший деверь Бобек. Грубый, необузданный нравом, он отхлестал камчой собак, опрокинул ведра и тазы и ввалился в маленькую темную землянку. Женщины уже проснулись, но он заорал, будто в степи:

— Дом это или могила? Есть тут кто живой?

Бобек вздрагивающей рукой зажгла светильник, взяла на руки заплакавшего ребенка, стала баюкать.

— Давай собирайся, живо!— орал деверь.



Бобек порывисто вскочила.

— Каин-ага, в этом доме живет больная женщина, хранит очаг, а вы без спросу ворвались в дом да еще кричите!— твердо выговорила она и прижала к себе ребенка.

— Эй! Так-растак могилу твоего деда... Чего эта сучка мелет?— закричал деверь, оглядываясь. Не то что мокрохвостые бабенки, длиннополые низкие твари,— самые отчаянные джигиты не смели ему перечить. Бывало, глаз не смеют поднять! А тут шлюха какая-то пасть свою дерет!— А ну давай выходи, живо! Я тебя, суку, проучу! Я еще мужа твоего заставлю, чтоб он тебя погонял вокруг аула, как собаку!

— Больную сестру без присмотра я не оставлю!— решительно сказала Бобек и уселась на постель.

— Ах так?

— Так!

— Ну, сука!— побагровел бородач.— Так-растак могилу твоего деда... Сейчас я тебе покажу!

Подскочив к ней, он поймал ее косу, намотал на руку и, резко дернув, поднял ее с постели.

— Побойся бога!..— завопила что есть сил Ализа и, кое-как дотащившись из своего угла, вцепилась бородачу в полу. Тот пнул ее ногой, занес над Бобек камчу, но тут же оторопело оглянулся: в дом ввалились разбуженные рыбаки Али и Рза, сбили бородача с ног, потом, заломив ему руки за спину, молча выволокли из землянки. На улице они сильно избили его, раскровенили рот и, по-прежнему не говоря ни слова, взвалили на коня. Коня вывели в степь, и только тогда Рза сказал:

— Мотай отсюда, пока жив!

— У, так-растак могилу вашего деда... Погодите, суки,— рыдающим голосом погрозил бородач и саданул каблуками коня.

Остаток ночи Ализа не спала. Бобек то кормила грудью ребенка, то укачивала его и тоже молчала. И на другой день они не заговаривали о ночном происшествии, только утром Ализа заикнулась было, что лучше все-таки сестре вернуться домой. Но Бобек сделала вид, что не слышит.

В первые годы, оказавшись среди грубых и жестоких людей чуждого ей рода, Бобек чуть было не зачахла,



Сколько унижений она вынесла! Но теперь какая-то новая сила возникла в ней, и на смуглом ее лице появилось прежнее выражение упрямства и озорства. Ализа знала буйный и наглый нрав мужа Бобек и думала, что дорого той придется заплатить за вчерашнюю дерзость. Не сегодня-завтра нагрянет он сюда со своими джигитами, и тогда добра не жди! «Ой, несчастная ты моя сестренка!— с жалостью думала Ализа.— Плохо же тебе живется, а что еще будет впереди? Не раз еще тебе придется умереть и воскреснуть!»

В нехороших предчувствиях провела она две ночи и два дня и на третью ночь, измученная, задремала уже на рассвете, как вдруг проснулась от дружного лая собак, потревоженных неурочным путником. Вскинувшись, она тут же подумала об Ожирае и похолодела. Взглянув на Бобек, увидела, что та тоже вскочила и натягивала на голову платок. Красивое лицо ее побледнело и заострилось. Ребенок захныкал спросонья. Бобек сунула его Ализе и, не надевая даже своего черного плюшевого камзола, на неверных ногах вышла из землянки.

Какой-то военный спешился у входа. Бобек сразу оставили силы. «Боже милосердный...— лихорадочно узнавала она,— это... это ведь брат Райжана!» — и, обессиленная, прислонилась к косяку. Военный, вынимая ногу из стремени, оглянулся через плечо. Увидев застывшую у входа маленькую фигурку, он изменился в лице. Бросив повод, он кинулся к ней. «Бобек... родненькая!..» Бобек счастливо заплакала и прижалась к его груди. Глядя ее по волосам, Еламан вспомнил Рая, расчувствовался. Слезы навернулись ему на глаза, и опять померещилась каменистая турецкая земля, зима, холодный ветер по ущельям и как движутся маленькие серые фигурки среди гор, как падает кто-нибудь и его волокут потом к яме и наскоро забрасывают камнями...

— Милая моя Бобек... Печаль моя!— шептал Еламан сухими губами. Других слов он и не искал. Печаль и горе, казалось бы, давно похороненные, забытые, вдруг оказались живы и опять больно давили сердце.

Рыбачий аул просыпался. Каракатын, будто чувствуя, что в ауле новость, выскочила во двор. Даже рев проснувшегося внука не удержал ее. Волосы ее были всклокочены, длинный подол платья волочился по земле и путался в ногах. Жаулык, соскользнувший на затылок, она торопливо поправляла на ходу.

— Ойбай, ойбай! Ну что тут скажешь?!— сразу же ахнула она, будто увидела нечто ужасное.— Что же это такое?! Ойбай!— уже завопила она.

От ее пронзительного голоса на другом конце аула проснулся Судр Ахмет. Он сразу же вскочил с постели и в одном исподнем побежал к двери. Словно хорек из норки, он высунул голову наружу и стал с наслаждением слушать голос Каракатын. Он даже заулыбался, знал,

что неспроста завопила на весь аул эта шалавая баба. Не выдержав, он выскочил на улицу и сначала увидел Каракатын. И еще увидел военного, остановившегося как раз возле землянок Мунке и Али. Вглядевшись, он узнал в военном Еламана, а в женщине, повисшей у него на шее, Бобек. Тогда он не удержался и начал плевать.

— Тьфа... тьфа! Опять вместе эти безбожники!

И растерялся, не соображая, нужно ли в этом случае что-нибудь делать и куда-нибудь бежать.

Между землянок то тут, то там показывались рыбки. Они пошли уже было к морю, но, узнав Еламана, остановившегося у них в ауле, повернули назад.

Весть о приезде Еламана мгновенно облетела весь аул. Даже ребятишки побежали к землянке Мунке. Али и Рза улыбались как именинники. Каракатын даже ухо высвободила из-под кимешека. Маленькие глазки ее прямо-таки сверлили Еламана и Бобек. Она то и дело щипала за ляжку какую-то пожилую бабу и бормотала:

— Ойбай, ойбай... Где появится эта шлюха, там жди беды. Вот увидишь, опять драка будет! Всех нас перебьют, ей-богу!

— Тихо ты! А то услышат...

— Пускай слышат!

— Да тихо ты, стыдно...

— Какой стыд, когда смертоубийство начнется? Небось знаешь, как за ней деверь приезжал, а она его прогнала.

— Ай, не может того быть! Как может такая маленькая верзилу мужика прогнать?

— А ты что, дура, что ли? Ты разве не знаешь, что она колдунья? Как и Акбала, мужиков заговаривает. Она вон уже и Али околдовала.

— Ну и язык у тебя...

— Вот дура! Ойбай, ойбай, ты что меня злишь, а? Ведь эту шлюху во всей округе знают. Из-за нее два аула насмерть бились, как кобели из-за сучки. Так было бы за что? Будто у других баб такого добра нет!

— Да ну тебя!

— А ты не нукай! Известно, мужики как дураки. Как увидят смазливую бабенку, так и распустят слюни. Так и кидаются, как стервятник на падаль. А что в этой красоте — не пойму.

— Да замолчишь ты? Срам-то какой...

— Истинно говоришь, срам! Ой, какой срам! Будто у других баб нету, чего у ней есть. Будто нас бог без дырки сделал...

Али чуть не силком притащил Еламана в свой дом. За Еламаном толпой повалили рыбаки. В доме сразу стало тесно, пришлось расстелить кошму во дворе. В этом краю, у побережья, было еще тепло и травы стояли высокие, обильные. И хоть мошкары уже не было, но в землянках и в затишье, где пригревало солнце, как в летнее время, роились, жужжали мухи.

Рыбаки первым делом принялись расспрашивать, что дорого и что дешево сейчас на базаре, да какие цены на скотину, хоть у многих не только скотины, козленка паршивого не было. Поговорив о базаре, перекинулись на другое. Когда новая власть наведет порядок? Когда доберутся до баев? И если уж смогли свалить самого белого царя, то почему не найдут управы на баев?

О многом хотелось узнать рыбакам, вопросы так и сыпались на Еламана. Но сильней всех кричал Судр Ахмет. Голос его был столь пронзителен, что сидевшие рядом зажимали уши. Но Судырак не обращал ни на кого внимания. Вдруг он поперхнулся и заерзал на своем месте. Вытянув тощую шею, он стал следить за булькающим казаном. Не отрываясь, глядел он, как Али разделывает большого жирного осетра и бросает куски в казан. А возле казана хлопотали уже чуть не все бабы аула. Казан вмазан был в печку недалеко от землянки, и пахло оттуда сладко и дразняще. Каракатын, не смущаясь, засучила рукава, устроилась рядом с казаном, даже оперлась локтем о печку и ловко орудовала половником — то снимала пену, то пробовала на вкус сорпу, хорошо ли посолена. На взгляд Судр Ахмета, пробовала сорпу она слишком часто. Потом он заметил, как она загребла в ложку плавающей лапши, зыркнула глазом по сторонам и — шлеп! — отправила себе в пасть!

— Ах! — так и вскинулся следивший за ней Судырак. — Эта поганая баба, как ворона, все склюет, пока варится!

Рыбаки расхохотались, хмыкнул невольно и Еламан. Знакомая ему жизнь! Земляки его оставались все такими же — те же нравы, те же замашки. Но как бы ни была мелочна и бессмысленна их жизнь, а земля, к ко-

торой прирос сердцем, где пустил корни, всегда будет тебе дорога. Вдали от родных мест Еламан скучал не только по уважаемым землякам, но даже по бестолковому Судр Ахмету. В свободную минуту он вспоминал о маленьких землянках, густо поналепленных на круче, о скудной жизни рыбаков, об их босоногих, чумазных ребятишках, о море, о степи... Все дела, удачи и неудачи земляков, даже их ссоры и сплетни были бесконечно дороги ему.

До самого вечера, пока молодая жена Али не постелила ему во дворе постель, радостная улыбка не сходила с лица Еламана. Даже когда земляки жаловались на что-нибудь или возмущались несправедливостью, он слушал, кивал головой, но не переставал улыбаться. Раза два только он поднимал голову и пристально вглядывался вдаль, стараясь среди множества землянок увидеть ту, где он когда-то жил с Акбалой. И еще нет-нет да и подумывал: «В какой же землянке жила Айганша?» Только в эти минуты лицо его становилось грустным и сосредоточенным. Но он тут же отвлекался и смеялся вместе со всеми какой-нибудь незатейливой шутке.

Осетра ждали долго. Но и после того как с ним расправились, не расходились рыбаки, до глубокой ночи раздавались по всему аулу их громкие голоса.

В течение всего вечера Еламан часто поглядывал на Кенжекей. Чем-то была она непохожа на женщин этого аула и держалась в стороне — была бледна, подавлена и не лезла к казану. И одета она была беднее всех. Еламану вдруг захотелось подсесть к ней, поговорить, расспросить о житье-бытье. Он знал, что живет она одна с тремя малышами, что после гибели Тулеу устроилась работать на промысел, разделывала рыбу. Сколько оскорблений и побоев вынесла она за свою жизнь, сколько раз мерзла и голодала, но так много доброго сохранила в себе эта тихая, робкая женщина. О чем-то оживленно судачили бабы возле казана, а ей не было дела до их сплетен. Тихо сидела она в сторонке, прижав к себе маленькую дочурку, задумчиво глядела перед собой... «Каково ей теперь одной?» — грустно думал Еламан.

На другой день по просьбе Еламана Рза и Али собирали на бугре за аулом всех рыбаков — более двухсот человек. Еламан встал, оглядел собравшихся и откаш-

лялся. Дос, Калау и еще человек десять сидели отдельно. Дос хмурился. Встретил он Еламана угрюмо, молча кивнул в ответ на приветствие и прошел мимо.

Еламан начал говорить. Он говорил о том, что мир теперь раскололся надвое — на красных и белых. Красные за бедняков, белые за баев. Они схлестнулись, как огонь с водой, и теперь бедным казахам надо решить, на чью сторону стать. Красные обращаются к бедноте за помощью. Нужно создать красный вооруженный отряд из казахских джигитов. Вот с этим поручением он и приехал сюда.

Рыбаки молчали. Все вдруг уставились глазами в землю.

— Насильно идти в отряд вас не заставляют... — сказал Еламан.

По толпе прокатился шорох, все подняли головы.

— Ну тогда слава богу! — весело крикнул один из рыбаков, сидевших с Досом.

— Это же война между русскими? Так вот пускай они и воюют, а нам зачем мешаться в ихние дела? — поддержал его сосед.

Коренастый, плотно сбитый джигит вдруг вскочил.

— Какие русские? — завопил он. — Война идет между баями и бедняками, Ел-ага ведь объяснил...

— Ну и воюй, если охота! — крикнули ему из группы Доса.

— И буду воевать!

— Катись! Никто тебя за подол не держит!

Рыбаки рассмеялись. Коренастый джигит рассердился. Твердым шагом он решительно выступил вперед и крикнул:

— Ел-ага, я вступаю в отряд!

— Спасибо, дорогой!

— Ел-ага, — живо воскликнул Али, — не беспокойся, запишутся в отряд многие! Но ведь в ауле у нас ни одной лошаденки не найдешь! Тут все пешие...

— Лошадей я найду!

— Тогда другой разговор!

Рыбаки облегченно зашумели. Дос, увидев, что настроение рыбаков переменилось, встал и молча пошел со своими джигитами в аул. Еламан даже не взглянул на него, он в это время отправлял Рзу к Танирбергену



с приказом выделить для отряда косяк хороших коней. Рза ушел, а Еламан вдруг усомнился: «А если не даст? Что мне тогда делать?»

Вместе со стариками он пришел в дом Мунке, чтобы помянуть его. Среди гостей был и Судр Ахмет. Ализы не оказалось дома. Гости, потоптавшись, уселись на почетное место. Бобек засуетилась. Догадавшись, что она хочет приготовить чай, Судр Ахмет вдруг важно сказал:

— Не беспокойся, Бобекжан. Наш Ел-ага спешит, понимаешь. Он у нас, оказывается, по срочным делам балшайбеков. Вот когда вернется, тогда и чаю попьем, а теперь дай нам хлеба... Не смущайся, лишь бы соблюсти обычай!

Бобек расстелила перед гостями достархан, тонкими ломтиками порезала лепешку. К еде почему-то никого не тянуло. Сидели, вяло пощипывали лепешку, жевали, чтобы только соблюсти обычай. Судр Ахмету вообще не сиделось в доме, где не варилось в котле мясо. Едва Бобек собрала достархан, как он вскочил, взмахнув полами чапана.

— Ну пошли! Пошли!

Старики вышли, а Еламан остался, чтобы повидать Ализу. Вскоре после ухода гостей пришла и она. Молодая соседка поддерживала ее под руку. Ализа взглянула на Еламана, поздоровалась и опустилась недалеко от двери, возле холодного казана. Вид у нее был подавленный. Из-под кимешека торчали седые космы. Еламан грустно помолчал, потом стал спрашивать про жизнь, про здоровье.

— Э, родной, какое у меня может быть здоровье... У тебя-то как дела?

— Слава богу, ничего.

— Говорят, все воюешь?

— Приходится...

— Ну что ж... Огонь, бывает, и камыш щадит. Без божьей воли и смерть не придет. Надолго к нам?

— Дней на десять...

— Ах, родимый, где б ты ни жил, дай тебе бог здоровья,— тихо сказала Ализа и вдруг остро взглянула на Еламана.— Говорят, ты у Акбалы бываешь? Верно?

Еламан покраснел.

— Это хорошо, что ты добрый. Она просто заблудилась, а так разве плохая она?

Пообещав еще зайти, Еламан попрощался. Бобек подметала двор. Проходя мимо, Еламан пристально посмотрел на нее. Волосы у нее вились, как и в девичестве, упруго выбивались из-под белого шелкового платка. По-прежнему была она красива, только печаль лежала на ее лице. Бобек, будто чувствуя, что думает о ней Еламан, так и не подняла головы.

## IX

Рза вернулся скоро. Танирберген, как рассказал Рза, выслушал приказ Еламана молча, ни слова не сказал и тут же вызвал слугу. Тот быстро пригнал добрый косяк лошадей и тоже молча передал Рзе.

— Так ничего и не сказал?

— Рта не раскрыл!

На худом лице Еламана мелькнула злая усмешка. Отвернувшись нынче удача от мурзы, растерял он всю свою власть и силу, но держится еще с прежней надменностью, собачий сын!

Быстро подошел Судр Ахмет. Еламан сначала не обратил на него внимания, но тот стал дергать его за рукав.

— Чего тебе?

— Отойдем, дорогой... Дело есть!

«Вечно у него какие-то тайны!» — с досадой думал Еламан, шагая за ним и поглядывая в другую сторону. Перед домом Али остановились два всадника. Кони их были загнаны в мыло. Туда уже со всех сторон валил народ. «Что за люди?» — думал Еламан, то и дело оглядываясь на всадников.

Судр Ахмет сначала жался, напускал таинственность, потом сделал горестное лицо, шмыгнул мокрым носом и пустил слезу. На дрожащем подбородке его торчали редкие щетинки.

— Все мы недолгие гости в этом бренном мире, — начал он. — Никому не дано жить вечно...

Еламан хорошо знал Судырака — тому ничего не стоило рассмеяться после самых печальных слов. Но то,

что он спотыкался на каждом слоге и завел речь изда- лека, Еламана насторожило.

— Крепись, Еламанжан... Мужайся, дорогой! Дедуш- ка твой Есбол приказал долго жить... Помер, значит, хо-ороший был человек покойник! Царство ему не- бесное.

Еламан тут же собрался, сел на коня, позвал с собой Али и Рзу. Судр Ахмета никто не звал, однако он ско- рей всех оседлал своего несуразного вороного и выехал в степь первым. Всю дорогу молчали. Крепко натянув поводья, всадники ехали крупной рысью, но только к ве- черу добрались до горестного аула.

Ночью Еламан ничего толком не разглядел. Утром же, проснувшись пораньше, вышел во двор и поразился: народу понаехало видимо-невидимо. Он догадался, что все аулы в округе были извещены о смерти старика Есбола.

Каждый шаруа в заботах о скоте с наступлением осе- ни перебирается поближе к зимовью, подыскивает себе местечко потеплее, побезветреннее, и тогда в каждом овраге, в каждой лощине найдешь по юрте. Осенью и зимой шаруа встречались друг с другом только по како- му-нибудь особому случаю — на поминках, на проводах девушки или на свадьбах.

Помянуть Есбола-кария собрались люди чуть не со всех аулов двух волостей. Хотя далеко еще было до зим- ней стужи и буранов, но приехавшие издалека одеты были по-зимнему. Шубы, неуклюжие тулупы и треухи наполняли аул. В ауле было оживленно: джигиты реза- ли мычащую и блеящую скотину, взад-вперед сновали бабы, чистили кишки, мыли мясо...

На устройство похорон было выделено пятнадцать человек ближайших родичей Есбола. Они назывались асабой. Асаба обязаны были со всеми почестями встре- тить собравшийся из сорока родов народ, позаботиться о том, чтобы все были устроены, накормлены и напоены, и чтобы кони их были сыты, и чтобы всегда была наго- тове теплая вода в куманах для омовения старикам. Всех надо было ублажить, всем угодить, чтобы люди потом разъехались без обид и неудовольствий.

К обеду поспело мясо. Гости, толпившиеся на улице, полезли торопливо в юрты. Самые сильные джигиты

стали таскать мясо на огромных деревянных подносах. По рядам гостей поплыли плоские круглые чаши-табаки с душистым, исходившим паром мясом.

Время выноса тела близилось, и в ауле становилось все шумней и оживленней. Асаба то и дело собирались на бугорке за аулом и обсуждали все мелочи похоронного обряда.

Поминальный обряд — один из самых хлопотных и сложных. Много нужно скотины, много всяких продуктов, чтобы хоть понемногу досталось всем собравшимся. А у Есбола скота было мало. Да и всего прочего, можно сказать, не было. Не успел он накопить ничего за свою долгую жизнь. Но человек он был почтенный и любимый народом. Поэтому, как ни жались ближние и дальние родичи, а решено было помянуть и похоронить карию на общий счет со всеми почестями.

Аксакал асабы, старшина поминальной церемонии, старик Суйеу был многолетним приятелем Есбола и, кроме того, сватом. Суйеу был скуп на слова и не вмешивался в разговоры о разных мелочах, о разделе имущества и скота. Когда асаба собирались за аулом, чтобы все обсудить, он приходил и садился, подвернув под себя полы длинного чапана, как всегда, прямой и суровый. Вокруг него шумели, спорили, а он, ни на кого не глядя, смотрел поверх голов куда-то вдаль. Когда, по обычаю, все начали обнимать Еламана и оплакивать его утрату, Суйеу и тут крепился. Умел суровый старик скрывать равно как радость, так и горе. Ничто не дрогнуло в его лице, когда он впервые встретился с Еламаном у тела Есбола.

— А!.. И ты приехал? Приехал все-таки! А-а... Что ж... Верно сказано: в лохмотьях — надейся, в саване — отрекайся,— только и сказал старик, пожимая руку Еламану и вглядываясь в него.— А сынка твоего мы растим. На тебя похож... Такой же семижилый!— Суйеу насмешливо улыбнулся было, но тут же опять построжил, не сказав больше ни слова.

После старика Суйеу самым уважаемым и почтенным человеком был Алибий. Он не был родней покойному, но с рыбаками породнился давно и жил с ними душа в душу. Добрый по натуре, он никому не причинял зла и всегда был мягок, рассудителен и справедлив.

Хорошо зная старинные предания и обычаи предков, он чаще помалкивал, поглаживая густую черную бороду. А если заговаривал, то слово его было всегда умно и к месту сказано.

Человек пятнадцать окружили Суйеу и Алибия и обсуждали, кому из мулл читать коран. Еще не было ничего решено, когда к аксакалам присоединились Судр Ахмет и брат его Нагмет.

После того как сына Нагмета прогнали из судебной канцелярии, Нагмет вернулся в аул и жил у родственников. Он не сидел без дела, а ходил и ездил по многочисленной своей родне, пил, ел у них и выклянчивал старую одежду.

Аксакалы заговорили как раз о скудном имуществе покойного. Послушав минуту, Нагмет понял, что тут ему не поживиться, и расстроился. Но потом лицо его разгладилось, и он зашептал что-то на ухо сидевшему рядом Судр Ахмету. Судр Ахмет хихикнул и заерзал от удовольствия. Нагмет щипнул его за ляжку, как бы говоря: «Ты пока помалкивай!» — и влез в разговор.

— Одна из лучших одежек покойного ага-жана полагается мне! — крикнул он.

Рядом с Еламаном сидели Али и Рза. Когда старики, пораженные, замолчали, Али не удержался.

— У, харя! — насмешливо сказал он. — Всю жизнь клянчишь, обдираешь всех, а нутро свое поганое не насытишь...

— Эй! Эй, братья единокровные... — начал было Нагмет.

— Молчи! Живых тебе, собаке, мало — теперь на покойнике нажиться хочешь, а?

Но там, где дело касалось какой-нибудь выгоды, Нагмета, как и его брата Судр Ахмета, ни уговорить, ни остановить было невозможно. После слов Али он затрясся и вскочил. Войдя в круг чинно рассевшихся членов асабы, он сорвал с головы шапку и шмякнул ею оземь. Слепой глаз его совсем зажмурился, зато здоровый округлился и налился кровью.

— Это я? Ойбай-ау... Это я, несчастный, позарился на тряпье такого... такого почтенного человека и моего

незабвенного родича, а?!— Он вытянул черную морщинистую шею и задохнулся. Жилы на шее его вздулись. Поворачиваясь, он яростно сверлил всех своим единственным глазом. Все хмуро молчали, смотрели в сторону, Нагмет вдруг заплакал, прыгнул к Суйеу и плюхнулся перед ним на колени.

— Ойбай-ау, на что мне добро покойника? Я ведь о чем пекусь? О святости древних обычаев!— кричал, распаясь, Нагмет и размазывал слезы по лицу.

Красные глаза Суйеу округлились, яростно заморгал он белыми ресницами.

— Тайт!.. Цыц!— замахал он на Нагмета полый чапана.— Ишь как заговорил, безбожник! Тебе ли о святости дедовских обычаев заботиться? А? А?..

Нагмет моргнул и перевел свой глаз на Алибия.

— Ка... ка-кой был... мой Есбол-ага!— зарыдал он.— Я черного ногтя... черного ногтя на его ноге не стою! И вот погас мой светоч, рухнула опора... Лежит мой ага в правом углу... Горем убит мой народ, и вот в такой горестный час эти вот меня оскорбили, унизили... Господи, опозорен я! Горе мне, горе! Ойбай, ойбай...

Нагмет несколько раз ударил себя по голове, подполз к Алибию и упал перед ним ничком, растянувшись длинным своим худым телом. Алибий даже вытаращился и тут же вспомнил, как однажды эти братья чуть не затеяли скандал в соседнем ауле.

Разъезжая по гостям, братья как-то невзначай попали на похороны одного почтенного аксакала. Аул был подавлен горем, и на братьев никто не обратил внимания. Братья очень обиделись.

С плачем и воплями вынесли покойника. И тут сыновья покойного обратились к народу:

— Эй, люди добрые! Кому при жизни остался должен наш отец? Говорите не таясь, чтобы он не унес с собой этот грех...

Вот тут-то Нагмет и вышел вперед.

— За покойным у меня числится должок!— закричал он.— Когда мой сынок Кабежан был судьей, ваш отец приезжал к нему, а обратно уехал на моем коне!

Родичи даже плакать перестали. Сыновья покойного были удручены. Нужно было вернуть долг, ублажить

и проводить с почетом того, кому при жизни был должен усопший. Никто не осмелился предать земле тело человека, не очищенного от земных долгов.

— Верните долг вашего отца!— еще пронзительней закричал Нагмет.

И тут Судр Ахмет рассердился: он еще громче Нагмета закричал:

— Довольно тебе, оставь! Когда у тебя гостит дорогой гость, разве не положено ему дарить коня и чапан? Плюнь на своего коня! Считай, что ты подарил его почтенному покойнику!

Алибий испугался, что братья и теперь поднимут скандал при выносе тела. Все еще надеясь образумить Нагмета, он сказал:

— Есбола любил и уважал народ. Мы хотим с честью отправить его в последний путь. Как же не стыдно тебе поднимать шум в такой час? Образумься!

— А почему это я должен образумиться? И не подумаю! Во все горло вопить буду! В пух и прах все разнесу! И золу в очаге раскидаю...

Судр Ахмет между тем все свирепел, потом не выдержал и вбежал на своих заплетающихся ногах в круг аксакалов.

— Ау!.. Ау!.. Что это вы все обрушились на бедного Нагмета? Это над кем же вы издеваетесь, а? Над кем, я вас спрашиваю? Да мы вонзимся колючкой в ваши вонючие пятки! Мы черный нож, вспарывающий ваши животы! Вот!

На бугре вдруг поднялся крик.

— Тихо, братья, тихо!— закричал Алибий, воздевая руки.

А когда все замолчали, Алибий презрительно сказал сидевшему рядом джигиту:

— Ладно. Включи этого слепого кобеля в долю тех, кто обмывает тело...

Судр Ахмет обрадовался было и засиял, но тут же понял, что если брат и вошел в долю, то ему самому от этого не легче. Лицо его сразу помрачнело, и он, спотыкаясь, заковылял к Алибию.

— Ау! Ау, Алибий... Как же это получается? Нагмет сын Маралбая, а я что, из-под земли, что ли, вылупился?



А? Разве я не заслуживаю какой-нибудь одежды моего незабвенного ага? Тогда я пуще прежнего берег бы память дорогого покойника!

— У, в грехах погрязшие безбожники, твари алчные!—застонал Алибий и закрыл лицо руками.— Боже, избавь нас от скверны этой... Ладно, суньте и этому проныре что-нибудь...

— Алеке! А ему-то с какой стати?

— Знаю, что не положено... Все равно, занесем его в число тех, кто будет рыть могилу.

— Правильно!—обрадовался Судр Ахмет.—Найдешь ли еще человека, кто так рыл бы могилы, как я? Кому же еще рыть могилу Есбола-ага?

Али был джигит горячий. Крепко стискивая восьмигранную, из сыромятной кожи камчу, он прошептал:

— Э, какая досада, а? Жалко, что мы на похоронах, а то отодрал бы я их... До крови!

После скандала, устроенного братьями, старики долго не могли прийти в себя. Всем стало стыдно, и все сидели молча, понуро, не глядя друг на друга. Алибий вопросительно посмотрел на Суйеу. Тот сидел гневный, и на лице его застыло выражение отвращения. Алибий понял, что Суйеу теперь не скоро отойдет. Выпрямившись, Алибий оглядел толпу.

— Есбол был старик одинокий. Не было у него ни детей, ни благодетелей, не знал он в жизни ни уюта, ни приюта. Несколько голов скота составляло его состояние и пропитание. А теперь, когда старик покинул юдоль печали и отправился в лучший мир, мы, его сородичи, вдруг с алчностью позарились на его состояние. К лицу ли это нам? Делает ли это нам честь? Разве мы не асаба? Мы должны с почестями предать тело земле. Давайте же, братья, не возьмем ни мотка ниток! Пусть имущество покойного поделят между собой беднейшие наши родичи Агыс и Когыс. Кое-что достанется старикам, обмывшим тело. Да еще муллам, читавшим намаз. Да еще кетменщикам, которые будут рыть могилу. Согласны ли вы со мной?

— Правильно! Верно!

— Все рассудил по чести!

— Да будет так!

Старики Суйеу и Алибий поднялись и отряхнули полы чапанов. Встали за ними и все остальные. Али и Рза собрали могильщиков и отправились к кладбищу рядом с аулом. Грунт на кладбище был каменистый, твердый. Самый крепкий джигит, не выкопав и четверти аршина, выбивался из сил. Как ни размахивались, как сильно ни били кетменем, кетмень отскакивал, высекая искры.

Могила была вырыта уже по пояс, когда на кладбище приволокся скучавший Судр Ахмет. Посмотрев некоторое время на работу кетменщиков, он вдруг распалился, спрыгнул в могилу и отнял у кого-то кетмень.

— Уходите все! — закричал он. — Разве в такой день можно силу жалеть, ойбай? Вот как надо копать!

Он размахивал кетменем, хекал, прыгал, ухал, но кетмень его только лязгал о каменистый песчаник, не вонзаясь даже на палец. Через пять минут Судр Ахмет уже надсадно дышал и страстно ждал, что кто-нибудь попросится ему на смену. Но сменить его не спешили, и тогда Судр Ахмет решил устроить передышку.

— Ну и тяжел же этот проклятый кетмень, — отдуваясь, бормотал он. — Откуда его только выкопали? Свинец ему, что ли, в ручку залили?..

Собравшихся давно уже разбирал смех, но у могилы даже улыбаться нельзя было, и все крепились из последних сил. Кто-то не вытерпел все-таки и посочувствовал Судру Ахмету:

— Да, с тупым кетменем, как с глупой бабой, одна морока. Только силу напрасно теряешь...

От этих слов Судр Ахмет взыграл духом. Вскинув голову, как петух, он оглядел всех снизу.

— Э, братья! Была бы сейчас городская остроголовая мотыга... О!

Не успел Судр Ахмет упомянуть о мотыге, как кто-то из джигитов кинулся в сторону и вернулся с новой мотыгой. Судр Ахмет взял мотыгу, не скрывая восхищения, оглядел ее, поплевал на ладони и широко размахнулся. После двадцати взмахов он весь взмок и начал раздеваться. Сначала из ямы полетел заскорузлый чапан, за ним вылетела наружу и рубаха. Голый, худоребрый, он похож был на освежеванного хорька. Соле-

ный пот заливал ему глаза, лицо побагровело от усилий... А придурки эти обступили могилу и подзадоривали и подбадривали, мерзавцы, после каждого его взмаха!

— Эх, ррраз!

— Ай, молодец!

— Да, уж если работать, то только как наш Судырак!

— Ох и веселится же душа покойника, глядя на честные труды нашего Ахмета-ага...

— Где уж нам с Аха тягаться!

«Ах, псы безродные! Чем зубы скалить да глотку драть, подсобили бы старому человеку! У, да разве у них есть совесть? У этих, прости меня боже, голозадых пагледцов? Разве уважают эти низкородные собаки стопочтенных людей? Нет! Они самого бога не почитают, вот что!»

Судр Ахмет так обиделся и устал, что, бросив мотыгу, опустился на колени и с остервенением принялся скрести пальцами дно могилы.

— Придумали тоже кетмень, мотыгу...— крикнул он осипшим голосом.— Что сравнить вот с этими трудовыми руками?..

Не вытерпев, Али спрыгнул в яму, высадил оттуда Судр Ахмета и взялся за кетмень.

## Х

Многолюдная толпа после похорон Есбола стала разъезжаться. Во все стороны потянулись пестрые кочевья — мужчины и женщины, старики и молодежь — на верблюдах и лошадях. Родичи просили Еламана остаться на седмицу Есбола, но больше одного дня задерживаться он не мог. Перед отъездом пошел раз на могилу почитать молитвы из корана. Черная гончая, любимица Есбола, сопровождала его. Она смотрела на Еламана с такой печалью, что, казалось, все понимала.

На могиле, молитвенно сложив протянутые руки, сидели на коленях старики. Собака стала беспокойно бегать вокруг них и скулить. Она оплакивала своего хо-



зяина, зарытого под этим холмом, и просила у людей помощи. Еламан, поглядывая на собаку, то и дело сбивался со слов поминальной молитвы. Собака была, наверное, голодна, бока ее провалились. Она все нюхала свежую землю, взглядывала то на одного, то на другого из людей, глаза ее были переполнены тоской.

— Апыр-ай, до чего же жалобно смотрит! — пробормотал Али. — Сколько людей было на похоронах, а, пожалуй, никто так не убивался, как эта тварь...

Некоторые чувствительные джигиты стали вытирать глаза. Еламан, закончив молитву, поднялся. Отряхивая с колен пыль, встали и остальные. Гончая перестала нюхать землю и села. Глядя вслед уходившим людям, она вдруг тоскливо завывала.

У Еламана испортилось настроение. Вместо умиротворения он почувствовал вдруг злость против всех и против себя. Жесток или добр, искренен или фальшив человек по своей натуре? Или в его душе уживается то и другое, и он только внешне добр, а внутри у него зло? Может, как раз в этом и заключается причина неисчислимого зла, занявшего все четыре стороны света? А эти бесконечные войны, вражда, недовольство, насилие, унижение бесправного — может быть, все это в натуре человека? Или он ничего не понимает, или все это, как язва, заложено в первоначальном естестве человека, которое рано или поздно берет верх везде и всегда? А как будет в будущем? Сумеет ли человек преодолеть и победить свое нутро?

Он не перестал об этом размышлять и тогда, когда вернулся в дом Есбола. Он даже есть не стал. Снова прочли молитву из корана, и каждый счел нужным сказать несколько благочестивых слов. «И это тоже ложь! Так, для вида говорят», — подумал Еламан. Прежде чем уехать, он хотел поговорить о предстоящих поминках, но раздумал. Мертвому не нужны все эти обычаи и условности. Можно провести пышные похороны, потом богатую седмицу, сорочину, годовщину. Но все это нужно не Есболу, а живым, как предлог, чтобы вкусно и сытно поесть. Дед Есбол скончался. Старуха его умерла еще в прошлом году. Совсем опустел этот дом, осиротел, живой души в нем не осталось. Скоро уедут и эти люди, забьют окна и двери. И, может быть, только одинокая черная гончая будет прибегать к порогу дома, поскулит, обнюхает рассохшуюся лоханку и убежит опять в степь...

Выходя со двора, Еламан обернулся и последний раз посмотрел на дом деда Есбола. Весь дом состоял из одной-единственной комнаты с окном на юг. Но зато какой это был большой дом! Пока была жива старуха, это был самый хлебосольный, самый гостеприимный дом в округе.

Все, кто был в комнате, повалили во двор провожать

Еламана. Он грустно и ласково простился со всеми и со своими джигитами отправился в путь.

С установлением в крае Советской власти волостных стали выбирать из бедняков. Здешним волостным был энергичный молодой джигит. Приехав в аул, расположенный на полуострове, Еламан первым долгом зашел к волостному. Еще накануне он послал к волостному Али с просьбой помочь создать отряд из беднейших казахов.

Волостной круто взялся за дело, послал во все аулы нарочных, приказав тех, кто не захочет вступить в отряд, доставлять силком.

Еламан вместе с Али поехал тут же по аулам, собирал народ и говорил то же самое, что говорил в ауле рыбаков. Он терпеливо и правдиво объяснял положение, особенно подчеркивал, что насильно забирать в отряд никого не будут, и, каждый раз дав джигитам день на обдумывание, уезжал дальше.

Когда он вернулся из этой поездки, в ауле волостного стало тесно от понаехавших со всех концов конных и пеших. Собрались самые молодые и горячие джигиты. Еще вчера тихие, забитые пастухи и табунщики, от зари до зари изнывающие в сонной безлюдной степи, тупо тащившиеся вслед за чужим скотом с бичом или куруком в руках, теперь, собравшись вместе, были необычайно оживлены и шумны. Еламан обрадовался, увидев вокруг столько молодых, задорных лиц. Ставя коня под навес, он услышал, как волостной громко ругал кого-то.

Еще раз весело оглядевшись, Еламан вошел в вол-исполком. Белая шестистворчатая юрта, стоявшая в центре аула, была битком набита людьми. Почти всех собравшихся Еламан не видел ни разу в жизни. Но, едва взглянув на их дырявую одежду, обветренные, загорелые лица, потрескавшиеся губы, он догадался, что это все табунщики, верблюжатники, чабаны байских аулов.

— А где табунщики Ожар Оспана? Почему их здесь нет? — грозно вопрошал волостной.

— Не прибыли...

— Гонец у них был?

— Был...

— И что же?

— Джигиты не виноваты. Их не пускает Ожар Оспан...

— Ах вон оно что! — волостной потемнел. Маленькие его глазки загорелись недобро. Он быстро отыскал взглядом джигита с винтовкой и шашкой и кивнул ему. — Давай садись на коня. Вместе с табунщиками пригони сюда и самого Ожар Оспана. Я с ним поговорю!

Еламан с любопытством поглядывал на волостного. Да, настали новые времена! Вчерашний батрак показывает свой норов. И ума ему не занимать, и стоит на правильной линии. С богачами он будет говорить жестоко. Ну что ж, видно, не растопился еще лед в душе, намерзший за долгие годы. А то и чувство мести в нем заговорило... Все может быть. Пока в аулах еще сидят баи и по-прежнему унижают и распоряжаются судьбой бедных, совсем не плохо, если кто-нибудь хоть изредка будет хватать их за глотку.

## XI

Из аула волостного Еламан выехал спозаранок. Темно-рыжий конь его со звездочкой на лбу, хорошо отдохнувший в Челкаре, теперь подобрал брюхо, и Еламан знал, что доедет до аула рыбаков еще до захода солнца. В людях Еламан ошибался часто, но лошадей понимал с первого взгляда.

В жилах темно-рыжего текла горячая кровь. Как бы ни натягивал всадник ременный повод, под наостренными ушами темно-рыжего скоро проступала легкая испарина, и тогда удержать его было почти невозможно. Он грыз удила, раздирал в кровь губы, вытягивал шею, прося поводьев, и, распаляясь все больше, всю дорогу неумоимо скакал, даже на подъемах не переходя на шаг. И уже к предвечерней молитве Еламан домчался к заросшему серой полынью увалу за Бел-Араном. Отсюда до рыбацкого аула простиралось с левой стороны синее море. С моря дул легкий, бодрящий ветерок, обвеивая всадника и коня.

В ауле Еламан хотел остановиться у Али. Но, не доезжая до землянки Али, он вдруг повернул к дому



Доса. Он решил внезапно — и обрадовался этой мысли — помириться с Досом. Правда, последнее время очень уж Дос задира́л голову. Ну что ж, а ты склонись! Тебя не убудет... Поклонись, сделай первым шаг к примирению.

— Подъехал кто-то... — сказала Каракатын, уловив цокот конских копыт.

Дос сидел у потухшего очага, подоткнув под себя край алаши, и не спеша растирал насыбай — жевательный табак. Он и бровью не повел, услышав, как кто-то подъезжает к его дому. Зато Каракатын мигом бросила все свои дела и кинулась за порог. Она тотчас разглядела путника, привязывавшего коня к коновязи перед их землянкой. «Господи, да это же Еламан! Батюшки мои, на кого это он похож? Весь в военном, и как это я раньше не заметила? Тьфу, тьфу, срам глядеть! Не мужик, а холощенный верблюд в бескормицу — худой, одни руки да ноги». Каракатын вдруг прыснула и зажала ладошкой рот. Отвернувшись, она ущипнула себя от удивления за дубленую щеку.

— Эй, пошевелись, Еламан приехал! — крикнула она, вернувшись в землянку.

Дос продолжал растирать насыбай. В неубранном доме черт мог ногу сломать. Каракатын совалась из угла в угол, ища в свалке подстилку для гостя. С языка ее срывались уже привычные проклятья.

Гость вошел, поздоровался. Каракатын с облегчением подумала, что теперь все равно уже поздно прибираться в доме, плюнула и выдавила на лице подобие улыбки. Ответив на приветствие гостя, она принялась отпихивать ногами разбросанный всюду хлам подальше к стенкам. Ей все-таки было стыдно за кавардак в доме, а тут еще этот невежа развел вонь на весь дом своим насыбаем и даже — гляди-ка! — не шелохнется! Ой ты, гниль паскудная! Тварь беспомощная!

— Проходи, деверек... — сладко сказала она.

— Спасибо, женеше.

— То, бывало, ты к нам и на порог не ступал, дорогой деверек, а теперь, спасибо тебе, сам пришел, никто тебя не притащил. Так проходи, милости просим, проходи!

— Эй, кончай говорить, чай поставь! — буркнул Дос.

— Вот он какой, ваш ага... — усмехнулась Каракатын.

— Эй, балаболка...

— Вон видишь, как меня страшит?

Дос из-под опухших век недобро поглядел на свою бабу. Каракатын показала ему язык и, схватив большой черный чайник, расплескивая воду, убежала вон. Оставшись с гостем наедине, Дос продолжал молчать. Горький крепкий насыбай давно уже щекотал ему ноздри, он то и дело разевал рот и глубоко вздыхал, готовясь чихнуть, но чох все не выходил. Неприветливость хозяина обескуражила Еламана, и он тоскливо водил глазами, не зная, как приступить к разговору. Оглядевшись, он достал сзади подушку, подмял ее под бок и растянулся у стенки. Чай скоро поспел, но и за чаем разговор не клеился. «Зря я сюда приехал!» — уже с досадой думал Еламан. Но после чая Дос несколько оживился.

— Сынишку-то видел? Как он, бедняжка?

Каракатын, взяв было чайник, чтобы выплеснуть во дворе остатки чая, услышав вопрос мужа, застыла у порога.

— Иди, иди! Знай свое дело.

Но Каракатын вернулась и уселась бок о бок с мужем.

— Что-то слабый он, — ответил Еламан.

— Недоносок ведь. Потому и слабый, — заметил Дос.

— Какой там недоносок... — не удержалась Каракатын.

Дос свирепо покосился на жену, но та сделала вид, что ничего не замечает.

— Кто же станет ухаживать за чужим ребенком? — заторопилась она. — Да видит бог, эта хрычовка Суйеу кормит его одним шалапом!

— Хватит, кому сказано?

— Тебе самому хватит горло драть!

— Эй, баба! Жить тебе надоело?

— Ба! Ба! Еще угрожает! Ой, дурак старый...

Но, заметив, куда потянулась рука мужа, Каракатын прикусила язык. Дос положил рядом с собой увесистый деревянный пест, которым недавно толоч насы-

бай. Коротконогая Каракатын съежилась под грязным платьем. Она теперь все время одним глазом поглядывала на пест. А разговор Доса с гостем становился между тем все оживленней.

— Теперь тебе, парень, надо жениться, понял? — убеждал Дос.

— Да я и сам об этом подумываю.

— А ты не думай. Женись — и все!

Каракатын незаметно накрыла пест подолом платья. И, улучив момент, ловко сунула его под печку.

— Брось ты все эти свои сомнения... Женись! Верно говорят, что без баб жизни нет... — бубнил Дос.

— Справедливо говоришь. Только, Дос-ага, я ведь женился раз — сам знаешь, что из этого вышло.

— А ты не бери смазливую бабенку. Вот мой совет.

— Да уж какая достанется...

— Достанется — не достанется. Что за разговор? И в этом ауле есть для тебя подходящая баба.

— Не знаю, не знаю...

— Не знаю! А старшую жену Тулеу ты знаешь? Вот и бери ее.

— Вот так сказанул, разрази меня господь!.. — Как ни крепилась Каракатын, но тут смолчать она уже не могла. — Растяпа ты!

— А что такое?

— Так ведь у ней одно звание только, что баба, а так — на кой она мужику?

— Чего она мелет, эта шлюха?

— Сам ты шлюха! А ты, деверек, не слушай его! На кой тебе занюханная эта баба? Хоть бы одна была... А то с целым аулом ребят!

— Да ты, курва... Замолчишь ты или нет?

Каракатын вдруг взорвалась и в ярости принялась колотить по земле черной от сажи кочергой.

— Чего это ты мне пасть затыкаешь? Слова не дашь сказать, а? «Перестань!» А вот не перестану! Ты что думаешь, и другие такие же остолопы, как ты? Да за такого джигита, как наш деверек, любая девка с радостью пойдет, только мигни! А ты ему какую-то вдоль и поперек изъезженную клячу суешь!

Дос потянулся было к деревянному песту. Каракатын следила за каждым движением мужа. Вот он застыл

в изумлении, принялся шарить вокруг себя... Ну и осто-  
лоп! И на черном, как бы сажей вымазанном лице  
Каракатын заиграла злорадная ухмылка. Дур-рак! Пес  
паршивый!

Дос начал искать глазами бесследно исчезнувший  
пест. Быть свидетелем домашней ссоры Еламану не хо-  
телось. Он накинул на плечи шинель и вышел из до-  
му. Солнце давно зашло, по небу плыли редкие тучки,  
на востоке кое-где мерцали уже звезды. Легкий вете-  
рок с моря улегся, и стало тепло. Тонко пищали кома-  
ры. Темно-рыжий, привязанный у дома, узнал хозяина,  
зафыркал.

Еламан снял с коня седло. Конь остыл уже, но под  
чепраком было еще влажно, мокрые курчавые бока бы-  
ли горячи. Еламан по привычке погладил нежную шею  
коня, почесал ему горло, потом запустил пальцы в гри-  
ву. Грива была хоть и не густа, но упруга и распирала  
ладонь. Еламан помял холку и подумал: «Справный  
конь, в самом теле!»

Он отвел коня за аул, где густо рос ковыль, и стре-  
ножил его. На обратном пути он вдруг вспомнил Мун-  
ке и завернул на погост. Постояв у могилы, Еламан  
опустился на колени и прочел молитву из корана. Мо-  
гила была голая — ни изгороди вокруг, ни камня-стоя-  
ка. Под бугром земли покоился старый рыбак со свои-  
ми детишками...

Еламан тяжело поднялся и отряхнул с колен пыль.  
Море потемнело, но чайки еще не спали — со стороны  
промысла доносился их голодный пронзительный крик.  
Видно, к промыслу только что подошли с хорошим уло-  
вом рыбаки, ставившие свои сети далеко в море. Ела-  
ман знал, что в дни, когда рыбаки уходят в море на-  
долго, женщины с промысла возвращаются домой позд-  
но. Значит, и Кенжекей еще на работе... С тех пор как  
погиб ее Тулеу, ей, говорят, совсем прохода не стало  
от Калау. День и ночь приставал он к ней, чтобы она  
вышла за него замуж или стала жить с ним просто  
так. Может быть, потому, что она была любимой женге  
Айганши, Еламан всегда думал о ней хорошо. А теперь  
он еще и жалел ее — одна с тремя детьми! Совет Доса  
жениться на ней запал ему в душу. В самом деле, на  
красивой он уже обжегся, хватит с него. Теперь ему

другая женщина нужна, чтобы растила его сынишку, чтобы и в его доме теплился очаг.

С такими мыслями Еламан пришел в аул. Во многих домах сейчас сидели за ужином, из землянок доносились усталые голоса рыбаков. Проходя мимо самой большой землянки, Еламан замедлил шаг и прислушался к трепетавшему на печальных струнах домбры знакомому кюю. Домбра звенела из землянки Али. Весь день он сегодня рыбачил, а теперь, в вечерних сумерках, склонился над джидовой домброй и самозабвенно бил по ее струнам.

На другой день Еламан поднялся рано. Прежде всего он вышел за аул и посмотрел на своего коня. Конь пасся на том же месте. Он хорошо отдохнул и, зарывшись мордой в густой росистый ковыль, громко хрумкал и пофыркивал от удовольствия.

Поднялся ветер. Успокоившееся ночью море теперь почернело и вспенилось волнами. «Будет шторм!» — решил Еламан, оглядев горизонт. Когда он встал с постели, Каракатын еще спала, но теперь слышно было, и она поднялась — из землянки доносились грохот, лязг посуды и пронзительная бабья ругань. Нехотя, будто его толкали в спину, шел Еламан к землянке Доса и, не отрываясь, смотрел на море, над которым кричали чайки, а вдалеке на волнах уже скакали темными точками рыбацьи лодки.

В рано просыпающемся рыбацьем ауле все еще было шумно. Женщины, так и не управившись с домашними делами, спешили на промысел. Зорко оглядываясь, Еламан вдруг увидел Кенжекей. Она прощалась с детьми, которых оставляла одних на целый день. Самый маленький капризничал, ревел. Кенжекей шептала что-то ему на ухо, успокаивала, потом поправила соскользнувший жаулык и поспешила вслед за женщинами, которые ушли уже далеко.

— Еламанжан, вот ты где! А у меня к тебе дело... — Судр Ахмет дернул его за рукав и захихикал.

Хоть Еламан не любил старикашку и не доверял ему, он все же послушно пошел за ним в сторону от дома и так же послушно присел рядом, когда тот повалился на травку. Судр Ахмет откашлялся и поерзал, будто ему вдруг стало жестко на мягкой траве. Вокруг них

густо росли серая полынь, лисохвост, дикий клевер, но Судр Ахмет потянулся к росшему поодаль красноногому изеню и отщипнул стебелек.

— Еламанжан, я решил с тобой с глазу на глаз поговорить. Ой, по какому важному делу! Ау! Мудрый бий Жетес из рода Жакаим, говорят, изрек однажды...

Еламан встревожился — черт его знает, что за новости опять у этого прохвоста? Что случилось? Ему почему-то сразу пришел на ум слабый его сынишка в доме старика Суйеу.

А Судр Ахмет, как петух, собиравшийся закукарекать, вдруг запнулся, будто подавился. Еламан похолодел. «В самом деле что-то случилось!» — решил он и со страхом поглядел на Судр Ахмета, зажавшего в кулак жиденькую бородку. Чем дольше и таинственнее молчал Судр Ахмет, тем все более не по себе становилось Еламану. Он не выдержал и дернул Судр Ахмета за полу.

— Ну? Что случилось? Говори скорей!

Блуждающий взгляд Судр Ахмета упал на большого рыжего муравья, тащившего травинку. Судр Ахмет встрепенулся и начал подхлестывать муравья стебельком изеня.

— Хоть ты и скрывал от меня, от своего лучшего друга, а я все узнал! — заговорил наконец Судр Ахмет. — Все узнал! На Кенжекей задумал жениться! Слухом земля полнится... Н-да... От меня ничего не скроешь.

Еламан не знал, рассердиться ему или рассмеяться.

— Ау! Ау, милоч мой! Я уж давно знаю, что ты на Кенжекей нацелился. Ой, давно! Ты, Еламанжан... Еламанжан-ау, наверно, еще и не думал ни о чем, а я уже во-он когда сердцем своим чувствовал, что так оно и будет.

— Не выдумывай, Аха...

— А что? Обзавестись бабой — божья воля. Э, да что там... Я тебя давно расхваливал Кенжекей! — И, тут же поверив в собственную выдумку, Судр Ахмет, будто паралитик, на заду стал придвигаться к Еламану.

Еламан плюнул и встал. Следом вскочил и Судр

Ахмет. Догнав Еламана, он семенил за ним то справа, то слева, а то даже забежал вперед.

— Я прямо сам удивляюсь, почему я тебя так люблю? Как начну говорить о тебе, прямо память теряю. Слова так и скачут из моих медовых уст! Да я тебе и сейчас скажу — ты парень не промах! Ох и расхваливал же я тебя перед молодухой этой, ну так расписывал, что прямо — ау! Как павлина. Бедняжка теперь... что? Влюбилась теперь в тебя, в постели так и вертится!

Еламан остановился как вкопанный, бешено взглянул на оторопевшего Судырака, повернулся и, не оглядываясь, спустился по крутому яру. С треском ломались под его солдатскими сапогами густо росшие вдоль побережья солончаковые кустарники. Господи, да что же это такое! Царя свергли, Временное правительство пало, нет такого уголка на земле, где народ не дрался бы с оружием в руках. А у его земляков одно и то же. Так же дремлет степь, те же сонные аулы, и люди в них прозябают по-прежнему, и никакого дела ни до чего им нет. Или они, как утки-поганки, которые прячутся в камышах, когда на море обрушивается черная буря — караул? Крупных, сильных птиц хлещет буря и калечит град в открытом море, а поганки в это время спокойно ждут в камышах тихой погоды...

Еламан встряхнул головой, глянул — перед ним был промысел. В огромном, как сарай, лабазе, одинаково прохладном и темном зимой и летом, белели платки и жаулыки русских и казашек. Слышались влажное шлепанье и шуршанье, скрип соли под ногами, журчанье воды — женщины разделявали рыбу. При виде мужчины все они замолчали и стали разглядывать его. Кенжекей, каким-то чутьем догадавшись, что Еламан пришел к ней, вытерла о фартук мокрые, скользкие руки и медленно поднялась с места.

Вся кровь вдруг бросилась Еламану в лицо, и он нахмурился. «Вот черт! Краснею по каждому поводу!» — досадливо подумал он.

— Ты ко мне? — робко спросила Кенжекей.

— К тебе...

— Давай выйдем.



## XII

Еламан сидел дома один и ждал жену, ушедшую в гости с маленьким Ашимом за спиной, с прялкой юлой и мотком шерсти в кармане. Прошло уже несколько дней, как он был женат и жил с Кенжекей под одной крышей. Сначала он не хотел жить с новой женой в той землянке, куда он когда-то ввел Акбалу. Но после настойчивой мольбы Кенжекей он дня два занимался ремонтом заброшенной землянки, прежде чем перебраться в нее. Он старался не оставить ни одного следа, который мог бы напомнить ему о прошлой жизни. Он заменил раму и навесил новую дверь. Развалил старую печь, разделявшую дом на две половины, и выкинул все кирпичи. Потом обмазал белой глиной и выбелил стены.

Ему помогали чуть не все рыбаки аула. Особенно довольны были старики — им было приятно думать, что жизнь в потухшем было очаге Еламана снова затеплилась. Когда землянка обновилась, к Еламану приехали гости из трех аулов и после обеда торжественно ввели Еламана и Кенжекей в новый дом.

Калау не отдал Кенжекей постели и вообще ничего не отдал. Днем, пока в землянке было полно гостей, молодым было не до того, но вечером, когда гости разошлись, оставив их наедине, они увидели вдруг, что дом их пуст. Не на чем было положить даже детей. Еламан смущенно поглядывал на растерявшуюся Кенжекей и не знал, что делать. Но тут за дверью послышались веселые голоса, и в землянку гурьбой ввалились джигиты из рода Тлеу-Кабак во главе с Али. Они принесли с собой алаши и текеметы и с шутками начали стелить их на пол и развешивать по стенам. Унылый до этого дом мгновенно ожил и стал уютным.

После ухода гостей в доме повисла неловкая тишина. Трое малышей Тулеу забились в угол. Старший, рыжеватый мальчишка с рябинками по лицу, смотрел на Еламана с явной враждой. Он видел, что этот большой дядька стесняется его, по дому ходит неуверенно, отводит взгляд. Мальчишке было это приятно, и он нарочно хмурился. Но он растерялся и расстроился всерьез, когда увидел, что мать постелила себе с дядькой постель отдельно. К его ужасу дядька при горящем еще



святильнике, белея нижней рубахой и подштанниками, полез в постель к матери.

Не легче было и Кенжекей в первую ночь. Когда нужно было стелить детям, с которыми она раньше спала вместе, она не знала, куда деваться от стыда. Накрывая детей одеялом, она старалась не глядеть на старшего сына. На мужа, раздевавшегося возле супружеской постели, она и вовсе не смотрела. Погасив стоявший у порога подслеповатый светильник, она вышла во двор и долго не возвращалась.

Еламан тоже мучился и лежал в темной комнате с открытыми глазами. Женившись сгоряча, он теперь тревожно думал, что дети от трех матерей, наверное, не будут ладить. И трое старших будут обижать младшего, его Ашима. Особенно опасался он рыжего мальчишки. Он даже поднял голову и посмотрел в тот угол, где под одним одеялом лежали дети. Ни один из малышей не шелохнулся с того момента, когда уложила их мать, но Еламан уверен был, что рыжий мальчишка с немигающими зелеными глазами не спал, а затаил дух и слушал. Видно, и Кенжекей знала, что мальчишка не спит, и потому не решалась войти в дом.

Раздумывая о своей теперешней судьбе, Еламан вспомнил строчку из песни какого-то старого акына: «Дело сделал, будь что будет, пусть аллах благословит!» Он несколько раз, усмехаясь, повторил про себя эти слова и сам не заметил, как вдруг одолел его сон.

Проснулся он перед рассветом. Лишь под утро взошедшая луна лила тусклый свет в единственное окошко под потолком, и окошко будто купалось в молоке. От лунного света в землянке стояли сумерки и видны были смутные очертания предметов. У двери вверх голенищами торчали солдатские сапоги. В конце постели, в ногах, темнел, взгромоздившись на саманную кладку, большой ушастый казан. Малыши спали сладким здоровым сном, разметавшись под одеялом. Даже рыжий мальчишка давно спал, высунув из-под одеяла голенастые ноги, и перхал во сне, как молодой барашек.

Едва открыв глаза, Еламан пошарил рядом с собой — Кенжекей не было. «Неужели так и не ложилась?» — подумал он. Но смятая подушка источала волнуемый запах только что вставшей молодой женщины. Куда же она делась в такую рань? Еламан прислушался к шорохам за дверью. Снаружи доносились привычные звуки рано проснувшегося рыбацкого аула — сипло ругались спросонок бабы, гремели посудой, что-то кричали друг другу рыбаки...

Кенжекей пришла, когда уже проснулись дети. Она вскипятила на улице чай. Закопченный чайник в ее руках дышал паром.

— А ну, малыши, вставайте! А то мне скоро на работу.

Но, говоря это, она весело смотрела на Еламана. Он тут же понял, что, говоря с детьми, она обращается и к нему, и быстро оделся.

— Малыши готовы! — улыбаясь, сказал он. — Есть ли какая работенка малышам?

Скоро Еламан убедился, что Кенжекей относится ко всем детям одинаково. Добрая по природе, она даже больше возилась с сынишкой соперницы, потому что тот был сирота, а в маленьком Ашиме она и вовсе души не чаяла. «Хорошо. Главное, чтобы детишкам было хорошо. Все остальное... Ну раз уж детям хорошо... Да что там говорить! Так ладно все получилось. Правильно сделал, что женился!» — засыпая, думал каждый вечер Еламан. Джигитов своих он распустил по домам, чтобы они простились и приготовились к предстоящей разлуке с семьями.

Днем Кенжекей работала. Уходила она спозаранку и возвращалась поздно. Пока ее не было, Еламан убирал в доме, вытряхивал половики и постели, готовил обед и ужин, топил печку. За несколько дней рядом с землянкой выросла целая гора топки. Все дети были чисты и в крепкой одежде. «Нет, правильно я все-таки сделал, что женился. Главное, чтобы детям было хорошо!» — как молитву благодарения повторял про себя Еламан.

Уж так принято было в этих краях, что народ к молодоженам валил со всех сторон. В рыбацьем же ауле Еламана особенно уважали, так что от гостей отбоя не было. Но чаще других Еламана проводывал Судр Ахмет. Чуть не каждое утро, едва продрав глаза, не одевшись как следует, он, хихикая, приходил к Еламану. И еще не переступив порога дома, начинал возносить до небес и самый дом, и обитателей его, и даже собаку, валяющуюся во дворе. Он болтал с пятого на десятое, перескакивая с одной новости на другую, то хмурился, то смеялся, и привычная аульная жизнь, аульные новости постепенно захватывали Еламана. Стоило Судр Ахмету где-то задержаться, как Еламан начинал уже скучать без него.

Вчера утром, когда Кенжекей ушла на работу, Еламан долго ждал Судр Ахмета и не вытерпел, вышел из землянки поглядеть и тотчас увидел Судырака верхом

на его длинном, несуразном вороном. Громко, чтобы слышал весь аул, прощался Судр Ахмет с женой и детьми, не скупясь перед дальней дорогой на распоряжения по хозяйству. Заметив стоявшего у своей землянки Еламана, Судр Ахмет наскоро простился со своими, ударил пятками вороного и, горделиво восседая в седле, подъехал к нему.

— Ты что, никак в дорогу собрался, Аха?

— Еще как собрался! Не время, понимаешь, сейчас вылеживаться...

— Ну раз так, счастливого пути! А далеко ли?

— Аминь! Да будет так, как ты сказал, Еламанжан. А далеко? Сам знаешь, баба да детишки — сплошные убытки для мужика. Прямо беда! Вот когда нагрянут холода и голопузые детишки, как птенцы в гнезде, начнут разевать рты, ой, Еламанжан-ау, почтенный мужчина, кормилец-поилец, готов сквозь землю провалиться. Не-ет, хочешь жрать зимой, позаботься об этом еще с осени. Вот и отправляюсь я в путь, раздобыть бабе да детям пропитание...

Глядя вслед удалявшемуся на своем вороном, озабоченному Судр Ахмету с разными мешками и узелками, привязанными к седлу, Еламан невольно улыбнулся. «Ну что тут скажешь, — думал он, — у этого бедняги всегда благие намерения. Одно плохо — не тем концом они оборачиваются».

На другой день в условленный срок из многих окрестных аулов начали съезжаться джигиты по пять, по десять человек сразу. Еламан распределял их по домам знакомых рыбаков.

А сегодня после работы Кенжекей отправилась в гости к соседке. Уже вечерело, а Кенжекей все не было. Малыши играли на улице, и рыжий мальчишка, как всегда, командовал несмысленными братишками.

Сидя в одиночестве, Еламан вдруг посмотрел на супружескую постель и улыбнулся, вспомнив, как уснул на ней один в первую ночь женитьбы. Кенжекей так и не осмелилась лечь с ним, когда старший ее сын еще не спал. Нет, женщины все-таки стыдливее мужчин!

Вспомнил Еламан и ту далекую уже ночь, когда Акбала в этом же углу стелила их первую брачную по-

стель. А вспомнив, он даже руку к груди приложил, чтобы унять сердцебиение. Оставшись наедине с юной красавицей, Еламан боялся взглянуть на нее хоть краем глаза, но замечал каждое ее движение. На вдвое сложенной кошме Акбала постелила сначала толстое корпе. Потом принялась за изголовье — под большую пуховую подушку положила старую одежду Еламана. Из тюка, торчмя стоявшего возле стенки, она вытащила красное сатиновое одеяло и, все так же неслышно двигаясь, расстелила его в ногах постели. Еламану казалось, что он упадет, если пошевелится. Во рту у него было сухо. Если бы Акбала спросила его тогда о чем-нибудь, он не смог бы ответить.

По-прежнему не глядя на мужа, Акбала накинула на голову чапан и, мягко ступая сафьяновыми сапожками, вышла из землянки. Она не возвращалась целую вечность, и Еламану стало не по себе. Он подошел к двери, но выйти не посмел, а только думал с мольбой: «Господи, куда она делась, почему ее все нет?»

Услышав шорох за дверью, он отскочил. Дверь, на которую он глядел со страхом и радостью, отворилась, и вошла Акбала. Она побледнела, тонкий носик ее заострился, весь вид ее выражал покорность судьбе. Волоча по полу подол свисавшего с плеч чапана, она добрела до постели и сбросила его. Потом, отвернувшись, стала медленно стягивать с себя одну за другой все одежды. Раздевшись, она дунула на светильник и легла, оставив Еламану место у стенки...

— Ай, Акбала-ай! — застонал Еламан, и дом теперешний показался ему сразу пустым и убогим.

— А вот и мы! Задержались, да?

У порога стояла Кенжекей с сонным Ашимом на руках.

— Соседка не пускала... Чаем нас угощала, а потом Ашимжан уснул.

— Что ж, хорошо погостили, значит.

— Чай приготовить?

— Не надо.

— Что это ты кислый?

— Так...

И Кенжекей ни о чем больше не спросила мужа.

Она только удивилась, что он отводил глаза и смущался.

Посидев немного, поглядев, как хозяйничает Кенжекей, Еламан вышел вон. Он никогда не думал, что Акбала будет так мучить его. Он и раньше понимал, что ничуть не охладел к той, с кем так не задалась его жизнь. Но он никогда не предполагал, что его бывшая жена, как змея, навечно свила гнездо в его сердце. Змею можно раскромсать на сорок частей, а все равно куски ее будут шевелиться. Точно так же и в его груди шевелилось и болело какое-то, как ему казалось, пестро-полосатое существо.

«Нет, надо все забыть», — думал Еламан. Если он намерен создать новую семью, он должен забыть прошлое. Но забыть ему было не дано. Что-нибудь совсем даже незначительное вдруг выводило его из себя, и опять все начиналось сначала, и решительно все на его родине — небо, земля, море, каждая тропинка — неотвязчиво напоминало ему Акбалу. Даже когда он стоял перед своей землянкой и смотрел на горбящийся вдали Бел-Аран, перед его взглядом вдруг возникала далекая теперь Акбала.

Жить в своем доме стало для него мукой. Он думал, что убрать, выкинуть все, что могло напомнить Акбалу, не оставив ни единого ее следа, значит, найти успокоение. Но неслышная ее тень преследовала его неотступно. Вот тут была их постель! Вон там стояла печка, разделявшая комнату пополам. Вместо теперешней новой двери была другая — выцветшая под солнцем и дождями, старая, разохшаяся. Она громко скрипела каждый раз, когда кто-нибудь входил или выходил, и они с Акбалой прозвали свою дверь «плаксой». И впервые в жизни вошла Акбала в дом через ту дверь! Как радовались, как шумели и пели рыбаки, собравшиеся взглянуть на невесту Еламана. А радовались они потому, что невеста Еламана была красива. Ни на кого не глядя, вошла она в ту низенькую дверь, и Еламан даже испугался, что невеста его ударится головой о косяк. Скрип этой двери сопровождал потом всю их недолгую совместную жизнь. Часто скрип этот раздражал Еламана, и он думал тогда: «Ну погоди, я тебя, плаксу, мигом вышвырну — пусть только потеплеет!» А теперь он вспоминал о той двери с умилением.



«Что было, то прошло, надо все забыть», — говорил себе Еламан. Но легко сказать — забыть! В глубине души он знал, что ничего не забудет. Мало того, еще победы было бы, если бы он вспоминал о ней наедине, но она приходила к нему теперь уже и тогда, когда он говорил с новой женой и детьми, и тогда даже, когда он лежал ночью рядом с Кенжекей. И у него было такое чувство, будто он с грязными ногами забрался в чистую постель.

Сначала Кенжекей тревожили подавленность и отрешенность мужа, и она вдруг спрашивала его, не заболел ли он. Потом она стала думать, что он потому так печален, что женился на ней, что она ему плохая жена. «Может быть, я что-нибудь не так делаю? Делаю то, что он не любит?» — размышляла она. Но потом притерпелась, привыкла и перестала замечать вечно сдвинутые брови Еламана.

### ХІІІ

В Челкар Еламан с сотней джигитов, собранных по всем аулам побережья, вернулся только через месяц. Под каждым джигитом был хороший конь. За то время, пока они были вместе, джигиты успели познакомиться и подружиться — приятельские разговоры, шутки и смех не смолкали в отряде. Но, въехав в город, джигиты оробели и замолчали.

Когда они подъезжали к магазину Темирке с ярко-зеленой крышей, наперерез им протопал вооруженный отряд человек в двести. Отряд спешил к железнодорожной станции. Бойцы шли так быстро, что сбивались с ноги и не держали строя. «Так это же Мюльгаузен!» — узнал вдруг Еламан знакомую плотную фигуру. Мюльгаузен то и дело оборачивался к отряду и покрывал:

— Быстрее! Быстрее!..

Еламан со своими джигитами остановился возле штаба и только вошел во двор, как навстречу ему, надевая на ходу шинель, сбежал с крыльца Дьяков.

— Еламан! Дружище! Ну как дела? Как съездил?

— Задержался вот...

— Ничего! Главное, с чем приехал?

— Около сотни...

— Ну молодец! Спасибо! А у нас, брат, такая запарка идет... Слыхал, может, что чехи выкинули?

— Кто? Чехи?.. Не понимаю..

— Так ты еще ничего не знаешь? Ну ладно, потом расскажу.

— Товарищ комиссар...

— Потом, потом поговорим, сейчас не могу,— и Дьяков, застегивая на ходу шинель, побежал к воротам.

Долго стоял Еламан, пытаясь сообразить, что значили слова комиссара. Что это еще за чехи? И что они выкинули?

Джигиты терпеливо ждали за воротами. До сумерек оставалось не так далеко, а надо было напоить и накормить коней и разместить усталых всадников. Еламан пошел в штаб. Едва поднялся он на второй этаж, как ему встретился писарь. Еламан обрадовался, увидев знакомого, и приступил к нему с расспросами. Поминутно оглядываясь почему-то, писарь, как умел, стал объяснять ситуацию.

Оказалось, что чехословацкий корпус, следовавший по Сибирской железной дороге во Владивосток, чтобы оттуда перебраться на родину, поднял по пути мятеж. Чехи один за другим захватывали сибирские города, повсюду свергая Советскую власть. Для революции возникла новая опасность — самый большой фронт открылся в Сибири.

Туркестанская армия была реорганизована. Пополнившиеся рабочие отряды были превращены в регулярные воинские части — полки и батальоны. Отряд челкарских железнодорожников преобразовали в Коммунистический полк. Мюльгаузен стал командиром спешно созданного нового отряда — более двухсот человек. Отряд этот только что ушел на станцию, чтобы выехать на фронт. Он также узнал, что Дьяков проводит там митинг перед отправкой бойцов на фронт.

Еламан вскочил на коня и поскакал на станцию. Но он опоздал. Поезд с добровольцами уже ушел, а Дьяков с Селивановым отправились в депо. Привязав коня к тополю возле станции, Еламан поспешил в депо, на ходу поглядывая в сторону столовой. Но Акбалы не

было видно, вместо нее возле кухни хлопотала дородная женщина — издали было не узнать, кто это. «Наверно, Сары-апа?» — подумал Еламан.

По всеобщей мобилизации в армию ушли почти все рабочие. Теперь в депо работали женщины и подростки. Окружив Дьякова и Селиванова, женщины-солдатки кричали, что больше так жить не могут. Зима была на носу, вот-вот начнутся морозы, а топлива нет, продовольствия нет, на работе выматываются с утра до вечера, а дома некому смотреть за малыми детьми...

Селиванов вскочил на какой-то ящик, резко откинул назад свои длинные волосы, и глаза его восторженно заблестели, как у мальчика, приготовившегося продеklamировать свой первый стишок.

— Дорогие женщины! Республика в опасности! Трудности, которые мы все переживаем, во время революции неизбежны... Без жертв революций не бывает. Надо нам всем быть стойкими и терпеливыми...

По своему обыкновению он начал взмахивать рукой, и из рукава поминутно выглядывало тонкое запястье. Дьяков незаметно толкнул Селиванова и тихонько попросил:

— Зачем ты об этом? Не надо.

— Да, но надо же им объяснить...

— Они не меньше нашего все понимают.

— Но, Петр Яковлевич... А вы что предлагаете?

— Наша задача сейчас оказать женщинам хоть какую-то помощь. Хотя бы топливо...

— Где мы его возьмем?

С тех пор как белоказаки взорвали шахту Берчогур, в городе не стало угля. Незначительные запасы угля, поставив охрану, взяли под свой контроль военные. Уголь отпускался только для паровозов и в котельную депо. Дьяков прекрасно знал об этом, но все-таки вполголоса предложил поделиться углем с женщинами-работницами. Селиванов нахмурился. Наступила неловкая пауза. Дьяков заметил вдруг в толпе Еламана и протолкался к нему.

— Ко мне?

— Я насчет джигитов...

Дьяков начиркал что-то на клочке бумаги. Еламан не умел читать, но ему не понравилось, что Дьяков так небрежно накорябал что-то, да и слов на бумажке было подозрительно мало. Решив, что к нему и к его джигитам плохо относятся, он обиделся на комиссара и нехотя взял бумажку.

После напряженного раздумья Дьяков все-таки решил на свою ответственность выдать женщинам уголь. Как ни драгоценно было топливо в эти дни, одна женщина неожиданно отказалась от угля. На удивленный взгляд Дьякова она поторопилась ответить, что ее семья уже несколько лет дружит с одним казаком из ближнего аула. После гибели ее мужа на войне казах каждую зиму стал возить ей дрова. Женщина даже похвалилась, что саксаул и тузген прекрасно горят.

«Интересно! Может, в этом и есть выход из положения? — подумал тут же Дьяков, вспомнив, что не раз видел на улицах казахов с верблюдами, груженными топливом.— Да, да... Обязательно нужно поговорить с Еламаном. Пошлем в окрестные аулы людей... Надо обеспечить дровами хотя бы те семьи, в которых есть дети и больные, а также семьи бойцов. А что, взаимопомощь должна сближать русских и казахов!»

Дьяков с трудом досидел до конца собрания. Он бы и ушел, но видел, как измучены женщины в замасленных телогрейках. И теперь они радовались, что хоть могут рассказать о своих бедах и встретить в ответ сочувствующий взгляд, услышать слова утешения и надежды.

«Хоть бы не упасть!» — испуганно подумал Дьяков, выходя на воздух и незаметно для других держась за локоть Селиванова.

Было уже поздно, темнота давно окутала город. Реденькие, жидкие тучи к ночи сбились в плотные облака, заволокли все небо, и ни единой звезды не мерцало над головой.

— Ты на меня не обиделся? — отдышавшись, спросил Дьяков.

— За что?

— Сам знаешь... Не послушал тебя, дал работникам уголь.

— Да нет, знаете. Вот с Мюльгаузенем у нас бывали схватки так схватки!

— Да, этот рубит сплеча. Может, это и хорошо... Но я не умею так, как он, все боюсь обидеть кого-нибудь напрасно. И потому, кажется, становлюсь каким-то мнительным. Однако будь здоров... Пошел в полк.

— Нет, я вас не отпущу. Знаете, зайдемте-ка ко мне!

— Ты что, серьезно приглашаешь?

— Конечно! Чаем вас напою, поесть что-нибудь найдется...

— Ну раз так, тогда пошли!— обрадовался Дьяков. Сон, наваливавшийся уже на него, вдруг прошел. Дьяков взял Селиванова под руку.

— А я, брат, откровенно признаться, целую вечность в гостях не был. Больше десяти лет. Э, да что там! Я ведь, можно сказать, и не знал никогда, что такое домашний уют!

Дьяков улыбнулся в темноте, и голос его дрогнул от радости. А Селиванов смутился и начал припоминать, что было из съестного у него дома, чем бы угостить Дьякова. Было, правда, немного муки. Стряпней дома он не занимался, вот и осталась мука с давних пор. Еще где-то в кулечке была соль... Кажется, есть еще половина селедки. Гм!..

В нетопленной, промозглой комнате было могильно темно. Шаря перед собой руками, Селиванов вошел первым. Ища спички, он зацепил ногой ведро, отпрянул назад и налетел на скамейку. Дьяков весело захохотал.

— Ну и ну! Вот это называется пригласил в гости!

Рассмеялся и Селиванов. Как слепой, он стал двигаться по комнате мелкими шагами, боясь свалить еще что-нибудь. Нашарив наконец спички, он зажег лампу.

Дьяков огляделся и присел на скамейку.

— Вы, Петр Яковлевич, особенно не рассаживайтесь. В этом доме, знаете ли, нужно сначала руками пошевелить, а потом уже...

— Догадываюсь! — засмеялся Дьяков.

— Так вот, вы затопите печку, а я займусь уборкой.

Посмеиваясь, подшучивая друг над другом, они убрали комнату, затопили печку и вскипятили чай. Закусив кое-как и напившись горячего чая, Дьяков почувство-

вал, как опять у него отяжелели веки. Ничего ему не хотелось, только бы уснуть, хоть и за столом... Вспомнился вдруг Еламан со своими джигитами — устроились ли как должно? Он не заметил, как придвинул стул и сел рядом Селиванов. Не почувствовал он и долгого сожалеющего взгляда хозяина. Худое тело его согнулось на стуле. Он сидел забывшись, склонив голову на грудь, хоть краем сознания и знал, что пора ему возвращаться в полк.

— Петр Яковлевич, ложитесь-ка в постель, — тронул его за плечо Селиванов.

— Нет, нет... — встрепнулся Дьяков. — Спасибо. Сейчас пойду.

— Поздно уже, куда вам идти?

— Ничего... — прикрывая ладонью рот, Дьяков длинно зевнул и встряхнул отяжелевшей головой. В глаза ему будто песок попал, свет лампы слепил, и Дьяков прикрылся рукой.

— Петр Яковлевич...

— Да?

— Наверное, досталось вам в жизни, а?

— Гм... Нет ли у тебя курить?

— Вам же нельзя?

— Хотя да... конечно. Который час?

— Начало второго.

— Пойду.

— Проводить вас?

— Что ты, что ты... Зачем? — Дьяков отвернулся и опять зевнул. Потом пошарил воспаленными глазами по комнате. — А где моя...

— Шинель?

— Куда я ее сунул?

— Да вот у меня в руках, одевайтесь.

Дьяков надел шинель, затянул ремень, поправил тяжелую кобуру. Вспомнив вопрос Селиванова, досталось ли ему в жизни, он вдруг усмехнулся и сказал нараспев:

— Знаешь, «...ему судьба готовила век краткий, имя славное, чахотку и Сибирь...». Вот так-то, брат. Ну пока!

И, крепко пожав теплую, мягкую руку Селиванова, Дьяков вышел в ночную тьму.

## XIV

Созвав командиров рот и батальонов, Дьяков приказал готовить бойцов к походу. Командиры молча переглянулись. Никто не спросил, куда они отправляются. С фронта шли одни тревожные известия, и все понимали, что положение ухудшается с каждым днем.

После упразднения Директории верховным правителем был назначен адмирал Колчак. Пользуясь поддержкой союзников, Колчак установил свою власть по всей Сибири и на Дальнем Востоке. Но если бы один Колчак! В этот тяжелейший для Советской власти час оживились повсюду самые разнообразные атаманы и националисты.

Сегодня утром Коммунистический полк получил секретную депешу из штаба Туркестанской армии о том, что кулаки закупили все зерно в долине Жем (более двух миллионов пудов!) и обрекли тем самым местное население и армию на голод. Если у кулаков срочно не отобрать зерно, народ и Туркестанская армия окажутся в безвыходном положении.

Дьякову было ясно, что кулаки скупили хлеб не по собственной инициативе, а по приказу атамана Дутова. После свержения царя и Временного правительства в смутное время нашлось немало желающих примерить на себя шапку Мономаха. Кто только не надеялся на слепую удачу, не мечтал стать за какую-нибудь ночь Юлием Цезарем! Редко в ком не сидит честолюбец. Наверное, даже ювелир, ковавший в свое время царскую корону, тайком примерял ее на себя.

Дьякову казалось, что свергнутый трон похож был на тонущий корабль. И как на тонущем корабле, забегали и заметались люди, цепляясь за уходящую из-под ног жизнь. Когда грянул час возмездия, вчерашние вершители судеб, благородные господа, генералы без армий, офицеры без солдат, покатились, бросая все на свете, на юг, на запад и на восток — в Оренбург. Былое могущество, былая власть развеялись как дым. И люди, еще вчера столь влиятельные и властные, что могли покровительствовать десяткам таких атаманов, как Дутов, сегодня сами искали спасения под полами его широкого казачьего чапана.



Дутов был теперь в силе, судьба вознесла его высоко. Офицеры составляли костяк его войска, юнкера и кадеты были ему опорой. Основной же силой его были казаки Оренбурга, Уральска, Троицка. Многие казачьи полки после свержения царя сошлись к Оренбургу.

В этих краях казаки основались еще в 1755 году. Со времен генерал-губернатора Неплюева с помощью копья и шашки казачьи части покоряли местные кочевые народы. И полтора столетия грозные шашки их сверкали над головами рабочих Оренбурга, Уральска, Орска. Верой и правдой служили они царю, и не было случая чтобы не кинулись они как цепные псы на непокорных.

Среди всевозможных генералов, таких, например, как Корнилов или Деникин, и каких-нибудь заурядных командиров дивизий Дутов был, несомненно, самым жестоким и осторожным. По сравнению с теми, кто выступал с надеждой восстановить монархию, а то и самому возглавить Россию, оренбургский атаман имел одно явное преимущество — он никогда не замахивался так широко и не корчил из себя всероссийского заступника и благодетеля. Он не именовал себя ни верховным правителем, ни премьер-министром, не называл подвластную ему территорию ни кумучем, ни республикой. Конечно, скромн он был не потому, что был лишен тщеславия или привык довольствоваться малым, а, скорее, потому, что хорошо усвоил правило — по одежке протягивать ножки.

Он никогда не ввязывался в решительный бой, а действовал всегда наскоком — убивал, грабил, поджигал и тут же уводил свои отряды. Теперь он придумал еще лишить целый край хлеба и уговорил кулаков скупить весь урожай.

Едва получив депешу, Коммунистический полк спешно отправился в долину реки Жем. Прибыв на место, Дьяков разделил полк на несколько мелких отрядов и разослал их по всей округе. Беднейшее население активно поддерживало красные отряды, указывая укромные места, где был запрятан хлеб.

Уже через два дня в штаб Туркестанской армии было отправлено под усиленной охраной десять вагонов

зерна. Слух о решительных действиях Коммунистического полка быстро дошел до казаков, и Дутов тотчас бросил большие силы к Жему. Узнав об этом, Дьяков решил все-таки доложить обстановку в штаб дивизии и просить помощи. Хан-Дауров обещал прислать на помощь отряд Жасанжана. С Жасанжаном Дьяков познакомиться еще не успел, но он вспомнил, как ненавидел его Мюльгаузен, называя не иначе как волчьим отродьем. «Ладно, приедет, познакомлюсь», — решил он.

Он намеревался поспать хотя бы до прибытия Ташкентского отряда. И поднялся было на ступеньку вагона, в котором располагался штаб полка, но почувствовал вдруг такую слабость, что едва удержался за поручень. Приступы такой слабости бывали с ним в Сибири, когда он не мог добраться иной раз до барака и вынужден был присаживаться на полдороге. Голова его так кружилась, что он думал с напряжением об одном только — как бы не упасть. На лбу у него выступил холодный пот. Но через минуту он овладел собой, сильно потер лицо, вздохнул несколько раз и вошел в вагон.

Поздно вечером вернулись разведчики и доложили, что у белых кругом скоплены большие силы. Кроме того, в аулах беспокойно — кулаки, у которых отобрали хлеб, видимо, тоже готовятся к выступлению. После короткого совещания в штабе решено было сосредоточить полк возле железной дороги.

Прибыл наконец отряд Жасанжана, но остановился на отшибе, словно не желая смешиваться с Коммунистическим полком. Дьяков тут же отправился знакомиться.

Дьяков знал, что Жасанжан, самый младший представитель байской семьи, получил русское образование, что старший брат его был волостным и в шестнадцатом году убит повстанцами. Другой его брат, молодой мурза, был самым богатым и влиятельным в большом роду. Годы два назад Жасанжан поссорился с братом и окончательно порвал с ним. По рассказам Еламана, Жасанжан сочувствовал беднякам еще с ученических лет...

Жасанжан распорядился подать чай.

— Я слышал, в вашем полку есть казахи? — тонко улыбаясь, поинтересовался он.

— Да, отдельная рота.

— Командир ее — мой земляк. Мы с ним из одного аула.

— Да, да, он рассказывал.

— А рассказывал он вам, как служил у нас табунщиком?

— Нет, об этом он не говорил.

Жасанжан недоверчиво взглянул на Дьякова. Бледное лицо его вспыхнуло на минуту ярким румянцем и опять побледнело. Казалось, он заволновался, встал из-за стола, прошелся по вагону. Дьякову сразу бросилась в глаза какая-то особенность в Жасанжане, его непохожесть на других казахов. На юношески тонкой, невысокой его фигуре щегольски сидел военный френч. Большие черные глаза, спокойно и пытливо смотревшие на собеседника, тонкий красивый нос на худощавом длинном лице, красивое золотое кольцо на безымянном пальце — весь вид светлокожего джигита-красавца выдавал в нем отпрыска породистой степной аристократии. Кроме того, Дьяков поразился его безупречному русскому языку.

— Вам, естественно, неведома жизнь казахского аула. А вот мне всегда приходится краснеть перед представителями цивилизованного мира... — сказал Жасанжан.

Дьяков не знал, что и думать. «Такой молодой, а нервный, впечатлительный. Это, наверное, последствия долгой, изнурительной болезни. С легкими что-нибудь», — решил наконец Дьяков. Он заговорил было о деле, предложил объединиться и действовать сообща, но Жасанжан отвечал уклончиво. Дьяков продолжал настаивать, доказывая необходимость совместных действий, но Жасанжан на все предложения отвечал неопределенно: «Посмотрим».

Расстался с ним Дьяков холодно. Жасанжан оставил в нем двойственное впечатление, и опять вспомнился ему Мюльгаузен с его ненавистью ко всему офицерскому и байскому. Одно только было утешением, что количество красных бойцов удвоилось. Вместе ли с Коммунистическим полком, отдельно ли, но Ташкентский отряд вступит в бой.

Давно стемнело. Уставшие бойцы спали с оружием в руках. Дьяков удвоил охрану.

Кроме часовых, никого возле вагонов не было. Жители затерявшегося в степи разъезда, поужинав еще засветло, притихли, притаились в ненадежных своих жилищах. Вагоны в темноте напоминали больших зверей. Как ни вглядывался Дьяков в ночную мглу, но эшелона с Ташкентским отрядом, остановившегося в отдалении, так и не смог различить. Он опять стал думать о Жасанжане и снова подивился про себя нервозности и впечатлительности молодого командира. Он даже пожалел его, хоть и не мог бы сказать, чем вызвана эта жалость. Поразил его и Еламан, который при встрече с Жасанжаном стал вдруг замкнут и сдержан, тогда как за глаза очень тепло отзывался о молодом джигите. Всего несколько сухих слов сказали они друг другу, словно не о чем было и поговорить землякам при встрече. Отчего бы это? Да, тонкая это вещь — человеческие отношения.

Дьякову удалось хорошо поспать. Зорко всматриваясь в темноту, он продолжал свой обход. Молодец все-таки Мюльгаузен, дисциплину в полку создать успел хорошую. Отряды знали свое место в эшелоне и располагались каждый по своим вагонам. Все давно спали, из каждого вагона доносился храп. Только в головном вагоне длинного состава слышались голоса тихо разговаривающих бойцов. Дьяков остановился, заглянул внутрь, ничего не увидел. Но по голосам он сразу догадался, что здесь казахи.

— Почему не спите?

— А-а, комиссар! Лезь к нам.

Казахи не курили, и потому Дьяков последнее время чаще всего ночевал у них. Джигиты подвинулись, и он, ощупью пробравшись между ними, сел возле Еламана.

— Что слышно о белых? — спросил Еламан.

— Подтягиваются. Но мы удвоили охрану. Так что джигиты твои пусть пока спят. А нам с тобой все равно не спать.

Дьяков помолчал, потом спросил:

— Послушай, Еламан... А кто эта молодая такая, красивая женщина у нас в железнодорожной столовой?

— А что? — подозрительно отозвался Еламан.

— Да ничего, так просто...

— Бывшая моя жена.

Дьякову стало неловко, а Еламан вдруг оживился, поворачиваясь к Дьякову.

— Был у меня земляк один такой... Судр Ахмет его звали. Пропал, бедняга, никаких следов.

— То есть как пропал, где?

— А он по аулам любил шлаться. Еще при мне отправился искать себе пропитание на зиму. Оседлал своего коня и подался к Челкару. На пятый день, говорят, конь его вернулся в аул под седлом, и узда на нем, и даже полосатый курджун к седлу приторочен!

— Ну это бывает. Просто, наверное, конь ушел.

— Нет, в живых его больше нет. Говорят, всем аулом искали, всю дорогу до Челкара проехали, все овраги и ложбины обшарили — не нашли! Надо же, какая судьба! Даже нормальной смертью не помер...

— Ну, брат, смерть, она и есть смерть. Нормальной смерти нет, как бы ни помирать, все равно плохо.

В вагоне было темно, людей не было видно, только храп доносился из углов. А в степи, должно быть, поднялся ветер. Дьяков настороженно прислушивался ко всем звукам снаружи. Как-то стало беспокойно на душе, он шевельнулся и тихо встал в темноте, чтобы опять пройти вдоль эшелона, но Еламан вдруг взял его за руку.

— Куда вы?

Дьяков почувствовал, как горит ладонь Еламана, и тут же вспомнил, что со вчерашнего дня был он как-то особенно хмур. Примерившись в темноте, он пощупал лоб Еламана.

— Ты что, захворал?

— Да что-то... все тело ломает. Простудился, что ли...

— Ты весь горячий, у тебя жар!

— Ничего, потерплю.

— А ты лежи. Ты поспи лучше, потеплее укройся и поспи.

Осторожно ступая между спящими бойцами, Дьяков выбрался из вагона. Поднял воротник шинели, поежился. Дул, посвистывал холодный ветер из степи. Внимательно оглядевшись и прислушавшись, Дьяков не увидел

и не услышал ни одной живой души. Он пошел вдоль состава. Никто ему не встречался, даже часовых не было видно. «Что это значит?» — встревожился Дьяков и прибавил шаг. Он весь похолодел. Разбудил одного бойца и тут же послал его к Жасанжану, боец быстро вернулся и доложил, что Ташкентского отряда нет на месте, их состав куда-то исчез.

Дьяков поднял всех командиров и для выяснения обстановки послал по нескольким направлениям разведку, еще раз приказал усилить охрану и быть готовыми к любым неожиданностям. Он еще отдавал последние распоряжения, как вдруг невдалеке ударили выстрелы.

— Кто стрелял? Может, разведчики? — раздались встревоженные голоса.

Началась ночная суматоха, все зашевелились, побежали в разные концы состава. Со всех сторон слышались окрики и приказы, защелкали винтовочные затворы, громко топотали кованные сапоги. Паровоз впереди, мирно сопевший до сих пор, вдруг ожил, жарко задышал горячим паром. Из темноты вынырнул боец.

— Где комиссар? — крикнул он, запыхавшись. — Белые! Скорей!

Он не договорил и упал. Дьяков кинулся к нему, зачем-то приподнял голову. Пальцы его коснулись теплого и липкого. Дьяков полез убитому за пазуху, чтобы взять документы, но и там было липко и горячо, и Дьяков выдернул и стал вытирать о шинель руку.

Опустив на землю тело бойца, стал оглядывать, думая, кого бы подозвать и что делать, как бы распорядиться получше. Услышав, что несколько человек бежит по насыпи в его сторону, он вгляделся в темноту. Он понимал, зачем люди спешат к нему, — им нужна была команда, приказ. И все тот же вопрос бился в нем: что делать? Что делать? Он вспомнил Сибирь. Позднее его туда же был выслан Фрунзе. Вскоре Фрунзе создал из политических ссыльных кружок, в котором изучали военное искусство. Ссыльные между собой называли этот кружок «подпольной военной академией Фрунзе».

Подбежало четверо. Среди них Дьяков сразу выделил Ознобина.

- Комиссар, что будем делать?
- А вы что предлагаете?
- Нужно уходить. У них перевес в силе!
- Да,— согласился комиссар.— Будем уходить.

Тотчас кто-то из четверых побежал к паровозу. Остальные вскочили на подножки вагонов. Эшелон медленно, с натугой тронулся. И в ту же минуту со всех сторон залаяли винтовки, пули с треском отдирали щепу от вагонов. С багровыми вспышками рвались гранаты. За последними вагонами скакали казаки, из вагонов отстреливались.

Поезд набирал скорость. Но еще долго по обе стороны железнодорожного полотна мчались за составом казаки, крича и беспорядочно стреляя вдогонку из винтовок.



## ● ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Уже светало, когда проснулся Танирберген. Богато убранная просторная комната была еще погружена в бледные, зыбкие сумерки утра, но уже смутно проступали очертания одежд на адал-бакане и орнаментальные узоры на кошмах и паласах, расстеленных от самых дверей до красного угла. В правом углу до самого потолка были уложены ковры и атласные одеяла, а рядом на полу лежало синелукое седло, отделанное серебром. Танирберген вяло повел глазами по привычному убранству комнаты и только при виде седла подумал: «А ведь целый век не сидел на коне!» — и удивился, как мог он всю зиму проваляться дома.

Никогда еще не изнуряли его так бесконечные горькие мысли. С тех пор как прошлой осенью в прибрежные аулы приехал Еламан собирать джигитов для Красной Армии, мурза лишился покоя. Господи, как досадовал он потом на себя, что с такой не присущей ему покорностью отдал то, что захотел взять у него вчерашний его табунщик! Тот самый табунщик, который, бывало, зимой и летом пас байских коней и не смел даже требовать плату! А теперь, живя рядом, в рыбацьем ауле, не сам даже, а через гонца требует дать коней новобранцам! Правда, сегодня они еще просят, чтобы

ты дал сам, как бы по своей воле, а завтра уже без спросу ворвутся в твои кошары и угонят столько скота, сколько им захочется. И что ты им сделаешь? Какому бию, какому правителю пожалуешься?

Вскоре после отъезда Еламана, не вытерпев, Танирберген отправился в Челкар, чтобы разузнать последние новости. Раньше перед ним широко распахивались двери богатых домов, будь то дом судьи или дом уездного начальника. Теперь же ни в один из этих домов он не посмел зайти. В просторных комнатах знакомых ему домов сидели теперь враждебные, чуждые ему люди в кожанках, увешанные оружием. Заехал он было к Темирке, чтобы хоть у него что-то разузнать и отвести душу, но у татарского купца от тревог запали щеки, а маленькие глазки совсем спрятались, как мыши в норку. Едва увидев Танирбергена, Темирке сразу сморщился, будто хватил кислого, и, не давая мурз рта раскрыть, замахал руками, заскулил:

— И-и-и, алла... Не спрашивай, ни о чем не спрашивай. Дурные настали времена, ой дурные, дурные! Последние дни доживаем...

Подавленным вернулся тогда в аул молодой мурза. С тех пор его и охватило уныние. Все ему стало безразлично и никого не хотелось видеть. Когда к нему заглядывал кто-нибудь из близких, он и тогда сидел, опустив глаза, поживаясь, будто прохватывало его холодным ветром. А обычных многочисленных гостей, как всегда, осаждавших байский аул, он совсем не принимал. Двери его дома открывались только для редких, особенно почетных гостей. Всех остальных он отпирывал к брату — софы, а сам коротал дни с байбише. Холерное лицо его было по-прежнему непроницаемо, но тревога в душе усиливалась, как неизлечимая болезнь.

Вспомнив всю эту зиму, проведенную у очага рядом с бабами и детьми, вспомнив все сильнее одолевавшую его мелочность и раздражительность, Танирберген вздохнул и заворочался на постели.

— Мурза, ты не спишь? — шепнула байбише.

Танирберген промолчал. Смуглая его байбише полежала еще, потом протянула руку и стала гладить ему плечо.

— Ну-ка повернись... — опять шепнула она и часто задышала.

Танирберген почувствовал нетерпеливую дрожь горячей руки, поморщился и высвободился резким движением. «Вот сука ненасытная... Вечно ей мало!» — с отвращением подумал он.

Байбише обиженно замерла. Осторожно скрипнула дверь, вошла служанка, на цыпочках подошла к кровати и взяла стоявшие у изголовья сапоги мурзы. Протерев и почистив их в прихожей, она поставила сапоги на прежнее место и, отступая задом, так же тихо вышла.

Танирберген хмыкнул, повернулся было лицом к очагу, но увидел лежавшую рядом обиженную байбише, отпихнул со злостью стеганое шелковое одеяло и встал. Потянувшись, он выглянул в окно. Солнце еще не взошло, и небо было в тучах, пасмурное. Мурза натянул до блеска начищенные сапоги, накинул на плечи чапан и вышел. После теплой постели ему стало зябко от утренней свежести, и он запахнул чапан. Скотина байского аула тянулась на пастбище. В некоторых домах еще не проснулись, окна были задернуты занавесками. Во дворе было безлюдно, только служанки носили в дом дрова и воду, выносили золу и хлопотали по хозяйству. «Неужели весь народ с ума свихнулся? — подумал мурза. — Ну хорошо, допустим, все добьются свободы и равенства. Холуи станут ханами, а бабы их ханшами... Интересно, кто тогда будет топить печь, выносить золу, чистить сапоги, пасти скотину? Я, что ли? Или моя байбише?» Мурза опять злобно хмыкнул, в глазах его загорелась ярость. Презрительно огляделся он вокруг.

Аул его расположился на холме с тихой, подветренной стороны богатых разнотравьем барханов Ак-баура. Перед самым аулом возвышался бурый увал. Поднимавшееся из-за горизонта солнце прежде всего осветило вершину увала, подернутого первой весенней травкой. На северном склоне увала еще белел снег.

Скотина вся ушла на выпас, а в ауле снова воцарилась тишина. Мурза прошел мимо нового дома, построенного его братом, софы, для своей молодой токал. Дверь была закрыта, окна занавешены. Громадные пестрые псы-аламойнаки лежали у двери. Они проводили мурзу кровавыми, лютыми глазами, но не зарычали. Рыжая верблюдица утробно постанывала в углу просторного хлева, тоскуя по своему верблюжонку. Не-

окрепшего верблюжонка только днем оставляли с матерью, а на ночь верблюжатник брал его к себе в дом.

Танирберген взошел на увал, освещенный солнцем, и увидел, как с другой стороны к увалу подъезжали два всадника. В ауле никого не ждали. «Кто бы это мог быть?» — подумал мурза, разглядывая верховых, в такую рань пустившихся в путь. «О бог ты мой!» — чуть не сказал он вслух от досады, узнав писаря покойного его брата, волостного, по прозвищу Коротышка. Коротышка глядел, глядел и тоже узнал мурзу. Он тут же спешился, отряхнул и подтянул штаны. Соскочил с коня и его товарищ. Ведя коней в поводу, они начали пешком подниматься по склону увала. Подчеркнутая учтивость джигитов пришлась мурзе по нраву, и он встретил путников благосклонно. А те, перебивая друг друга, уже здоровались хором и протягивали к мурзе руки.

— Счастливый ли был путь, джигиты?

— Аминь, Танир-ага! По важному делу едем. Всю ночь с коней не слезали.

— Какое же такое у вас важное дело, если не секрет? Добрые ли новости?

— Добрые, Танир-ага, добрые. Бог смилостивился. Наступил и наш день.

— Гм... Наступил?

— Наступил, Танир-ага, наступил!

— Вот это новость! А я уж, признаться, думал, что наш день совсем закатился...

— Бог с тобой, Танир-ага. Радуйся — в Актюбинск вступила белая армия!

— Это какие же такие белые? Не атаман ли Дутов? Так ведь он как трусливый пес, лающий из-за угла. Он как вступил, так и выступит...

— Нет, нет! Это совсем другое, это армия самого адмирала Колчака. Ужас, сколько их. Теперь вся Сибирь в их руках. Они уже Уральские горы перешли и прут дальше. Бог даст, этим летом еще захватят Москву и очистят Россию.

Коротышка тоже захлебывался от удовольствия, а Танирберген уже посматривал на него с неодобрением. О Колчаке он был давно наслышан. Разные прохожие и проезжие рассказывали о непобедимости Колчака. Но так как об этом долдонили все кому не лень,

а красные все еще удерживали Туркестанский фронт, мурза уже не придавал слухам никакого значения. Слухи эти, на его взгляд, перематывались по аулам, как многоаршинные портянки.

— Ты что, с чужих слов говоришь или сам видел? — строго спросил мурза, холодно уставившись на Коротышку.

Густомясое лицо Коротышки побагровело.

— Правду говорю, Танир-ага! Собственными глазами видел я вступившие в Актюбинск белые войска. Почтенные люди того края большими дарами встречают войско. А во главе войска генерал Чернов!

— Что ты говоришь!

— Это еще что. Говорят, белый царь жив.

— Это я тоже слышал.

— Когда Колчак захватил Екатеринбург, он, говорят, собственноручно освободил царя.

— Вот это радость! Мед тебе в уста!

— Потом еще, Танир-ага...

— Довольно, довольно, об остальном потом расскажешь. А сначала дай хоть эту весть переварить, — рассмеялся Танирберген, сразу оживился, подобрел и пригласил добрых вестников в дом.

Мигом зарезали ярку. Гости едва успели помыть руки и расположиться на мягких коврах, как расторопные бабы, все понимавшие с одного взгляда, уже заварили чай. За чаем Танирберген молчал, и лицо его приняло прежнее грустно-задумчивое выражение. Зато он собственноручно подносил гостям пиалы с терпким чаем.

— Пейте, дорогие гости, пейте.

Когда после чая убрали достархан, мурза повернулся к Коротышке. Тот развалился было на подушке, но, заметив, что мурза хочет говорить, сразу же сел.

— Ты говорил, большими дарами встречают освободителей? — как о чем-то малозначащем, спросил Танирберген.

— О! О да! Большими дарами.

— Кто именно встречает?

— Самые знатные и почтенные люди из Жема, Яика, Иргиза и Тургая. Они все собрались теперь в Актюбинск, чтобы приветствовать освободителей, вступивших на казахскую землю.

— Как же они приветствуют? Только на словах или чем-нибудь посущественней?

— Помогают кто чем может.

— А именно?

— Ну, такие, как вы, Танир-ага, косяками пригоняют лошадей. А татарские и русские купцы деньгами пособляют...

— Э, наконец-то за ум взялись,— усмехнулся Танирберген и опять задумался.

Подали мясо, и все в молчании занялись едой. Потом уставшим с дороги гостям постелили постель...

...На другой день, проснувшись, Танирберген отправил нарочного в ближайшие аулы за родственниками и близкими. Едва съехались родственники, как мурза, никому ничего не объясняя, приказал складывать юрты, чтобы кочевать на джайляу. День хмурился, по небу шли кудлатые тучи, но байский аул тут же собрался и тронулся длинным кочевьем в путь. Танирберген вызвал к себе двух надежных джигитов и в строгой тайне, так, что не узнала ни одна живая душа, отправил их в Актюбинск. Он дал им крепких, откормленных за зиму коней. Для смены джигиты взяли еще по коню. Незаметно проводив их поздним вечером, мурза напоследок сказал:

— Коней не жалейте. Для загнанных коней у вас есть смена. Сдается мне, что этот Коротышка заливает. А вы разузнайте, что в его словах правда, что вранье.

Коротышка об этом ничего не знал. Беспечно разгуливал он по аулам на летовке. Хотя, рассказывая мурзе новости, он ни словом не обмолвился о главной цели своего приезда в эти края, однако мурзе скоро обо всем донесли.

Собрав в одном из аулов богатых баев, Коротышка рассказал им не только о том, что армия генерала Чернова вступила на казахскую землю, он говорил еще, что настало время и пробил час для всех истинных мусульман подняться на борьбу с иноверцами и что для борьбы с Советской властью партия Алаш-орда спешно объединяет славных джигитов. Войско Алаша, говорил он, единокровные братья-мусульмане, собравшись под зеленым знаменем пророка, объявляет презренным иноверцам священную войну — газават, чтобы отомстить

за растоптанную землю, за поруганную веру и униженную честь. Для этого нужны храбрые джигиты, кони, оружие, одежда и деньги.

Всевозможные баи, бии и аткаминеры, которые вечно грызлись между собой, на этот раз сочувственно внимали словам Коротышки и были, как никогда, единодушны. Они с готовностью жертвовали ему не только отары овец, но и косяки лошадей, стада крупного скота. Немало было собрано и денег.

Узнав об этом, Танирберген только усмехнулся в усы. Ему ясно стало, что далеко не все пожертвования попадут Алаш-орде, многое осядет в карманах Коротышки.

Нарочные, посланные в Актюбинск, вернулись недели через две. Танирберген принял их и говорил с ними наедине. Слух о том, что войска Колчака захватили Актюбинск, оказался ложным. Но зато большая армия под командованием генерала Чернова, захватив Орск, действительно двинулась на казахские степи.

В тот же день к вечеру приехал к Танирбергену и Коротышка. Мурза встретил его холодно, и ужин в честь гостя прошел натянуто. На другой день мурза встал раньше обычного, плотно позавтракал и вышел из юрты. Вызвал к себе слугу-джигита. Тот поскакал в степь и час спустя пригнал сотню отборных коней. Согнав коней в косяк за аулом, он остался сторожить их. Родичам своим мурза говорить ничего не стал. Только байбише предупредил, что вернется не раньше чем через месяц, и в сопровождении десятка джигитов на белом аргамаке в дорогом, отделанном серебром седле выехал из аула. Даже свита мурзы не знала, куда он едет.

Перед отъездом мурза отозвал в сторону Коротышку, и между ними произошел следующий разговор:

— Я еду в Актюбинск,— сказал мурза.

— Счастливого пути, Танир-ага.

— Поеду посмотрю. Если Колчак действительно начнет занимать наши земли, я лично готов пожертвовать ему весь скот до последней овцы.

— О Танир-ага! Черт побери, если бы все сыны казахского народа, как вы...

— Э, оставь! Скажи-ка лучше, что ты-то собираешься делать?



Коротышка вдруг запнулся, замигал. Потом забормотал о разъяснительной работе среди джигитов, которую он намерен проводить. Встретив пристальный, недоверчивый взгляд мурзы, Коротышка густо покраснел. Не зная, куда девать глаза, он нервно переминался с ноги на ногу, потом вдруг ухмыльнулся и перевел разговор на другое:

— Мурза, слышали вы о Жасанжане?

Танирберген нахмурился. Он ни с кем не говорил о брате, но поступок Жасанжана постоянно тревожил его.

— Жасанжан-то наш тухлым яйцом оказался,— огорченно, с трудом скрывая злорадство, сказал Коротышка.— Подумать только, на сторону красных переметнулся!

«Э, дорогой, где бы ни был, лишь бы жив-здоров остался»,— подумал Танирберген и, не желая поддерживать разговора об этом, промолчал.

Он знал, что Жасанжан ни с того ни с сего пошел служить к красным и что вскоре был назначен командиром Ташкентского железнодорожного отряда. Ему было неизвестно и непонятно, почему брат стал на этот путь. Просто, думал он, и это одна из неожиданностей теперешнего загадочного времени.

После недолгой паузы Танирберген предложил:

— Ты ведь по-русски знаешь. Сопровождал бы нас. Коротышка опять засмеялся, опустил глаза.

— Конечно. С вами ехать — это счастье. Я бы с радостью... Да только давно не был в родных краях, соскучился, как говорится...

— А? Ну что ж, утешься. Утешь душу,— непонятно заключил Танирберген и, ударив коня, поскакал вдогонку за джигитами.

## II

Чуток сон матери, но ни с чем не сравнить чуткость спящей молодки, в объятиях которой отдыхает утомленный любовник. Подумав, что близка уже весенняя заря, Коротышка осторожно потянул к себе руку, на которой спала разомлевшая белотелая токал Алдабергена-софы, но та мгновенно проснулась. Тело ее было

нежно и податливо со сна. Выгибаясь и потягиваясь, она зевнула сладко, прикрыв ладошкой рот, и, охмелевшая от бабьего счастья, чувствуя одну только весеннюю истому, разбросала руки и ноги, нежась на пышной, горячей постели.

В юрте было еще совсем темно, и тундук опущен, и дверь закрыта. Покряхтывая и сопя, Коротышка нащупал босыми ногами пол и осторожно спустился с высокой постели. Токал, чуть приоткрыв сонные глаза, поглядела на него и улыбнулась.

— Уходишь?

— Угу.

— Чего так рано?

— Светает!

— Иди ко мне. Ну иди же!..

Коротышка тут же повернулся и, зажмурившись, стал искать губами ее губы. Нежные полные руки обвили его шею. Косы ее расплелись после любовных утех. Он зарылся в ее пышные волосы лицом, с наслаждением вдыхая возбуждающий, столь приятный мужчине особенный запах постели и разгоряченного женского тела. Голова его закружилась от любовного хмеля, но он опять вспомнил о близости утра и с усилием высвободился из ее объятий.

В темноте не разобрать было, где дверь, и он пошел к ней ощупью вдоль стенки. Чуть приоткрыв дверь, высунулся и воровски оглянулся. В предутренней степи стояла тишина. Убедившись, что поблизости нет ни души, он на цыпочках завернул за юрту. Из ближайшей юрты доносился могучий храп, Коротышка улыбнулся и успокоился. Сердце его перестало колотиться, но, выходя из аула, он ступал все так же бесшумно.

Нигде не слышно ни шороха, ни звука. Все живое объято было предрассветным сном. Небо, наливаясь светом, поднималось и раздвигалось. На западе мерцали еще последние звезды.

Коротышка поднялся на холм, обернулся и оглядел с высоты байский аул, раскинувшийся у подножия холма на широкой равнине. Лежавшие там и сям, круто возвышавшиеся боками коровы лениво пережевывали свою жвачку. Крепкий чистый запах разнотравья щекотал ноздри. Но среди всех запахов не было прият-

ней запаха полыни, и Коротышка даже зажмурился, дыша всей грудью.

Вот и последние звезды погасли, небо еще больше посветлело, и можно уже было видеть далеко. И, будто дождавшись чего-то, ему одному ведомого, из-за тростникового оврага застрекотал кузнечик. Он долго трюкал и скрипел в одиночестве, и его никто не перебивал. Но как только умолкла его простая трескучая песенка, совсем рядом под белым чиём отозвался ему другой кузнечик, затем еще и еще. И так они, проснувшись первыми, перекликаясь с утра пораньше, славили свою немудреную жизнь.

Коротышка распахнул чапан на груди, подставил ее под первое свежее дуновение утра и улыбнулся, чувствуя, как опустошенное его тело наливается бодростью. Потом он и совсем снял чапан и ничком повалился на прохладную молодую травку. «Э! А куда спешить, а? — подумал он.— Задержусь-ка я тут еще на ночку, а? Эх!» И от этой мысли ему стало весело.

Человек иногда сам стремится в пропасть. Уехал бы он сегодня в аулы, и все было бы хорошо, как говорится, и волки были бы сыты, и овцы целы. Но, распаляемый воспоминаниями о ночных уладах, Коротышка не в силах был теперь уехать. Решив, что гостивший где-то софы сегодня не вернется, он захотел продлить свое счастье еще на одну ночь.

А сплетня в аулах быстра и пронырлива, как голодная бродячая собака. Сплетня похожа сначала на уголек, невзначай оброненный бабой, с утра прибежавшей к соседнему очагу. Потом уголек этот подхватят бабы на поскотине или у колодца и, дуя на него, начнут перекидывать друг другу. Потом кто-нибудь поедет к родне и начнет оставлять угольки во всех попутных аулах. Слабо тлеющую сначала сплетню усердно раздувают уже по всем аулам, пока не превратится она в пожар, пока не опалится в этом пожаре тот, о ком гуляет по степи сплетня.

Слух о тайной связи Коротышки с белоликой токал давно уже жужжал и гудел по всем окрестным аулам. О них в округе знали все — от глубокого старца до сопливого малыша. О том, что об их любви известно всем окрест, не знали только Коротышка и токал. Их тайна давно уже стала похожа на воровство слепца. И чем

тщательней скрывали они от посторонних свою связь, тем заметней она становилась.

Одни сочувствовали белоликой токал и одобряли ее:

— Чего осуждать бабенку, отданную за дряхлого старика? Да какой в нем прок, в ее муже-то? Пока молодая да красива, только и пожить! Небось если гость, ночуя, в шутку лапает ее под одеялом, и то, бедняжка, уже расцветет вся!

Другие ругали старого софы и злорадствовали:

— Так ему и надо, старому кобелю! Она ему в дочери годится, а он ее под себя подпихивает, греется ее молодой-то кровушкой!

Третьи в хвост и в гриву честили Коротышку:

— Да что у нас девок нет, что ли? О несчастный! Мотался, мотался по белу свету и, на тебе, спутался с мокровостой шлюхой, а?

— И в самом деле! Уж чего-чего, а девок в том ауле как рыбы в море, бери — не хочу. Их и так при кочевке целыми кучками на стоянках теряют.

— Э, да что там говорить, человек, как свинья, сам в грязь лезет, никто его не пхает. И чего это его на чужую бабу потянуло?

— Да говорят же, кому-нибудь и объедки — лакомство. Мужик всегда как кобель голодный. А то чего бы ему лезть на бабу, измызганную вонючим стариком?

Вот так и гуляла сплетня по аулам.

Разговоры эти давно уже дошли до ушей старого софы. Он знал, что в аулах все кому не лень трепали имя его младшей жены, но до поры до времени молчал. Только сегодня софы наконец решился и, плотно наевшись мяса в соседнем ауле, вместо того чтобы лечь отдыхать, оседлал коня на ночь глядя. Почти все спали уже; когда он подъехал к своему аулу. Он спешился, стреножил коня и оставил его в овраге, богатом кормами, а сам пешком добрался до дому и улегся в постель. Токал свою он ни на минуту не выпускал из юрты, а когда лег, уложил ее рядом с собой к стенке.

— Пикнешь — убью! — пообещал он.

Едва дождавшись ночи, Коротышка отправился в знакомый путь. Аульные собаки успели уже к нему привыкнуть. Огромные, как телята, псы вышли было из-за угла, но, узнав его, как бы подумали: «А, это опять

ты!» — и дружелюбно помотали хвостами. Подкравшись к юрте софы, Коротышка огляделся по сторонам. Вокруг не было ни души. Вышла из-за туч на минуту луна, и Коротышка, будто приглашая ее в сообщницы своему счастью, весело подмигнул ей и, улыбаясь, тихо открыл дверь. Тундук был опущен, в юрте стоял густой мрак, и, чтобы освоиться с темнотой, Коротышка постоял немного.

— Где ты, пташка моя? — шепотом позвал он.

Старый софы мигом зажал рот своей токал.

— Молчишь! Ну молчи, молчи... Сейчас ты у меня запоешь, — нежно ворковал Коротышка, потихоньку двигаясь в правый угол, где за занавеской стояла высокая кровать. Дрожа от нетерпения, чувствуя, как колотится сердце и холодные волны ходят по животу и ногам, он крался к горячей постели, вытянув вперед руки. Он уже взялся одной рукой за занавеску, откинул ее и начал было снимать штаны, как вдруг почувствовал, что его крепко держат за руку. В ужасе рванулся он назад, но руку его так сжали, что он тонко крикнул:

— Ой!

— Эй, баба, зажги свет! — раздался в темноте хриплый голос.

Старый софы теперь нарочно не торопился. Медленно слез он с кровати, притянул Коротышку к себе и ухватил за ворот. Молодая токал затихла в ужасе, затаилась, прижалась к стенке. Свободной рукой софы нашарил на подушке ее волосы и рывком, будто баранью тушку, сдернул ее на пол.

— Кому говорят, зажги свет!

Зажегся в темноте неверный, робкий огонек лампы. Не выпуская Коротышку, не говоря ему ни слова, даже не глядя на него, софы двигался по юрте, волоча за собой непрошеного гостя, как опытный, равнодушный мясник овцу. Он подошел к двери и плотнее прикрыл ее. Потом скинул с кровати две большие пуховые подушки и поудобнее уселся на них. И наконец, дернув к себе, шмякнул Коротышку оземь. Тот поворочался, пригибаемый к земле тяжелой рукой, и сел рядом с большим черным чайником, наполовину зарытым в горячую золу очага. Говорить он не смел и только похрипывал, мысленно прощаясь с белым светом. А софы, казалось, даже не злился совсем, лицо его было спокойно.

Но когда он взглянул в упор в лицо Коротышке, сивая щетина его встопорщилась.

— Что, поганец, попался? Вышибить твою подлую душонку, а?

Софы еще крепче стиснул ворот рубахи Коротышки. Тот задохнулся, захрипел. Набрякшее, как коровье вымя, лицо его налилось кровью, очки врезались в пухлые подглазья. Софы с омерзением разглядывал его. Будто только теперь вспомнив, что именно этот человек опоганил его супружеское ложе, он вдруг затрясся от ярости.

— У, нечестивец! Ростом два вершка, а похотлив, как черный кобель! У!

— А-аксакал... не... не оск-орбляй-те... не за-де-вай-те честь...

— Хо-хо! А я вот задену! Что сделаешь?

— Ж... жаловаться буду...

Тучный старик с широким обрюзгшим лицом, заросшим густой сивой щетиной, потемнел вдруг от злобы. Задохнувшись, он бурно задышал, и на лице его выступил жирный пот. Усевшись, он поудобнее пригнул Коротышку к земле и не спеша начал бить его и по затылку и в зубы... Токал оцепенела. В черных, больших от страха глазах ее дрожали слезы. До крови закусив губу, бледнея до синевы, она прижималась к косяку двери. Алдаберген шумно дышал, потом перевел дыхание, приподнял и оглядел Коротышку, будто думая: «Куда бы ему еще садануть?» Он увидел вдруг стекла очков, тускло поблескивавшие при свете лампы, и даже простонал:

— У-у, стервец!..

Злоба именно к этим очкам захлестнула его, он размахнулся и что есть силы ударил по ним. Осколки стекла врезались в пухлую мякоть вокруг глаз Коротышки, и кровь залила ему все лицо. Отбив и поранив руку, софы, все еще не отпуская Коротышку, начал пинать его ногами. Окончательно обессилев, он поволок к двери полумертвого Коротышку и бросил его сторожевым псам.

Отдохнув немного, Алдаберген-софы всласть отодрал камчой свою белую токал, погонял ее, как сучку, по аулу и прогнал в Киши-Кум к родственникам.

Танирберген ехал спешно, нигде не останавливаясь. Сопровождавшие его джигиты помалкивали, хорошо зная нрав мурзы. Ехали ровной крупной рысью, гнали впереди косяк лошадей.

С двумя джигитами мурза далеко уехал вперед. Табунщики с косяком то догоняли их, то отставали и ехали тогда по следу, отчетливо видневшемуся на вязком, по-весеннему влажном еще песке.

На второй день к вечеру они подъезжали к Челкару. Поднимаясь на редкие в ровной бескрайней степи хребты холмов, они видели каждый раз, как далеко впереди перемигивались огни города. Табунщики радовались, думая, как остановятся на ночлег в городе, как напьются чаю и отдохнут после утомительной дороги. Но Танирберген, не заезжая в Челкар, направился по степной караванной дороге в Актюбинск.

У мурзы была давняя привычка ехать по ночам, а днем отдыхать. Теперь он опять решил воспользоваться ночной прохладой и проехать большую часть дороги. Коней гнали тесной кучей, не распуская их по сторонам, и крупы их смутно темнели в безлунную ночь, как спины сомов, выплывших на мель. Кони пофыркивали, глухо топотали их копыта на степной дороге. Челкар, по-прежнему приветливо мигавший огнями, остался далеко позади. Джигиты молчали. На руках их висели, волочась по пыли, куруки. Всех сморил сладкий предутренний сон. Склонившись от усталости к холкам лошадей, разжав шенкеля, джигиты безвольно мотались в седлах из стороны в сторону. Поэтому никто из них не заметил, как все произошло...

Кони, которые всю ночь шли неторопливой ровной рысью, вдруг остановились. Джигиты подняли головы и увидели на дороге черные силуэты вооруженных всадников. Никто не успел опомниться, как их уже разоружили и взяли под уздцы их коней.

Сначала Танирберген подумал, что их остановили разбойники и что их и захваченный косяк погонят сейчас в степь, подальше от большой дороги. Но молчаливые всадники, разоружившие их, окружив полукольцом косяк и джигитов, повернули не в сторону, а назад, в город, и мурза понял, что это не воры.



Не доезжая до города, коней остановили на противоположном берегу озера Челкар, а пленников погнали в город. Рассвет еще только наступал, было сумеречно, и город не проснулся. Танирберген раза два покосился на сопровождавших его всадников и больше уже не глядел на них. Всадники обильно были увешаны оружием, но одеты бедно, по-городскому. Большинство из них были русские, а из казахов Танирберген никого не узнал.

Теперь его интересовал только один человек, ехавший впереди. «Кто это может быть? Что-то знакомое...» — ломал он голову всю дорогу. На темно-рыжем коне тот далеко оторвался от отряда и ни разу не оглянулся. Одет он был в красноармейский шлем и шинель, которая ему явно была мала. Сильная широкая рука, в которой он держал камчу, вылезла из рукава. Мурза, понимающий толк в одежде, тут же решил, что шинель у таинственного всадника с чужого плеча. «Но кто же он такой? — мучительно старался угадать мурза. — Неужели... Нет, не может быть!»

При въезде в город мурза был все так же молчалив и сдержан и не оглядывался по сторонам, но примечал все знакомые ему улицы и дома. Всадник на темно-рыжем коне, нигде не останавливаясь, никуда не сворачивая, прежней рысью проехал мимо магазина Темирке с зеленой крышей и вдруг остановился возле широких ворот двухэтажного дома, где помещался штаб Челкарского отряда. И сразу же Танирберген уверился в своих подозрениях. До этого мурза еще мог надеяться, что, узнав о его имени, о его влиянии в крае, его тут же отпустят. Теперь эта надежда разом погасла, и он не то что просить, объясняться, смотреть не хотел больше на Еламана и тотчас принял свой холодный, неприступный вид.

— Запереть их! — распорядился Еламан, мельком оглядев мурзу и джигитов, и, придерживая бьющую по ногам шашку, пошел в штаб.

У входа встретился ему Дьяков.

— Ну как? — спросил он.

— Доставили.

— Отлично... Надеюсь, вас никто не видел?

— Город весь спит...

— Что ж, заходи, поговорим.

Они вошли в кабинет командира полка. В комнате было все так же, как и при Мюльгаузене. Старые, расшатанные стулья, неуклюжий стол и стены... Еламан сел боком к Дьякову и облокотился на край стола. Он был не в духе и ни разу не взглянул на комиссара, хотя тот поглядывал на него с интересом.

— Ну как, с мурзой, надеюсь, поговорил? — поинтересовался комиссар после некоторого молчания.

— Нет.

— Напрасно...

— Мы с ним давно уж все обговорили.

— И то правда. Что же теперь нам с ними делать?

— Не знаю. Ваше дело.

— Вот как? Ну раз наше дело, тогда у меня есть одно соображение...

Еламану не по вкусу был этот разговор, и он безучастно глядел в окно. За окном едва заметно покачивался под утренним ветерком огромный тополь, густо покрытый листвой. Шелест листьев был слышен в комнате.

— Войска Колчака захватывают казахскую землю. Большая сила! Против нас действует Южная армия с аэропланами и броневиками. Командующий у них генерал Чернов. Один из лучших генералов Колчака, понимаешь?

Еламан отвлекся от своих мыслей и стал внимателен.

— Это тебе не атаман Дутов, — продолжал комиссар. — Теперь война пойдет настоящая. Предстоят кровопролитные сражения, понимаешь?

— А я-то при чем?

— Ты? А вот тебя-то я хочу отправить к генералу.

Еламан опешил и уставился на комиссара, ожидая, что тот сейчас рассмеется.

— Seriously, — сказал Дьяков, заметив и поняв взгляд Еламана. — Ты переоденешься в одежду этого твоего мурзы, возьмешь с собой самых верных казахов и поедешь к белым. Постарайся разузнать численность и вооружение армии, только осторожно, понимаешь?

Еламан наконец понял, поднялся и вышел. К вечеру они собрались в путь. Еламан оседлал своего темно-рыжего коня синелуким седлом Танирбергена.

Об их поездке никто в полку, кроме Дьякова, не знал.

Еламан уже вышел во двор и только было схватился за холку коня, как часовой крикнул от ворот, что его спрашивает какая-то женщина. Нога Еламана, уже напряженная, засунутая в стремя, вдруг вздрогнула и ослабла. «Она! — мелькнуло у него. — Кому же еще? Она, конечно!» Кроме Акбалы, знакомых женщин в городе у него не было. К тому же он ждал ее каждый день, надеясь почему-то, что она придет.

Послав джигитов вперед, к косяку, и сказав, что сейчас догонит их, он, ведя коня в поводу, подошел к ожидавшей его у ворот Акбале. При зыбком свете фонаря Акбала казалась бледной и подавленной.

После женитьбы на Кенжекей Еламан к Акбале не ходил. Встречи на улице были редки и сухи. Оба они чувствовали, как все холоднее становятся их отношения.

— Здравствуй, Акбала...

Акбала перевела дух, справилась с волнением и сообщила, что отец ее, старик Суйеу, сильно болен и что она сегодня же ночью едет с караванщиками в аул.

— Давно заболел?

— Не знаю

— А чем болен?

— Не знаю. Лежит...

Еламан чувствовал, что нужно что-то сказать, но слова не шли на ум, и он только растерянно переминался с ноги на ногу. Акбала вдруг рассердилась, быстро попрощалась и, высоко неся свою гордую голову, ушла в темень ночной улицы. Слезы обиды дрожали у нее на ресницах.

Караванщики собрались на окраине города. Акбала села на своего верблюда. Под ней было вчетверо сложенное толстое одеяло, и ей было удобно. «О господи, дай мне счастливый путь!» — прошептала Акбала. Безмолвный караван не спеша тронулся в путь. Верблюды, привязанные друг к другу длинными поводками, шли по дороге журавлиной цепочкой.

Еще до полуночи караван пересек Улу-Кум по узкому перешейку. Навьюченные верблюды, глубоко увязая в сыпучем песке, постанывали и шли тяжело. Акбала томилась, и ей хотелось, чтобы караван шел быстрее. Она все думала о больном отце, и от опасения, что она не застанет его живым, ей становилось зябко и тоскливо.

Наконец они перевалили казавшиеся бесконечными пески, и опять началась ровная, покрытая полынью и колючками степь. Караван вел худой караван-баши — чернолицый мужчина на холощеном одногорбом верблюде с белой мордой. Едва, преодолев барханы, караван выбрался на твердую ровную дорогу, караван-баши погнал своего верблюда быстрее. «Вот так быстро, так хорошо...» — думала Акбала, покачиваясь на своем верблюде, и тревога ее рассеивалась — она начинала думать, что застанет отца в живых. Потом вспомнился ей Еламан. «Зачем, зачем я пошла к нему? — подумала она и гневно хмыкнула, как ее отец. — У него теперь свой дом, своя семья». Опять ресницы ее стали мокрыми, она поморгала, разозлилась, и лицо ее стало жестким и упрямым.

Она оглянулась вокруг. Тишина дремала в безлюдной степи. Бодрый ветерок, всегда оживающий во второй половине ночи, повеял свежестью, так что Акбала поежилась и накинула на плечи чапан. Полная луна щедро заливала светом степь. Все вокруг было как в молоке. Там и сям по степи разбросаны были одинокие кусты. Иногда они будто сбивались в кучу и тогда в зыбком лунном свете далеко темнели в ровной светлой степи, и казалось, что это стадо из какого-нибудь ближайшего аула мирно пасется в ночной прохладе.

Караван-баши на беломордом верблюде ходко вел караван. Он бодро смотрел вперед и думал о чем-то. Остальных одолел предутренний сон. Только один караванщик не выдержал ночного безмолвия и запел. Он внезапно затянул любимую песню Акбалы «Қарғаш»: «О мой зрачок!..» В безлюдной ночной степи голос его был так неожидан, что задремавшие караванщики, вздрогнув, подняли головы, а простодушные верблюды пугливо покосились по сторонам.

Начало песни сильный молодой голос взял резко и стремительно, будто понеслась вдруг, сорвавшись с места в галоп, резвая лошадь, но потом круто осадил и перешел на томительный, тягучий напев, полный таинственности и очарования, будто не чужую песню пел, а свое сердце решил открыть молодой певец уставшим в пути караванщикам. Давным-давно, еще в девичестве, качаясь на качелях за аулом, Акбала любила петь

эту песню не громко, а как бы отдаленно, тягучим горловым голосом:

О мой Каргаш, когда тебя я вспоминаю,  
Душой я рвусь к тебе, вся изнывая...

В эти слова она тогда вкладывала всю душу, замирая, отдавая весь жар влюбленного сердца одному-единственному человеку. И все ее подружки знали, кому предназначались эти слова, и Акбала тоже знала, что они догадываются. Сладко и тревожно становилось ей. Да ни от кого тогда она и не скрывала, ни от бога, ни от людей, что тоскует ее душа по молодому красавцу мурзе из байского аула. Тосковала, тосковала, а чем кончилась вся ее любовь?

Акбала только вздохнула.

А молодой караванщик пел теперь песни Мухита и Сары Батакова. После грустного напева предыдущей песни он вдруг взял высоко и зычно и заиграл сильным голосом, будто пел не только для себя и для друзей-караванщиков, но и для высокого ночного неба, для звезд, и так же, как начал, внезапно оборвал на высокой ноте.

Снова замерла лунная ночь, опять равномерно шел караван, и темные фигуры караванщиков однообразно, ритмично раскачивались взад-вперед, взад-вперед... Предутренний ветерок усилился. Акбала повернулась к нему спиной, плотнее закуталась в чапан и даже посадовала на певца, что он так скоро перестал петь.

А молодой караванщик, подумав, затянул новую песню, которая называлась «Алима». Это была песня-плач, песня-прощание юной девушки, отданной жестоким отцом за сорок голов скота старику в далекую чужую сторону, куда ни на лошади не доскачешь, ни на верблюде не доедешь...

И с первым же звуком песни плач и стон неведомой девушки остро полоснули Акбалу по сердцу. И у нее была тяжелая судьба, как у Алимы, о которой повествовал караванщик, и ее юное сердце было также отравлено горем. Только коснись израненной девичьей души, и закричит душа от боли.

Сколько раз уже слышала Акбала эту песню, и каждый раз мысленно подпевала, будто плач о горемычной девичьей судьбе исходил из ее собственного сердца.

«Была когда-то гордой, своенравной Алима...» — выговаривал караванщик слова песни. Ах, как бы отвечала ему Акбала, такая единственная, такая короткая жизнь, а вся по швам пошла, по клочкам расползлась, словно шкурка, разодранная собакой. А какая, как подумаешь, девушка не была в свое время гордой и своенравной?

К утру караван остановился у оврага, заросшего тростником. Караванщики быстро развьючили верблюдов, расстелили на зеленой травке вдоль оврага свои чапаны и завалились спать. Они едва приладились поудобней, едва смежили глаза, как тут же дружно захрапели. Одна Акбала не спала.

Отец ее за всю жизнь ни разу не болел. По рассказам караванщиков, болезнь скрутила его в один день. Он лег, и не смог больше встать, и тосковал все сильнее. Тогда он сказал старухе, чтобы та известила обо всем дочь и наказала ей побыстрее приехать. И теперь Акбале думалось, что конец в самом деле близок, если отец, запретивший даже имя ее произносить в своем доме, вдруг сменил свой гнев на милость и призвал ее.

За все время работы в столовой она скопила немного денег. Да и русские женщины, узнав о ее горе, собрали ей кое-что на дорогу, и теперь она везла родителям гостинцы: чай, сахар, рубаху, платье... Всю жизнь бедствовал ее отец, да и теперь, при новой власти, как рассказывали ей аульчане, не нажил богатства.

Акбале хотелось ехать, и она скоро разбудила караванщиков. Те не хотели вставать, мычали, отмахивались, но Акбала приготовила чай и уговаривала караванщиков таким ласковым голосом, что они, зевая и потягиваясь, поднялись наконец. Верблюды успели немного отдохнуть, и, пока не начало припекать солнце, караванщики по утренней прохладе снова бодро пустились в путь.

Лишь на третий день утомительной дороги караван добрался к обеду до северного склона Жаман-Боташа, где когда-то выдавали замуж бедную Бобек и где располагался теперь аул Суйеу. Немногочисленные овцы бедного аула рассыпались по склону холма и пощипывали молодую редкую травку.

Акбала пошла к пастушонку, торчавшему возле отары, расспросить об отце. Отец был еще жив и в памяти, узнавал всех, кто приезжал его проведать, и Акбала



немного успокоилась. Забытое уже чувство появилось у нее — ее охватила привычная робость перед отцом. Когда она вошла в юрту, старик Суейу полулежал на высоких подушках и тяжело дышал. Он был бледен, крупный нос его заострился, под одеялом слабо поднималась и опускалась высохшая грудь.

Со дня болезни грозного хозяина дома никто поблизости не осмеливался говорить громко, и все входили и выходили на цыпочках. Услышав шум возле юрты, голоса и шорох женского платья, старик сразу догадал-



ся, что приехала та, которую с такой тоской и нетерпением ждал он дни и ночи, его кровинка, его дочь. Когда Акбала вошла вместе с соседями в юрту и робко взглянула на него, он хотел приподняться, но боль в груди не давала ему шевельнуться. Разозлившись на свою немощь, он, как бывало, захлопал сердито белыми ресницами, и в глазах его блеснул прежний дерзкий огонек.

А у Акбалы вдруг пропала вся робость, от которой горели щеки. Она увидела угасающего отца. Вглядываясь в потускневшие уже в ее памяти родные черты, увидев опять эти белые ресницы, красные глаза, бледное, изможденное лицо, тонкий заострившийся нос, она почувствовала вдруг такую жалость к отцу и к себе и такую слабость, что не смогла сдержаться и заплакала.

Наконец, пересилив себя и вытерев слезы, она тихо опустилась у его изголовья. Оба молчали. Соседи, вошедшие в юрту вместе с Акбалой, не осмелились пройти дальше и столпились у двери. И молодые женщины, которые со времени замужества не видали еще своих родителей, и пожилые жалостливые бабы, глядя на отца и дочь, тихо плакали и терли концами жаулыков глаза.

Старик Суйеу пожал горячей рукой безжизненную руку дочери и силился что-то сказать, чтобы успокоить дочь, но слезы душили и его, и он, задыхаясь, отвернулся вдруг к стенке. Не отпуская руки дочери, он ласково гладил ее ладонь, дрожащими пальцами ощупывал ее мозоли, и сердце его разрывалось от жалости. «Родненькая! — думал он, хмурясь и морщась, чтобы не заплакать. — Родная ты моя... Как же тебе, видно, досталось!»

— Ступай... К матери теперь... ступай, — слабым голосом выговорил он и выпустил руку дочери.

По желанию старика к нему теперь допускались только самые уважаемые, издалека приехавшие люди, а те, что были из ближних аулов, узнавали о его здоровье от домашних. После приезда Акбалы старику стало легче, но дня через два он опять затосковал. Когда Акбала была возле него, он смотрел только на нее, как бы силясь запомнить ее навсегда. Когда она выходила, он отворачивался лицом к стене. Как ни мучительна была его боль, он не стонал. Домашние, время от времени заглядывавшие в приоткрытую дверь и чутко при-

слушивавшиеся, думали, что больной успокоился и заснул. Одна Акбала знала, как тяжело сейчас ее отцу. Каждый раз, когда она на цыпочках входила в юрту, она слышала, как скрипел зубами отвернувшийся к стенке отец, и скрип этот, тихий, но постоянный, болью отдавался во всем ее существе. «Господи, поддержи его, не оставляй его!» — жарко молилась она.

Но на следующий день старику опять стало легче. Всю ночь просидела Акбала у постели отца. Когда же взошло солнце и в юрте стало светло, Акбала, как девочка, свернулась калачиком у отцовского изголовья и заснула. Проснулась она оттого, что услышала в юрте громкий говор, и сразу взглянула на отца. Отец сидел, прислонившись спиной к подушкам. Краем одеяла он укрыл ее.

— Ну вот... теперь я готов предстать перед аллахом... — с облегчением говорил Суйеу, но тут же, спохватившись, словно окаменел, принимая всегдашний свой суровый вид.

За все эти дни Акбала впервые увидела столь знакомое ей непреклонное выражение лица и обрадовалась. «Слава богу, может, теперь пойдет на поправку...» — с надеждой думала она.

#### IV

На четвертый день Еламан с джигитами добрался до Актюбинска. Город белые еще не захватили, но по всему чувствовалось, что красные, державшие оборону, вот-вот отойдут. Слухи о приближении большой, прекрасно вооруженной белой армии наводили на всех страх. Еламан скоро понял, что нет серьезных сил противостоять противнику. Не имея даже представления о численности и мощи Южной армии, красные отряды уже боялись ее. Значение разведки, в которую его послал Дьяков, Еламан впервые оценил по-настоящему.

Уже возле Актюбинска Еламану то и дело попадались отдельные части белых, и он старался запомнить все, что видел. Между тем богато одетых казахов с большим косяком коней все чаще останавливали и недоверчиво допрашивали, пока Еламан не обратился к одному офицеру и не попросил проводить его с джигитами и

дарами в ставку командующего. Офицер взялся их сопровождать, и далее они ехали беспрепятственно.

То, что они увидели на первых порах в расположении белой армии, была еще не сама армия, а только передовые ее отряды. Чем более углублялись они в расположение белых, тем явственнее ощущали, что основные силы еще впереди.

Всюду, от горизонта до горизонта, по дороге тянулись войска. Шла поротно и побатальонно пыльная пехота, со скрипом влачили тяжело груженные арбы, сплошным потоком тянулась кавалерия. Часто мимо вихрем проносились пулеметные тачанки, шли караваны навьюченных верблюдов. Между батареями гаубиц и пушек, сотрясая землю, катились батареи английских шестидюймовых орудий. И все эти несметные войска двигались к Актюбинску, и казалось, конца не будет этому потоку.

Еламан ехал хмурый. Он теперь понимал, что нынешнее лето будет для красных бойцов кровопролитным. Сопровождавшие его джигиты молчали и смотрели кругом во все глаза.

Возбужденный Али, покосившись на ехавшего рядом белого офицера, подъехал к Еламану стремя в стремя.

— Ойпырмай! Что делается, Ел-ага!

Еламан чуть не выругался и кинул быстрый взгляд на офицера. Ему нравился Али, и он, проклиная в душе его юношескую неосмотрительность, тем не менее сделал дружелюбное лицо. Слегка поворачив к Али голову, улыбаясь, он еле слышно сказал:

— Али, не забывай, кто мы сейчас, понял? И предупреди джигитов. Они должны даже между собой называть меня мурзой.

Али потупился и залился краской. Еламан тут же постарался прогнать его смущение и засмеялся.

— Н-да... хоть я и влез в шкуру нашего Танирбергена, однако что-то не пристает ко мне его звание, а?

Штаб Южной армии расположен был в селе давно осевших здесь русских переселенцев. Табун коней, пригнанный Еламаном, тут же приняли, а самого Еламана с его джигитами отвели в дом зажиточного крестьянина. Казахи привязали возле дома коней, стряхнули с себя пыль и только начали умываться студеной водой

из колодца, как к ним пришел молодой офицер с толмачом-татарином.

— Салам-алейкум, братья,— поздоровался толмач и приложил руку к сердцу.

А молодому офицеру было весело. Еще издали увидев казахов в плюшевых бешметах, в красных кушаках и в круглых выдровых шапочках, давась от смеха, он стал показывать на них пальцем и что-то говорить толмачу. Подойдя, офицер с усилием подавил в себе смех и, решив про Еламана, что это есть тот бай, который пригнал табун лошадей командующему, подал ему руку. Не замечая протянутой руки, Еламан взял у Али полотенце, которое тот почтительно держал, утерся и, протянув в пространство полотенце, которое тотчас опять подхватил Али, небрежно пожал все еще протянутую руку офицера.

— Здравствуй,— небрежно и сухо сказал он.

— О! — только и ответил офицер.

Еламан отвел глаза от офицера, вспомнил повадки мурзы, и лицо его приняло непроницаемо-холодное выражение. Под изумленным взглядом офицера Али накинул на плечи Еламана поверх заграничного бешмета черный плюшевый чапан. «Эти собаки,— думал между тем Еламан,— даже оказывая нам почести, не скрывают своего презрения. Даже последняя их собака считает себя выше нас и кичится своим превосходством. Скоты!» И, повернувшись к офицеру, спросил:

— Лошадей приняли?

— Да, завтра получите акт о приемке...

— Не надо. Где генерал? Когда нас примет?

— Командующий болен, у него грипп,— офицер не удержался от новой улыбки.— Вы знаете, что такое грипп?

— А завтра?

— Завтра, может быть. Но сегодня он просит извинить.

Еламан кивнул и отвернулся. Толмач, подумав, что мурза не поверил, решил вмешаться.

— Верно, верно,— добавил он уже от себя.— Как приехал из Омска, так все поправиться не может.

Едва офицер с толмачом убрались, как Али расхохотался.



— Прищемили им хвост, а? Ай, мурза, молодец! Так им и надо! А что, в самом деле, за верблюдов, что ли, эти собаки нас принимают?

Но Еламан думал о другом. Мысль о том, что несметное войско попирает казахскую степь, угнетала его. Тяжело ступая, он вошел в дом. Беленькая красивая молодуха, позвякивая тарелками, накрывала на стол. Она выходила на кухню, опять входила, и Еламан

видел, как при ходьбе подрагивают распирающие ярко-красную кофту ее высокие ядренные груди. Заметив взгляд, который украдкой бросил на нее Еламан, она, в свою очередь, уставилась на него большими синими глазами. Еламан смутился так, что не знал, куда деваться. Перед женщинами его всегда охватывала робость, а теперь он совсем залился краской и не смел поднять глаз. Молодую развеселил этот крупный красивый казах, по-мальчишески оробевший перед ней, и некоторое время она стояла перед ним, игриво усмехаясь, а потом повернулась и, нарочно виляя бедрами, ушла опять на кухню. «У этих не то, что у наших казашек,— подумал Еламан, отдуваясь.— Я ей чуть не в отцы гожусь, а она рада стараться, выперла на меня свои гляделки!»

Он вспомнил двух женщин, которых успел узнать за свою жизнь, Акбалу и Кенжекей. Вспомнились ему и первые дни супружеской жизни с ними. И та и другая, постелив постель и накинув чапан, выходили из землянки и долго, чуть не за полночь, сидели за домом, не решаясь идти назад. Да и потом обе все равно были по-девичьи стеснительны...

На другой день Еламан поднялся с восходом солнца, вышел во двор, умылся и долго с удовольствием смотрел, как выгоняют скотину в степь. Не успели джигиты позавтракать, как пришел вчерашний офицер и передал, что их ждет командующий. Еламан, по мусульманскому обычаю, провел после еды ладонями по лицу и вышел вместе с джигитами.

Генерал Чернов поджидал их возле большого белого дома, где остановился штаб. Еламан не сразу узнал командующего среди толпы офицеров. На турецком фронте ему приходилось видеть генералов. Все они были упитанны, как степные дрофы, в орденах, с аксельбантами и золотыми погонами. Чернов был худ, даже поджар и очень просто одет. Старый, выцветший на солнце китель висел на нем мешком. На лице его была усталость, как у человека, которому надоела жизнь. И Еламану сразу вспомнились вчерашние слова толмача: с самого Омска поправиться не может.

Одно только в генерале пришлось по душе Еламану — командующий казался спокойным, сдержанным человеком. Он не уставился с нескрываемым любопыт-

ством или с усмешкой, как другие, на степных, диких казахов в ярких одеждах, а мельком взглянул на них спокойно и доброжелательно. Подав Еламану руку, он повернулся к почтительно стоявшему рядом толмачу и сказал:

— Я видел коней, подаренных нам мурзой. Все кони как на подбор, хорошие, откормленные кони. От имени правительства Колчака благодарю его.

Толмач заговорил было по-казахски, но Еламан оборвал его:

— Не надо. Все понял.

— А-а...— удивился командующий.— Вы говорите по-русски, мурза?

— Часто бываю в городе. Вожу знакомство с русскими купцами.

— Вот как. Хорошо. Ваш аул...— генерал запнулся.— Ваш аул где-нибудь поблизости?

— Нет. Я живу отсюда далеко. На берегу Аральского моря.

— Вот как? В таком случае ваш подарок вдвойне дорог. Сколько же дней вы были в пути?

Еламан заранее перебирал все возможные вопросы, которые могут ему задать, и приготовил ответы. Пять дней находился в дороге, отвечал он. Генерал Чернов кивнул и только теперь повернулся к красавцу коню — подарку Еламана. Двое джигитов, Али и Рза, с обеих сторон держали белого аргамака под уздцы. Конь дико грыз удила и шумно раздувал широкие тонкие ноздри. Длинная сухая шея его была выгнута лукой. Вдоль мощного твердого загривка росла жидкая грива.

Еламан заметил, как в глазах генерала блеснул огонек. Не слушая предупреждений офицеров, он подошел к белому аргамаку.

— Осторожней, господин командующий!— не удержался и крикнул кто-то.

Чернов с удовольствием пощупал гриву аргамака, потом провел ладонью по короткой атласной шерсти. По телу жеребца прокатилась дрожь, он всхрапнул и заплясал, заходя к генералу боком. Гладкая тугая шерсть аргамака серебрилась под утренним солнцем, поблескивали выложенные серебром седло и уздечка. Генерал не мог отвести глаз от красавца коня. Таких коней видел он в Петербурге у самых богатых гвардейских



офицеров и только издали любовался ими. Самому ему никогда не приходилось иметь таких чистокровных, царственно гордых коней.

Генерал Чернов был тронут подарком и от души еще раз пожал Еламану руку.

— Спасибо, мурза.

Потом пригласил его на обед в чистую просторную горницу, окна которой выходили в большой сад, и долго беседовал с ним наедине.

В начале неторопливой, осторожной беседы генерал как бы между прочим завел речь о Приаралье и спросил, чем там занимаются и ловят ли рыбу.

— Основное занятие скотоводство. Но есть и рыбные промыслы.

— А ловят ли у вас красную рыбу?

— Э, да еще какую!

Чернов помолчал, задумчиво помешивая ложечкой чай. Из окна на него ярко светило солнце, ему становилось жарко, и он раза два вытер повлажневший лоб платком. Еламан по привычке быстро принялся за еду, но тут же опомнился и есть стал не спеша, сдержанно, как и подобало настоящему мурзе.

— Ну а что ваши казахи думают о красных?— спросил генерал.

Этого вопроса Еламан не ожидал. А генерал, до этого державшийся рассеяннo-доброжелательно, вдруг остро и холодно взглянул Еламану в глаза. Еламан смутился и, чтобы не выдать себя, напряженно усмехнулся.

— Чему вы улыбаетесь?— так же твердо и холодно спросил Чернов.

— Просто так,— сказал Еламан простодушно.— Я знал, что вы об этом спросите.

— А! Вот как... Тогда можете не отвечать.

— Почему?

— В заранее подготовленном ответе правды мало.

— Это верно,— согласился Еламан.

— Э-э... Скажите, в таком случае, много ли у вас образованных людей?

— Все-таки, господин... господин генерал, я хочу ответить...

— А! Как угодно.

— Казахи теперь, как и русские, надвое разделились.

— Беднота, разумеется, поддерживает красных?

— Да.

— Выходит... Ну да, конечно, выходит, что большинство казахов на стороне красных?

— Верно.

— Гм... Так. Теперь, мурза, ответьте мне на такой вопрос: что же в красных привлекает ваш народ?

Еламан, чтобы освободиться от внутреннего напряжения, начал было прихлебывать чай, но тотчас поставил пиалу на стол. Сколько дней в дороге обдумывал он предполагаемый разговор, но такой вопрос ему и в голову не приходил. Немного подумав, Еламан сказал:

— Обещание свободы.

Чернов встал, закурил и прошелся по горнице.

— Ваш народ так же, как и наш, обманут. Народ не знает, что там, где нет истинной свободы, больше всего и громче всего о ней кричат.

— Красные...— начал Еламан и запнулся. Он медленно подбирал слова, стараясь и в то же время затрудняясь хорошо и ясно выразиться.— По-моему, красные нашли подход к бедным людям.

Чернов остановился и серьезно посмотрел на Еламана.

— Значит, говорите вы, казахи любят свободу?

— Да,— подтвердил опять Еламан и тут же заметил, как доброжелательность ушла из глаз генерала и лицо его подернулось холодком. «Ах, не то сказал, не так с ним говорить надо!» — спохватился Еламан, чувствуя, как генеральский холодок продрал и его морозом. И заторопился поправить дело.— В коране сказано: «Дары господа принадлежат всем, но люди их несправедливо распределяют».

— Гм...— Чернов кашлянул.— Хорошие слова.

— Раз говорится в коране, темный народ считает это истиной, провозглашенной устами самого аллаха. Поэтому когда в брюхе человека бурчит от голода, он в первую очередь обвинит... нас с вами,— Еламан хотел сказать «вас»,— что мы отобрали у него кусок хлеба.

Чернов, как бы наскучив разговором, повернулся к окну. Лицо его болезненно посерело. В окно, залитое ярким утренним солнцем, было видно небо над садом. В небе застыли редкие перистые облака. Было безвет-

ренно, знойно, и солнце сквозь стекла слепило глаза. Чернов вздохнул, задернул занавеску и стал думать о своем госте.

Этот черноусый рослый мурза начинал нравиться ему своим достоинством и манерой держаться. Вот уже много дней как многочисленная Южная армия углублялась в казахские степи. Чернов впервые вступал в незнакомый, таинственный, как ему казалось, и от этого еще более интересный мир. Еще совсем недавно он, как и многие его сослуживцы, считал, что край этот населяют дикие, невежественные народы. Что знал он о них раньше? Разве то только, что в степях этих обитают некие кочевые племена, уцелевшие после разгрома Ермаком владычества хана Кучума. Правда, совсем недавно, в эмиграции в Харбине, старый друг его генерал Рошаль дал ему почитать сочинения некоего Чокана Валиханова. Начав читать просто от эмигрантской тоски, Чернов увлекся. Потомок грозного Чингисхана, блестящий офицер русской армии, интеллигент, ученый, ставший в двадцать три года членом Российского императорского географического общества, Валиханов был гордостью своего народа, и память о нем до сих пор бережно хранилась в сердцах людей. Кто бы мог подумать, что среди каких-то казахов появится такая светлая голова!

Пока Чернов угасал и тосковал в Харбине, Колчак образовал свое правительство, и, узнав об этом, Чернов немедленно выехал в Омск. В Омске он познакомился с несколькими казахами националистами. Образованные, они внешне мало отличались от своих соплеменников, но, как правило, обладали изысканными, утонченными манерами, граничащими с надменностью, свойственными лишь самым богатым европейским аристократам.

Но с тех пор как Чернов вступил со своей армией в казахские степи, ему пришлось познакомиться совсем с другими баями. Теряя всякое достоинство, они обычно угодничали, сгибаясь в три погибели перед любым, даже самым маленьким офицером. И только этот мурза держался с подчеркнутым достоинством, и на это приятно было смотреть. Чернову особенно понравился взгляд мурзы, ровный и спокойный. Большие глаза его смотрели на собеседника прямо и открыто.

Чернов, конечно, не имел оснований не верить мур-

зе, мало того, он хотел верить. Но в душу его нет-нет да и закрадывались сомнения. В записках европейских путешественников-миссионеров ему приходилось читать об азиатском коварстве. И вот если исходить именно из азиатского коварства, то особенно подозрительным казался приезд сюда этого, во всех смыслах приятного мурзы из такой дали, от самого Аральского моря. Только ли любовь к белым, и любовь ли вообще, толкнула его на этот столь изнурительный путь? В такое трудное время, когда от тебя отворачиваются соотечественники, возможно ли найти надежного, верного друга среди инородцев, укрощаемых огнем и мечом сначала Ермаком, а потом многими и многими русскими отрядами? Может ли такое быть? Если мурза искренен — а Чернов хотел в это верить, — то дружба казаха надежнее, чем кого-либо другого. И коль скоро ему понадобится верная рука в этой степи, то уж лучше заручиться дружбой этого мурзы.

Генерал Чернов давно уже думал о том, как нелегко угодить представителям великих держав. С ними и враждовать опасно, и дружить непросто. Чуть не угодил им, и начинаются попреки, обиды, угрозы и так далее, вплоть до совершенного равнодушия. Совсем иное дело, как думал Чернов, простодушные казахские баи — дружба их бескорыстна, а главное, необременительна. Достаточно быть с ними любезным при встрече.

Мягко ступая, Чернов все ходил по горнице, при поворотах каждый раз оглядывая незаметно Еламана. В ближайшие дни должны были прибыть военные советники союзных держав. Пожалуй, не помешает, подумал Чернов, показать им этого казахского бая. «Что ж, пусть убедятся, что в борьбе с большевиками мы вовсе не одиноки, что нас поддерживают народы далеких степей. Да стоит, стоит показать им этого мурзу, уж он в грязь лицом не ударит. Нет, не ударит!» — заключил про себя генерал и обратился к Еламану:

— Мурза...

Но тут раздались молодые проворные шаги, дверь отворилась, и в горницу вошел давешний смешливый офицер.

— Ваше превосходительство, на улице собрались киргизы, просили доложить...

— Какие еще киргизы?

— Да богачи из какого-то Уила. Пятьсот баранов с собой пригнали. Говорят, в дар армии Колчака. Вы их примете?

— Нет. Передайте от меня благодарность и отправьте с богом.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

Повернувшись к Еламану, генерал Чернов сначала пристально посмотрел ему в лицо, на котором вдруг почему-то промелькнула улыбка, и опять вспомнил первый вопрос.

— Так вы говорите, что народ ваш больше всего любит скотоводство?

— Нет.

— А что же, в таком случае?

— Равенство.

Чернов хмыкнул. Что творится с народом! И голод могут терпеть, и холод выносить, а вот равенство и свободу подавай каждому. Даже этим степнякам вдруг понадобилось равенство. Что творится, бог ты мой!..

## ▼

Генерал Чернов приехал в Омск ранней весной. Тяжелый, сплошной сибирский наст, всю зиму крепко прикрывавший промерзшую землю, распарывался теперь, будто взрывааемый изнутри. Ноздрел и оседал снег, глазурью блестевший только на северных склонах сопок. Зато на солнечных сторонах оврагов и пригорков вдоль насыпи дымились уже бурые проплешины. В оврагах и низинах под наметанным за зиму снегом бурлили ручьи.

От самого Харбина Чернов так и не поспал как следует. Он опомниться не мог от радости, что кончилась наконец его эмигрантская тоска и что после двухлетних мытарств на чужбине бог привел снова свидеться с родиной. Опять он встретится со всеми теми, с кем разлучил его вихрь времени, снова обнимет испытанных боевых друзей, с которыми пережито столько боев на всевозможных фронтах, и, что бы ни случилось отныне, они вместе будут биться до последней капли крови, до последнего вздоха за правду и за святую Русь.

Предстоящая радость лишала его сна. А когда поезд стал подходить к русской границе, он места себе не на-

ходил. Измученный, он заснул вдруг, как засыпает внезапно ребенок, а проснувшись, увидел, что за запотевшим окном занялась уже заря. Чернов жадно прильнул к окну и ничего не увидел из-за тумана. Солнца не было видно, время нельзя было определить, и от этого, от неразличимости всего окружающего казалось, что небо хмуро, покрыто тучами и все леса на бегущих сопках наполнены мглой. Только часа через полтора, когда солнце стояло уже довольно высоко, туман разошелся, открылось небо, и стало веселее. Но и теперь еще в распадках и оврагах, в тайге и в сквозных перелесках, мимо которых мчался поезд, держался молочно-белый туман.

Чернов не отрываясь смотрел в окно. От его дыхания стекло потело, и он, словно мальчик, тут же протирает его ладошкой и опять глядел. Земля, казалось, навсегда погребенная под снегом, теперь оттаивала, курилась, бесстыдно обнажалась и набухала.

«Вот и земля, как человек! — думалось Чернову. — Словно добрая здоровая баба, когда ей захочется родить. Как бы ни сдерживала она себя, как бы долго ни дремала, наступает минута, когда все расцветает, наливается соками и наряжается. Нет, никогда не стареет земля, а возрождается, обновляется каждый год, и так из века в век, и каждый раз по веснам становится молодой и нарядной, как невеста. А ты...» И Чернов оглядел унылое, неудобное купе. Его попутчик, ехавший с ним вместе из Харбина, спал, отвернувшись к стенке. Из соседнего купе доносился чей-то равномерный беспечный храп. Внизу, под вагоном, бешено перестукивали колеса. Поезд мчался на запад.

Почувствовав озноб, генерал накинул на плечи шинель. Поезд между тем стал замедлять ход и остановился на какой-то убогой станции, затерявшейся в глуши необъятных лесов.

«Слава богу! Вот и дожил до того дня, когда снова ступаю на русскую землю!» — думал Чернов, выходя вон и спускаясь по вагонным ступенькам. Едва спрыгнул он на землю, как сердце его сладко зануло. На воздухе было свежо и резко пахло весной. Чернов повернулся лицом к ветру и стал жадно дышать, до ломоты в груди.

После двух дней шума и стука колес его поразила великая тишина, застоявшаяся над маленькой станцией. Чернов оглянулся, потом посмотрел себе под ноги. Сердце его опять дрогнуло, и ему захотелось вдруг опуститься на колени, пощупать все эти камешки, разгрести их, набрать в ладони этой сырой земли. Он медленно наклонился — что-то непривычно слабым стало его тело, — но тут же отдернул руку и выпрямился. Он заметил, что с вагонной площадки за ним насмешливо наблюдал пожилой проводник. Чернов смутился, легонько запел себе под нос марш Преображенского полка и пошел прочь. Камешек, который он только что хотел поднять с земли, весело прыгал впереди, подгоняемый носками его сапог.

Возле поезда не было ни души. В пяти-шести домишках станции все еще спали. Окна и двери были закрыты, и сами домишки тоже, казалось, спали. И только в одном сарае, ближе всех стоявшем к железной дороге, беспокойно мычала корова. Чернов любил скотину — до революции у него было имение в Калужской губернии. И теперь он сразу догадался, что это мычит недоенная первотелка. У первотелок небольшое вымя, а молока много, и, если их не подоить вовремя, они режут на всю округу.

Поезд стоял на станции долго — брали воду. Генерал, по-прежнему напевая себе под нос, прохаживался вдоль вагонов. Он старательно обходил весенние лужи, но все-таки иногда попадал в воду, и сапоги его промокли, но холода он не ощущал. Сарай, из которого слышался рев коровы, густо был обсажен смородиной и вишней. Ветви кустов и деревья казались темными и тяжелыми от сырости. Когда Чернов вышел из вагона, смородина и вишни были облеплены оживленно чирикающими воробьями, потом их что-то спугнуло, и воробьи, как всегда державшиеся дружной стайкой, разом вспорхнули. Со вздрогнувших веток посыпались холодные крупные капли. Крыши вагонов, отсыревшие от росы, тоже были мокры, и с них капало, и далеко и звонко было слышно, как капли тукали о землю. «Все так же, как там, в Маньчжурии! — с внезапной тоской подумал генерал. — То же небо, та же земля, та же капель... И в Маньчжурии сейчас весна, и так же чирикают оживленные воробьи, и оседает по полям снег, и



так же темнеют по сторонам мокрые от тумана леса. И та же унылая жизнь!»

Паровоз впереди сипло рывкнул, и поезд тронулся. — Эй, эй! Отстанете! — крикнул проводник.

Вагоны уже плыли мимо, и Чернову пришлось догонять рысцой свой вагон. Он старался не глядеть на проводника, который стоял на подножке и не думал протянуть ему руку. Чернов знал, что теперь на его родине генералы не в почете. «Но неужели,— с досадой думал он,— не осталось людей, которые уважали хотя бы седую голову?»

— А вы ничего, бодрый,— то ли одобрительно, то ли насмешливо сказал проводник, когда Чернов, запыхавшись, поднялся наконец на площадку.

Чернов, не отвечая и не взглянув на проводника, прошел к себе. В купе все на том же боку лежал и все так же спал его попутчик. Грузное, дородное тело его в такт движению подрагивало на полке, и он сладко посапывал во сне, наполняя купе запахом спящего человека. «Счастливая душа!» — подумал Чернов.

Хотя генерал Чернов приехал издалека, с чужбины, однако осведомлен о здешних делах был хорошо. Он знал, что кратковременное весеннее наступление Колчака начинало выдыхаться. Знал он также, что красным удалось разбить колчаковские войска под Бугульмой, что разбитые войска отступают и красные преследуют их по пятам. Все это он знал, но не удивлялся, потому что знал, что война состоит не из одних побед, но и из поражений. Удивляло генерала другое: с тех пор как приехал он в Омск, дня не проходило, чтобы газеты, выходившие в городе, не расхваливали на все лады непобедимую армию адмирала. И в верховной ставке только и разговору было, что о победах и о скором падении большевистского режима.

Генерал Чернов недоумевал. Он не знал, чему верить — слухам с фронтов, известиям о поражениях или разговорам в ставке и газетам. Чернов был боевым генералом и много испытал на своем веку. Он участвовал в двух войнах — русско-японской и русско-германской. Он считал своим долгом быть на передовых позициях и потому не любил штабных офицеров и не верил им.

Штабисты, по его убеждению, способны были на самые фантастические выдумки, чтобы только представить начальству положение дел в самом прекрасном свете.

Через несколько дней по приезде встревоженный Чернов поехал на прием к Колчаку.

— А, генерал! Добро пожаловать. Рад познакомиться с вами! — крепко пожимая руку, Колчак усадил его в кресло. — Ну рассказывайте. Как доехали?

— Да что говорить. По нынешним временам, доехал — и слава богу!

— Да, да... Вы правы, времена крутые.

— Не знаю, как кто, а мы ко всему притерпелись, — сказал Чернов, под «мы» подразумевая харбинцев, и вдруг усмехнулся.

Колчак слыл человеком от природы простодушным. Однако раньше, когда он был командующим Черноморским флотом, эта черта характера не казалась недостатком ни другим, ни тем более ему самому. В любом обществе держал он себя непринужденно. Но, оказавшись по воле судьбы правителем России, он заметно переменялся. Теперь говорить, отвечать на вопросы других, шутить или смеяться шутке ему приходилось осторожно — нельзя забывать о своем сане. Невозможность быть самим собой его часто тяготила. Вот и теперь, на мгновение забывшись, он подхватил было усмешку генерала и засмеялся, но тут же оборвал себя.

— Ничего, терпеть, я полагаю, осталось недолго. Вот подавим бунтовщиков и наведем в России порядок. Простите, — Колчак тяжело повернулся, протянул руку к за-  
трещавшему телефону.

Чернов с удовольствием отметил про себя, что Колчак оживлен и бодр. Он не увидел в его лице ни тени тех тревог и сомнений, которые неотступно мучили его самого. Но, быть может, этот бодрый тон выдерживал он специально для генерала, приехавшего из Харбина? Нет, вот и по телефону адмирал разговаривал уверенно и даже как бы радостно.

— О будущем не беспокойтесь, хлеба достанет всем. Имейте в виду, что нынешний урожай всего Поволжья наш! Вот только как там нынче с дождями?..

«Я мнителен, наверное, и дела наши не так уж плохи. Что ж, дай бог, дай бог», — с надеждой думал генерал Чернов. Дурное настроение его стало рассеивать-

ся, и, заметно приободрившись и оживившись, он с интересом, даже с любовью стал рассматривать адмирала. Теперь он досадовал на себя, что отбилсЯ от своих и так долго находился не у дел. Его охватило вдруг страстное желание быть полезным всем начинаниям верховного правителя и весь остаток жизни посвятить великому делу освобождения родины. И ему захотелось сказать адмиралу, что с этой минуты он верный исполнитель его воли.

Но, как назло, в кабинет вошел адъютант, и не успела закрыться за ним дверь, как вошел еще один адъютант, и оба с большими красивыми папками вытянулись перед Колчаком, преданно глядя ему в глаза и ожидая разрешения говорить. Оба адъютанта были стройны, выхолены и одеты с иголки. Серебряные шпоры их позванивали при малейшем движении. В лучах солнца, косо падавших в большое окно, ярко поблескивали их аксельбанты и начищенные пуговицы.

Генерал Чернов насупился. Адъютанты, не желая замечать его хмурого вида, дополняя друг друга, стали читать из своих папок верховному правителю. И чем больше и скорее читали они, тем очевиднее становились успехи и победы на всех фронтах, тем явственнее видны были те меры, которые были уже приняты или еще принимались для решительного удара, для окончательной победы над врагами России в ближайшее время.

Генерал Чернов слушал их доклад, видел, что в то время, как докладывал один, другой поправлял аксельбанты и незаметно одергивал мундир, стараясь выглядеть еще элегантнее и ухоженнее, и, наоборот, когда умолкал первый докладывающий и начинал докладывать другой, то прихорашивался первый. Слушая и глядя на них, он видел, что для них важнее собственные персоны, чем действительное положение на фронтах, и начал краснеть от гнева и думать: «Все эти штафирки — мразь!»

Выговорив все, что у них заготовлено было и что должно было успокоить и обрадовать верховного правителя, адъютанты, по-прежнему не взглянув на генерала Чернова, вышли.

— Ну вот видите, генерал, дела наши, слава богу, идут хорошо. Очень вовремя, очень кстати приехали, генерал,— бодро сказал Колчак.

Генерал поерзал, не зная, как возразить. Кожаное кресло нервно закрипело под ним.

— Простите, ваше высокопревосходительство, я далеко не так уверен в этом, как... ваши адъютанты,— он хотел сказать: «Как вы», — но сдержался.

— Вот как? Не верите...— Колчак принужденно засмеялся.— Как я посмотрю, генерал, вы большой скептик?

Чернов начал было говорить о причинах своих сомнений, но Колчак не дал ему говорить.

— Чепуха! Простите... Вы только что приехали из Харбина, а я каждый день вижу людей, прибывших с фронта. У меня самые свежие вести, и я не имею оснований не верить им.

Колчак резко поднялся, показывая этим, что разговор ему неприятен и что он не намерен слушать мнения непосвященных людей и тем более унылых скептиков, во всем видящих одно плохое и не знающих того, что знает он. Обиженно выпятив подбородок, он зашагал по широкому, просторному кабинету, одну стену которого целиком занимала карта Российской империи.

Генерал Чернов сидел, тяжело утопая телом в мягком кресле. «Скептик!» — с горечью повторил он про себя. После позорной русско-японской войны, когда он стал осторожен в оценках так называемых славных побед русского оружия, ему часто приходилось слышать подобные упреки в свой адрес. Сначала, помнится, его как-то задевало это, потому что он считал себя настоящим русским патриотом, но потом он привык. Мало того, со временем ему стало казаться, что сомнение, трезвость и осторожность в оценке своих сил — прирожденное свойство его характера, и упреки в скептицизме он стал пропускать мимо ушей.

Не обиделся Чернов и теперь. Усмехаясь про себя, он смотрел, как перед ним расхаживали длинные, плохо гнущиеся в коленях адмиральские ноги в черных шевровых сапогах. «...А ноги-то у него журавлиные!— удивился он.— Плохо таким ногам на палубах кораблей». Молчание адмирала все же угнетало его, и он не поднимал низко опущенной головы, пока Колчак наконец не сел.

Раньше Чернов много слышал о Колчаке, но встретился с ним впервые. До революции служили они по раз-

ным ведомствам. А после свержения царя жизнь для Чернова, казалось, лишилась всякого смысла. Остаток жизни он решил провести в забвении, подальше от дел, от сослуживцев, подальше от всего этого чудовищного развала и уехал за границу. Он так не хотел ни о чем слышать, не хотел знать ни прошлого, ни настоящего, что уехал сначала в Японию. Но в Японии он не выдержал долго, затосковал и скоро переселился в Харбин, чтобы быть хоть немного ближе к своей несчастной родине.

Колчак в это время тоже был в Харбине. Убедившись, что монархия не восстанавливается, не видя смысла в продолжении войны с Германией, адмирал покинул Черноморский флот.

Но и в Харбине Чернов не встретился с Колчаком — у них были разные дороги, и во встрече не было необходимости. Наконец судьба свела их в Омске, и после полуторачасовой беседы с верховным правителем Чернов сдержанно простился с ним и хмуро вышел.

Верховная ставка кишела народом. Переваливаясь и сопя, ходили из кабинета в кабинет тучные интенданты, пробегали по коридорам молодые, ловкие офицеры. Совсем еще зеленый прапорщик с военной картой в руках, взбегая через две ступеньки вверх по лестнице, налетел на спускавшегося вниз Чернова. Ни чин генерала, ни возраст человека, с которым он столкнулся, не смутили прапорщика. Не извинившись, недовольно чертыхнувшись себе под нос, он стремительно помчался дальше по своим важным делам.

Чернов почувствовал, как его охватывает тупое безразличие ко всему, что происходит вокруг. Вспомнился ему внезапно старый друг, генерал Рошаль, так же, как и он, приехавший недавно из Харбина. Рошаль тоже не был склонен трубить в фанфары по поводу каждой сомнительной победы, и его тоже, как и Чернова, обвиняли в скептицизме, в неверии в здоровые силы. Но в отличие от Чернова Рошаль не был одинок — вместе с ним жил сын, хороший, образованный офицер...

На улице было ветрено. Чернов поплотнее закутался в шинель. Снег таял. Особенно быстро он растаял на главных улицах, по которым без конца в строю и

просто группами ходили солдаты, ездили всадники и заляпанные глиной извозчики. Местами даже в центре города была непролазная грязь. Хоть весна взялась дружная и теплая, но сегодня дул пронизывающий северный ветер, проникал под шинель, и Чернов, поеживаясь, поднял воротник.

Он ехал в мягко пружинящем на рессорах фаэтоне и вздрагивал каждый раз и брезгливо морщился, когда на него брызгало грязной талой водой из-под копыт лошади. Он оглядывал улицы, по которым проезжал, и видел все военных, военных в английских шинелях, среди которых даже странными казались обыкновенные прохожие.

Город был грязен. Убогие, облезшие дома темнели своими потными окнами. Уныло торчали вдоль улиц избитые снегами и ливнями тополя с раскоряченными, будто клешни рака, голыми ветками. И почему-то ни из одной трубы не шел дым.

Чернов сдвинул брови и прикрыл глаза, чтобы не видеть всего этого убожества. Он весь сжался и даже по-детски втянул в плечи свою сухую длинную шею. Он думал то об этом грязном городе, превращенном в столицу, с его бедными обывателями, с войсками, наполнявшими его, то мысли его опять возвращались к верховной ставке. И тогда перед ним начинали мелькать сияющие, отдувающиеся, сытые интенданты, молодые наглые офицеры, просторные коридоры, светлые кабинеты, мягкие кресла. Колчак, вышагивающий по-журавлиному... Адмирал! Верховный правитель!

Но не только в этот день не мог Чернов составить себе определенного мнения о Колчаке — это было бы самонадеянно, — не мог он составить его и потом. Адмирал, несмотря на то, что прошел суровую военную муштру, возглавлял экспедиции, корабли, флот, казался человеком исключительно простодушным. Даже в его плотном черном адмиральском мундире с тяжелыми золотыми погонами отсутствовала ожидаемая величественность. Чернову представлялось иногда, что вчерашнему адмиралу, не знавшему другой жизни, кроме жизни на море, среди моряков, управлять сегодня самой большой, нелепой и самой противоречивой на свете страной и в самом деле было не по силам. Как будто, забравшись сначала на головокружительную высоту, он

не знал теперь, как оттуда спуститься, растерянно оглядывался кругом и с тайной надеждой смотрел на каждого нового человека, как бы моля его о помощи.

Но, несмотря на свое кажущееся простодушие, доходившее до рассеянности и потворства подчиненным, человеком Колчак был крайне вспыльчивым и неводержанным в гневе. Часто он был мелочно суетлив и нетерпелив и лишался всякого покоя, пока не осуществлял задуманного. И неожиданно странная манера была у него выслушивать собеседника. Серые блестящие глаза его прищуривались, по тонким губам бродила неопределенная усмешка, и собеседник его начинал невольно путаться в мыслях, подозревая: «А не смеется ли он над тем, что я говорю?»

Впрочем, между Черновым и Колчаком скоро установились добрые отношения. Чернов сначала был назначен главным интендантом верховной ставки, но уже через две недели Колчак сделал его заместителем военного министра. Несмотря на свои немалые уже годы, Чернов взялся за дело с юношеским пылом. Прежде всего он объездил все войска, чтобы собственными глазами убедиться в положении на фронте.

Он скоро понял, что после разгрома под Бугульмой армии Колчака грозил полный развал. Дела с каждым днем шли все хуже: в войсках не было подъема, закрепить нигде не удавалось, солдаты не хотели воевать, а красные все усиливали наступление. В армии процветало воровство — воровали все, кто только мог и умел, даже скудный солдатский паек, пока доходил до ротного кашевара, уменьшался наполовину.

Армия поражена была еще и другой бедой. Многие офицеры, не желая расставаться с семьями, возили их с собой. Богатые трофеи, захваченные во время наступления, заполонили все обозы. Особенно много было вещей у высшего офицерского состава — каждого из них сопровождал целый обоз награбленного добра. Для истощенной, изнуренной боями и отступлением армии обозы эти стали теперь настоящим бедствием. Особенно тяжелы были переправы через реки. У мостов скапливались войска, а офицеры в первую очередь старались переправить свои семьи и свои обозы. И если в это время к переправе подходили части красных и начинали обстрел, среди отступавших творился сущий ад.



Солдаты бросали оружие и кидались вплавь, чтобы только не попасть в руки врагов. Войска переправлялись в конце концов и уходили, но на мостах оставались брошенные орудия, тачанки с пулеметами, пароконные фуры со снарядами...

Вернувшись в Омск, Чернов подробно доложил обо всем Колчаку. Колчак фыркал своим большим носом, свирепел и наконец раскричался:

— Да их всех... Всех этих... расстрелять мало!

Чернов усмехнулся про себя и, переждав адмиральские раскаты, заметил, что если расстреливать всех виновных, то армия останется без руководства.

— Да, да... Я погорячился, генерал, вы правы. Но что, что же делать?

— Нужно запретить семейные обозы.

— Прекрасно! Вот и запретите.

— Для этого нужен ваш приказ.

— Ну хорошо, составьте приказ, я подпишу. Да, я подпишу!

Приказ, подписанный Колчаком, Чернов распорядился доставить в армии аэропланом. Но уже на третий день утром Колчак вызвал Чернова к себе.

— Послушайте, генерал,— хмурясь заранее оттого, что предстоял неприятный разговор, начал Колчак.— Оказывается, в армиях не так уж много этих семейных обозов, как вы изволили мне докладывать.

— Но, ваше высокопревосходительство, инспектируя войска, я все это видел сам.

— Да, да. Но вот мне доносят штабы армий... И, наконец, трогать семьи и личные обозы отдельных военачальников,— Колчак нажал на слово «отдельных»,— я считаю нецелесообразным. Пойдут обиды, знаете ли...

— Я вас понимаю, но...

— Нет, генерал, вы меня поймите. Вот мне жалуются на вас...

— Возможно,— уныло согласился Чернов.

— Да, да. Вы, оказывается, объехавши все войска, доброго слова никому не сказали. Да-с!

Чернову вдруг захотелось курить, он похлопал по карманам и поморщился — забыл папиросы в шинели. Колчак замолчал и вопросительно смотрел на Чернова,

ожидая его оправданий. Чернов не поднимал на адмирала глаз.

— Я на вас тоже в обиде, генерал,— добавил совсем по-детски Колчак и посопел, пофыркал носом.

— Понимаю,— Чернов насупился.— У вас папиросы есть?

— Пожалуйста.

Чернов закурил и заметил, как от гнева, который он сдерживал и не мог выразить, дрожит его рука.

— Благодарю. Ваше высокопревосходительство, позвольте обратиться с просьбой.

— Да. Слушаю вас...— Колчак жалел уже, что говорил резко.

— Хочу просить вас об отправке меня в действующую армию.

— Ну, ну, голубчик,— смущенно забасил адмирал.— Вы мои слова не принимайте к сердцу.

— Нет, ваше высокопревосходительство, уж позвольте настаивать на моей просьбе.

Колчак распорядился принести чаю. За чаем он заговорил о постороннем, но Чернов хмурился, отмалчивался, всем своим видом как бы говоря, что он ждет решения. Поняв, что отговорить генерала не удастся, Колчак назначил его командующим Южной армией.

С тех пор прошел месяц. Чернову одно теперь было важно, что он сам себе хозяин, что и Колчак и ставка остались далеко. Но дела в армии были плачевны. Отделенная от Омска огромным расстоянием, армия с каждым днем все хуже и хуже обеспечивалась продовольствием. Из-за непрерывных боев все острее чувствовалась нехватка боеприпасов, которые доставлялись с перебоями. Все это удручало Чернова, он слал в Омск донесение за донесением, в ответ получал одни обещания и обрадовался поэтому, когда его вдруг вызвал к себе Колчак.

Он приехал в Омск днем, а вечером началось заседание совета министров. На заседании присутствовали командующие всеми тремя армиями. Уставший с дороги генерал Чернов то и дело задремывал. Заседание окончилось далеко за полночь. Разминая затекшие ноги, Чернов вышел на улицу и в первую минуту ничего не мог разглядеть со света. Но мало-помалу глаза его привыкли к сумеречному свету уличных фонарей, и он стал

смотреть, как министры рассаживались по машинам, ждавшим их у подъезда. Поглядев, как разъезжаются автомобили, генерал Чернов пошел пешком. Приземистые дома грязного города давно спали. Ставни были плотно закрыты. До рассвета было недалеко. После духоты зала заседаний предутренний холодок был приятен. На улицах не было ни души, лишь изредка попадались конные патрули. Но ни один из них не остановил Чернова и не обратил на него внимания. Подремывая в седле, патрульные медленно проезжали навстречу, всем своим видом как бы говоря: «Ты меня не беспоко́й, ты мне не нужен». Только копыта коней звонко цокали по булыжной мостовой.

«Никому ни до чего нет дела!» — невесело думал Чернов, снова и снова вспоминая заседание совета министров и всех присутствовавших на нем сытых, заплывших жиром, озабоченных только собственным благополучием людей. Что бы они ни говорили и как бы ни несогласен был с ними Чернов, он решил молчать, потому что главным полагал только состояние армии и за этим приехал, об этом хотел говорить с Колчаком. Он один сидел понурый и равнодушный, и седая голова его с поредевшими на макушке волосами опускалась на грудь. «Хоть бы скорее все кончилось», — с тоской думал он.

В конце совещания стали обсуждать вопрос о приезде в Омск послов союзнических стран. Уже несколько дней по городу из дома в дом бродили слухи о визите иностранных послов. Все придавали огромное значение этому визиту и ждали перемен. Встречаясь на улице, знакомые вместо обычного приветствия радостно спрашивали: «Вы слышали? О послах?»

Но когда об этом заговорил на заседании Колчак, члены правительства замолчали, не зная, какое значение следует придать этому событию. Чернов очнулся, поднял отяжелевшие веки и вдруг увидел, как сосед его, министр торговли, будто от удара втянул плешивую голову в плечи, заскрипел креслом, набрался духу и вскочил.

— Господа... — громко и радостно вскрикнул он. — Господа, это великолепно! — И тут же посмотрел на Колчака, как бы спрашивая, хорошо ли то, что он крикнул.

Министр этот вообще был угодлив. Стоило нахмуриться Колчаку, хмурился и трепетал министр. Колчак улыбался — министр хохотал и светился радостью, будто был в эту минуту самым счастливым на свете человеком.

«О господи! Да это старая жирная болонка на задних лапках», — поморщился Чернов. И что сделалось с Колчаком? Как он может терпеть при себе подобные ничтожества? Неужели для того только, чтобы самому ярче выделяться среди этих ничтожных людишек? Или из-за красавицы жены?

Чернов не выдержал и громко крикнул, заворочавшись в своем кресле, и тотчас поймал на себе несколько осуждающих взглядов. Но ему теперь было не до того, кто как на него смотрит. Он поглощен был горестными мыслями. Этих приезжающих послов нужно было бы ждать совсем с иными целями. Облеченные чрезвычайными полномочиями своих правительств, увидев действительное положение дел, послы могли бы оказать настоящую помощь.

И не лучше ли было бы на этом заседании говорить о трудностях, испытываемых армией и населением? Население голодает, армия измучена и деморализована. Мужиков держат в покорности лишь с помощью оружия. Леса переполнены бандами, которых красные называют партизанами. Сверху донизу все поражено воровством, подкупами и прямым мародерством. Ораторы, члены всяких партий, мутят население, натравливают людей друг на друга. Почему об этом не заботится Колчак? Или по примеру всех диктаторов, за короткое время поднявшихся на головокружительную высоту, он не замечает копошащихся у его ног маленьких людей?

Но раз уж едут такие редкие гости — чрезвычайные послы Англии, Японии, Франции, Америки, — если удача сама идет в руки, неужели не использовать момент, и не поговорить с посланниками о своем тяжком положении, и не потребовать у них помощи?

Да нет, куда там, государственные мужи затеяли оживленный разговор о том, как встретить высоких гостей и какие именно почести им воздавать. Пустились вдруг в воспоминания о торжествах и приемах при покойном государе в честь того или иного наследного принца. Потом принялись перебирать подходящие дома,

где бы можно хорошо поместить гостей, и занимались этим долго, потому что найти хороший дом, не говоря уже о роскошном, в этом захолустном грязном сибирском городе было нелегким делом. Наконец, перебрав много домов, остановились на нескольких самых приличных и стали думать, где взять ковры, вазы и мебель, чтобы обставить квартиры. Потом начали сравнивать самые богатые дома Омска, долженствующие стать резиденциями послов, с великолепием императорских апартаментов в Зимнем дворце, и в Царском Селе, и в Красном, и в Петергофе. Потом заговорили о предстоящих парадах и обедах, и каждый старался вставить свое слово, каждый вдруг оказался знатоком и гурманом, каждый, едва выслушав другого, торопился поделиться своими соображениями. Лысины блестели под люстрами, шеи наливались кровью, гул голосов стал громким до непристойности.

С заседания совета министров генерал Чернов ушел подавленный. Ни сам Колчак, ни его министры, ни содержание их речей не удовлетворили его. Он не увидел озабоченности, деловитости, ума, а увидел карьеризм, глупость и равнодушие и возненавидел их, и единственное, что не позволило ему тотчас оставить армию, это честь и долг, как он их понимал.

Пока Чернов был в Омске, Колчак поставил перед Южной армией новые стратегические задачи, приказав круто изменить направление наступления. По приказу Колчака армия генерала Чернова должна была теперь как можно дальше углубиться в необъятные казахские степи. Но чтобы продолжать свое продвижение в степях, Южной армии предстояло захватить город Орск, этот своеобразный степной форпост.

До этого Южная армия продвигалась вперед довольно легко. Однако под Орском белые натолкнулись вдруг на бешеное сопротивление. Красные, хорошо укрепившие город, встретили части Южной армии губительным огнем. Сколько раз ни бросались в атаку на Орск все новые и новые части, огонь красных не только не слабел, а даже усиливался...

Генерал Чернов в ярости отправился назад в ставку. Он ехал, страдая от бездарности приказа, бросившего

его армию в безводные степи, и думал, что единственный человек, который должен понять его и помочь ему, был давнишний друг, вместе с ним приехавший из Харбина, генерал Рошаль. Рошаль, как и Чернов, был одним из немногих генералов, которые после неудачного весеннего наступления настойчиво советовали решительно изменить военную тактику. Рошаль много раз говорил, что оставлять Южную армию отрезанной от остальных войск губительно, что сейчас против красных следует выступать единым фронтом, что единственная разумная тактика — в сплочении всех сил. Его не слушали, его голос был гласом вопиющего в пустыне. Мало того, самые бездарные офицеры, окопавшиеся в ставке и имеющие о войне отдаленное представление, поднимали его на смех, как и Чернова, называя скептиком и старым брюзгой.

Когда генерал Чернов открыл дверь кабинета Рошаля, старый друг его тяжело ходил из угла в угол. Увидев Чернова, Рошаль побагровел.

— Вы знаете, надеюсь, новое распоряжение относительно вашей армии? — спросил он, тяжело подвигаясь навстречу входившему Чернову.

— Знаю. Я как раз и прибыл сюда, чтобы...

— А я знал, знал, что произойдет какая-нибудь гнусность.

— Да, но какая причина была, чтобы толкнуть мою армию на это безумство? Кому это пришло в голову?

— Господи, вы еще спрашиваете кому!

— Колчаку?

— Конечно! Ведь все главные приказы исходят от него.

— Не понимаю. Колчак военный человек. Он же должен понимать, что отрывать в такой момент целую армию от основных сил — значит обрекать себя на неминуемую гибель!

— Я думаю, что Колчак понимает все это не хуже нас с вами. Дело тут совсем в другом.

— В чем же? Ничего не понимаю, — Чернов беспомощно посмотрел на Рошаля. — Разве у нас сейчас не одна цель? Мы должны остановить красных и сами перейти в контрнаступление. Если мы не захватим Самару и Саратов и нынче же не соединимся с Деникиным, все наши надежды пойдут прахом!

— Н-да-с... Надежды у вас большие...

— Нет, но вы-то какого мнения?

— А! Разве от вас или от меня что-нибудь зависит?

— Что же делать в таком случае? Соглашаться с любой глупостью?

— А что мы еще можем? Вот мы с вами твердим, что необходимо все силы собрать в кулак. А нам в ответ именем Колчака приказывают продвигаться по Оренбургской железной дороге и через Ташкент, Бухару, Хиву добираться до Каспия. А приказы нужно выполнять.

— Да что нам делать в каспийских степях, когда опасность грозит непосредственно Омску?

— А вот об этом следует спросить Нокса.

— Выходит, это план не Колчака, а...

— Разумеется, не Колчака. У Колчака и над Колчаком есть Нокс.

Чернов изумленно посмотрел на усталое обрюзгшее лицо старого друга и машинально опустил в кресло. Так он долго сидел, потирая свой большой изрезанный резкими складками лоб.

— Боже мой, боже мой! Но что же будет с нами? Ведь мы все погибнем в пустыне среди туземцев!

— Зато наши доморощенные наполеоны выполнят свое предназначение.

— Но неужели никто не хочет войти в наше положение?

— А! Нет горше глупости, аки глупость. Особенно глупость самонадеянная. Вместо того чтобы защищать уже завоеванное, нам, видите ли, нужно восстановить Российскую империю в ее прежних границах. Нам для этого нужна вся Средняя Азия, ни на аршин не меньше. Мания величия! Иллюзия великой державы!

— Что же делать, что делать, Николай Андреевич?

— Гм... Что делать! — Рошаль сердито покашлял. — Поезжайте назад, к своей армии.

— Вы правы, правы. Надо ехать. Только, Николай Андреевич...

— Да ничего я не могу, голубчик, поймите! Что от меня зависит? Не только власть, но и судьбы наши в руках этих... этих... — Он так и не нашел подходящего выражения.

— Хорошо. Но давайте сходим к адмиралу. Вдвоем нам, может быть, удастся его уговорить.



— Что толку? Заранее вам говорю, адмирал нас не поймет.

— Но почему же? Ему ведь скоро понадобятся войска для защиты Омска. Не так ли?

— Так-то оно так. Да вы поймите, голубчик, что... А, будь по-вашему, пойдемте поговорим. Сами убедитесь, что все напрасно.

Они пошли к Колчаку и, конечно, не застали его. Все эти дни адмирал с утра до вечера сопровождал союзных послов и в ставку возвращался уже поздней ночью. Генералы протомились в ставке весь день, проголодались и поехали наконец в небольшое кафе возле театра. Как ни хотели они поесть и отдохнуть, сидеть долго в кафе они не могли и скоро вышли.

После захода солнца не только грязные и темные окраинные улицы, но и главная улица Омска, Любинский проспект, становилась совершенно безлюдной. На высоких столбах вдоль проспекта редко мерцали тусклые фонари. Изредка встречались конные патрули, охранявшие покой города.

Чернов и Рошаль, думая каждый о своем, молча ехали по тихой ночной улице. Возле столба с фонарем генерал Чернов покосился на своего друга и увидел, как тот стар. Тяжелый двойной подбородок его, прижавший воротник кителя, вместе с жирными плечами, вместе со всем грузным телом старого генерала мягко подрагивал от тряски фаэтона.

— Когда едете к армии? — спросил внезапно Рошаль, будто сам не знал этого.

— Завтра. Крайний срок послезавтра.

— Мой Евгений к вам просится. Я отговаривал, — Рошаль сморщился, — да все напрасно. Еду — и баста!

— Ваш сын мне всегда нравился, вы знаете.

— Не знаю, суждено ли нам встретиться, — особенным голосом произнес Рошаль и посопел. — Бог знает! Так пусть это будет моей последней просьбой: присмотрите за Евгением. Кроме него, у меня никого нет.

Чернов молча потискал колено старого друга и отвернулся моргая.

У подъезда дворца бывшего омского генерал-губернатора, где теперь располагалась ставка Колчака, навстречу им попала Каргинская — известная певица и омская красавица. О связи ее с адмиралом знали все

в городе, и те, кто не мог попасть по своим делам непосредственно к Колчаку, старались заслужить расположение Каргинской.

Как всегда обворожительная, поравнявшись с генералами, она кокетливо повела в их сторону глазами, кивнула и, сияя белизной плеч, пошла к ожидавшему ее автомобилю. Рошаль догадался, что Колчак сейчас у себя. Оглянувшись на Каргинскую, он усмехнулся и тихо спросил у Чернова:

— Видели?

— Хороша!

— Вторая фигура в омском правительстве после Нокса вот эта дама.

— Что ж... Вполне возможно.

— Таков уж удел всех русских правителей: мужчины восседают на троне, а женщины управляют государством.

Едва генералы вошли в приемную Колчака, как из-за стола выскочил и вытянулся перед ними дежурный офицер.

— Адмирал у себя?

— Так точно. Но... придется подождать-с.

— Что такое? Занят?

— Совещается с Бобкиным.

Чернов крикнул, взглянул на высокую, неприступную теперь для них дверь и опустился на свободный стул. «Что ж, нужно ждать, что поделаешь», — подумал он, чувствуя досаду против людей, уединившихся за этой плотно закрытой дверью. Но, как бы он ни изнывал в ожидании, за дверью, по-видимому, никуда не торопились. Прошло уже около часа. Рошаль, опустив седую голову на грудь, давно задремал. Чернов, докурив третью папиросу, встал и, прохаживаясь перед дверью, стал вспоминать все слухи и разговоры о Бобкине. А разговоров было много. Одни говорили, что дед его был ссыльный поляк по фамилии Бонишевский. Бобкиным, по всей вероятности, стал уже отец нынешнего Бобкина. Кем был и что делал этот Бобкин до революции, никто не знал. Но когда Колчак стал главой омского правительства, на тусклом сибирском небосклоне возшла и засияла звезда этого, по-видимому, малограмотного, грубого, но предприимчивого человека. И хоть официальная должность Бобкина, ведавшего хозяйст-

венными делами омского правительства, была более чем скромна, однако власть его была велика.

Несмотря на грубость и ограниченность, этот Бобкин наделен был незаурядным практическим умом и тонким нюхом, безошибочно угадывавшим жизненные перемены. Тогда как другие, растерявшись после свержения государя, или оплакивали погибшую монархию, или надеялись на какие-то социальные перемены, на какую-то демократическую республику, Бобкин сумел быстро, без громких фраз стать самым необходимым для Колчака человеком. Чернов знал все это, знал роль Бобкина, но никак не думал, что тот стал столь могущественным, что в его присутствии не принимают даже генералов, членов ставки.

— О боже мой! — вздохнул Чернов. — Что происходит в мире!

Как раз в эту минуту тихо растворилась высокая дверь. Бобкин вразвалочку подошел к Чернову.

— Э-э... как здоровьице, генерал, а?

— Благодарю вас.

— На вчерашнем банкете, чай, не были, а? Что-то я вас не приметил.

Рошаль нетерпеливо подвинулся к двери и кивнул Чернову:

— Проходите, пожалуйста.

Дежурный, казалось, дремавший до сих пор, вдруг опередил генералов:

— Одну секунду. Сейчас доложу.

Генералы невольно опять задержались у дверей. Бобкина, должно быть, рассмешила генеральская вежливость.

— Да идите, идите, чего там, — ухмыльнулся он. — Кроме самого, никого там нет, ступайте, — и пошел к выходу тяжелой, важной походкой, переваливаясь на своих коротковатых кривых ногах.

В глубине большого кабинета золотом светились на черном мундире Колчака адмиральские погоны. Уронив руки на колени, он устало смотрел на входивших генералов. «Ну что ж, слушаю вас, такова моя обязанность», — как бы говорил весь его утомленный вид.

— Господин адмирал, вы, надеюсь, осведомлены о положении моей армии, — начал Чернов, чувствуя, как

обида за армию и за то, что его заставили так долго ждать, переполняет его.

— Разумеется.

— Если план наступления не будет пересмотрен и моя армия не будет оттянута к Омску...

— Нет, нет, мне уже докладывали. Стратегические задачи диктуют нам как раз обратное, генерал.

— Но наше положение с каждым днем ухудшается, мы оторваны... Господин адмирал, если судьба вверила нам будущность России...

— Об этом не может быть и речи! Кроме того, я дал слово союзникам...

Чернов угрюмо наклонил голову, Рошаль покашливал, глядя в сторону.

— Вы, генерал, должны думать о том, как лучше выполнить план, разработанный генеральным штабом. Есть у вас просьбы?

— Если я буду выполнять план, моя армия с каждым днем все больше станет отрываться от тыла. Я уже не говорю о связи, которая, возможно, совсем будет прервана...

— Ах, боже мой, вы по-прежнему заражены скептицизмом! Как можно воевать с такими настроениями? На войне, знаете ли, не без трудностей, но нужно же верить в конечную победу. Так какие же просьбы?

— Нам уже не хватает оружия и боеприпасов. С продовольствием из рук вон плохо. Но бог с ним, с продовольствием, на этот раз я должен привезти хоть боеприпасов вдоволь.

— Хорошо, хорошо, будут вам боеприпасы, я прикажу.

— Боюсь, ваше высокопревосходительство, откладывать с доставкой оружия больше нельзя ни на день.

— Хорошо, я же сказал! Отправляйтесь к армии, следом за вами завтра же выйдет обоз со всем необходимым. Союзники, слава богу, нас пока не обижают...

Вспомнив о союзниках, Колчак почувствовал внезапно, как он устал. Все последние дни с утра до вечера проводил он с послами союзных держав, возил их на инспекционные смотры, присутствовал на бесконечных обедах, говорил бодрые речи... Теперь он вдруг сразу опустил плечи, прикрыл глаза и начал рассеянно бара-

банить пальцами по столу. Потом выпрямился и нахмурился.

— Кстати, генерал, я давно собирался вам сказать... Я недоволен вами. Да-с! Вы равнодушно относитесь к героизму вверенных вам войск. И в штабе у вас сидят одни бездельники. До сих пор я не видал ни одного списка, ни одного наградного списка отличившихся в боях солдат и офицеров.

— Виноват, ваше высокопревосходительство, до сих пор я озабочен был другим. Наградные списки будут вам тотчас доставлены.

— Нехорошо. Отличившихся необходимо отмечать.

Дверь отворилась, и в кабинет адмирала вошли заместитель военного министра и полковник Федоров, временно исполняющий обязанности дежурного генерала ставки. При виде Федорова Колчак сразу забыл обо всем и начал багроветь от гнева.

— Какой приказ был подписан мною о подполковнике Борисове? Я спрашиваю!

Несколько дней назад к Федорову поступил подписанный Колчаком приказ о присвоении мужу Каргинской Борисову звания полковника. Зная, что никаких заслуг перед русской армией у Борисова нет, кроме той, что он является мужем красивой женщины, Федоров рассудил за благо положить приказ в долгий ящик.

Вчера на банкете в честь союзных послов, целуя руку у Каргинской, Колчак увидел ее мужа, почтительно стоявшего позади.

— Что такое?— удивился адмирал.— А я надеялся сегодня увидеть вас полковником.

— Ах, адмирал,— улыбаясь, но со злыми нотками в голосе сказала Каргинская.— Николай не виноват, что вы не исполняете обещаний.

— Но здесь недоразумение, уверяю вас! Я распорядился...

— Значит, есть люди, не считающиеся с вашими распоряжениями.

— Гм... Вот как?

— Николай, как его... ну, этого противного человека?

— Федоров, ваше высокопревосходительство,— с тайным удовольствием, но в то же время как бы обиженно проговорил Борисов.

— Да, да, Федоров, противный,— вспомнила и Каргинская в то время, как Колчак, опять целуя и пожимая ей руку, бормотал, что все будет сделано.

— Так какой приказ вы получили о Борисове?— кричал теперь весь красный Колчак.

Побледнев, Федоров начал было говорить, что Борисов не заслуживает повышения в чине, но адмирал не дослушал его и ударил кулаком по столу.

— Молчать! Кто верховный правитель, вы или я? А?

Федоров молчал. Молчание его, казалось, еще больше взорвало адмирала. Вскочив, трясущейся большой рукой Колчак стал с треском рвать погоны на Федорове.

— Разжаловать...— задыхаясь, вскрикивал он.— На передовые позиции... В Азию! Обнаглел! Вы! — закричал он уже заместителю военного министра.— Вы мне отвечаете... Чтобы духу его не было в Омске! На фронт!

Чернову неприятна была эта сцена, но в то же время он и злорадствовал в душе. Он считал, что во всех неудачах на фронте виноваты такие вот штабные шаркуны. Это они, думал старый генерал, подсовывают Колчаку заведомо ложные сведения, им ничего не стоит положить под сукно тревожное донесение, просьбу о присылке вооружения. И не только Федорова, а всех этих изолгавшихся, пригревшихся на своих спокойных местах гнать надо на фронт! «Здесь легко оперировать приказами,— думал Чернов.— Легко кричать: победа! Победа! А вот пусть-ка добудет эту самую победу! Да-с! Пусть добудет кровью!»

Федоров с посеревшим лицом, сутуля ободранные свои плечи, вышел, беззвучно прикрыв за собой дверь...

На другой день генерал Чернов отправился к своей армии. Из Омска выехал он поездом и, проведя день и ночь в дороге, на рассвете прибыл в Курган. Там его ожидала оставленная автомашина. Отдохнув с дороги и плотно пообедав на станции, Чернов поехал дальше уже на автомобиле. Его сопровождала небольшая свита, среди которой был и молодой ротмистр Рошаль.

Вспоминая прощание с генералом Рошалем, Чернов думал, что, даже когда сын его жил с ним, старый генерал был невесел. Теперь же, когда сын уехал далеко, у бедного отца, должно быть, кошки скребут на душе.

Прощался старик Рошаль с сыном так, будто никогда уже больше не суждено было им встретиться.

Они ехали, не останавливаясь, но вперед продвигались медленно. Дорога была отвратительная, автомобиль прыгал, трясся и скрипел и из-за ухабов никак не мог набрать хорошей скорости. Кроме того, чем ближе они подъезжали к передовым позициям, тем чаще дорога оказывалась запруженной обозами с ранеными и отступающими частями. Среди бесконечной вереницы бредущих навстречу солдат то и дело попадались обозы, груженные какими-то вещами, полевые кухни... Кроме генерала Чернова, никто не ехал на запад, весь этот поток людей стремился на восток. Никому не было дела до будущего России, никто, казалось, не думал о своем гражданском долге. Что же происходило на земле?

Низко надвинув фуражку, Чернов из-под козырька пристально вглядывался во встречных. А навстречу брели уже беженцы — семьи офицеров, крестьяне. Почти все они шли пешком, гнали голодную скотину. Не лучше было и тем, кто сидел на грязных подводах; подпрыгивая на кочках, тоскливо съезжившись, безучастно поглядывали кругом измученные женщины и дети.

Чернов знал, конечно, что две другие армии Колчака отступают, но никак не предполагал, что дело обстоит так худо. По всему было видно, что у отступавших войск не было уже сил противостоять преследовавшим их красным и что теперь они вряд ли остановятся до самого Омска. Чернов опять подумал о союзных послых, что недаром, видно, так спешно покинули они сибирскую столицу. Неужели они первые почувствовали, что карта Колчака бита? Но такова уж природа людей, редко кто, еще вчера пресмыкавшийся перед тобой, не отвернется от тебя в трудный час. Видно, закатилась звезда Колчака и прошло его время...

Раны Чернова, полученные им на двух войнах, давно уже не напоминавшие о себе, начали вдруг ныть. И еще отвратительней сделались ему весь этот безумный мир и суетная жизнь, которой он жил все эти годы. Один вопрос бился в нем неотступно: зачем? Зачем?

Государя нет более, весь привычный уклад жизни разрушен, как будто разворочено теплое, уютное гнездо. Дни Колчака — последней его надежды — сочтены. Жена и дочь остались в Петрограде, давно уже не было



от них никаких вестей, и неизвестно было, живы ли они. И Чернов даже порадовался слабо, что уехал из Омска. «Хорошо сделал, умно поступил! Все-таки поближе к армии, к солдатам. А там... ни черта не знают и не умеют. Хорошо, хорошо, лучше подальше от них», — облегченно думал генерал, и ему хотелось перекреститься — дальше, что бог пошлет!

На третий день утомительной езды они круто свернули на юг и начали углубляться в бесконечные степи. Чернову казалось уже, что он проехал полсвета, пока добрался до своей армии.

Захватив через два дня Орск, Южная армия стала занимать казахские земли. Чем дальше и шире продвигались они по этим печальным бескрайним степям, тем слабее и случайнее становилось сопротивление красных. Чернов не сомневался больше, что не сегодня-завтра его армия возьмет Актюбинск. Офицеры его штаба опять повеселели и все чаще стали поговаривать о скором захвате всей Средней Азии. Один Чернов помалкивал. Со дня приезда из Омска его не покидало мрачное расположение духа. В свите его поговаривали, что у командующего после простуды разболелись раны...

## VI

Под Актюбинском вопреки предположениям белого командования красные оказали вдруг яростное сопротивление. Особенно хорошо дрались рабочие отряды. И только когда многочисленные белые полки стали окружать город, красные вынуждены были отступить. Передовые части Южной армии вошли в Актюбинск.

Молодой горячий адъютант, тот самый, что смеялся над Еламаном, примчался прямо с поля боя и осадил взмыленного коня перед генералом Черновым.

— Город взят, господин командующий! — радостно выпалил он.

Генерал приложил руку с камчой к козырьку фуражки.

— Поздравляю, голубчик! Благодарю за службу!

— Рад стараться, ваше превосходительство!

— Потери большие?

— Не думаю. Хотя точных сведений нет.

— Хорошо. Пленных много?

— Пленные есть. Я не успел справиться, господин командующий.

— Видели вы ротмистра Рошалья?

— Так точно! Все время был в первых рядах!

— Разыщите его и пришлите ко мне.

— Слушаюсь.

Молодой адъютант круто повернул коня и помчался назад, к городу. Генерал, не глядя на толпившуюся за ним и радостно переговаривающуюся свиту, слегка тронул белого своего аргамака шпорами. Аргамак, нервно поплясав, выправился и пошел таким крупным шагом, что свита, чтобы не отстать, вынуждена была перейти на легкую рысь. Среди свиты командующего находился и Еламан. Рза и Али, не отпуская его ни на шаг, ехали с ним рядом, стремя в стремя. Ссылаясь на заброшенные дела и семьи — свою и своих джигитов, — Еламан уже раза два принимался отпрашиваться домой, но генерал удерживал его. Сначала он хотел показать Еламана иностранным военным специалистам, инспектирующим армию Колчака. Но специалисты все не ехали, а дня два назад дошел слух, что они вообще не приедут.

Еламан вел себя сдержанно, будто его ничто не касалось, однако ухо держал остро. Всю дорогу он старался быть в свите генерала и внимательно слушал все разговоры и толки, которыми обменивались офицеры. Однако, кроме того, что из Омска в Южную армию выслан большой обоз с оружием и боеприпасами, он ничего не узнал. Пребывание Еламана в штабе Южной армии явно затягивалось, и Еламан думал, что Дьяков, должно быть, места себе не находит. «Как только вступят в Актюбинск, отпрошусь и уеду. Обязательно», — твердо решил Еламан.

Впереди на дороге за клубилась пыль, и скоро стало ясно, что навстречу штабу кто-то скачет во весь опор. Молодой Рошаль на своей куцехвостой гнедой кобылке остановился прямо перед белым аргамаком Чернова. Правая рука у Рошалья висела на перевязи, сквозь марлевую повязку просачивалась кровь.

— Прошу прощения, господин командующий.

Чернов, насупясь, молча послал своего аргамака вперед. Некоторое время он ехал, глядя прямо перед со-

бой, потом слегка повернулся к следовавшему за ним с виноватым видом Рошалю и строго сказал:

— Ты же знаешь, что я отвечаю за тебя перед отцом. Лихим рубакой захотелось прослыть, геройствуешь? Рана серьезная?

— Чепуха. Кость цела.

— Потери у нас большие?

— Порядочные. Крепко дрались большевички.

— Пленных много?

— Да нет,— как-то неохотно протянул Рошаль.

Чернов кивнул и дал коню шенкеля. Рошаль, поспевая за ним, оглядывался.

— Кто это, Борис Викторович? — спросил он, заметив Еламана.

— Где? А-а... Наш союзник.

— Говорили, к вам приехал хан какой-то, это он?

— Что ж, чтобы польстить самим себе, можно его и так называть,— чуть улыбнулся Чернов.

Горечи, скрывавшейся за этой улыбкой, Рошаль не уловил. С любопытством разглядывал он степного азиата, уверенно державшегося среди офицеров. Разглядывал и поражался: так вот какие ханы! Во всяком случае, наряжен этот азиат был по-хански, и фигура была у него хороша, и рост и усы прекрасны. Казалось, он ни на кого не смотрел и не замечал ничего вокруг, занятый своими думами, но что-то в его лице было настороженное, и взгляд был остр и зорок. «Вот оно, азиатское коварство!» — с удовольствием решил про себя Рошаль.

— Мурза! — позвал Чернов, оглядываясь на Еламана.

Еламан, слегка тронув повод, догнал, поравнялся с генералом.

— Познакомьтесь, мурза. Ротмистр Рошаль. Сын моего старинного друга.

Еламан как бы впервые внимательно взглянул на молодого офицера и тут же отвел глаза. На самом деле разглядел он его давно. Приложив руку с камчой к груди, он склонил голову в высокой шапке из выдры.

— Очень рад,— сказал Рошаль, козыряя.

— Друг моего друга — мой друг,— ответил Еламан.

Рошаль усмехнулся, подумав: «Уже и друг!» — но что сказать в ответ, не нашелся и смущенно покашлял.

Еламан был внимателен к лицам. Глядя на молодого офицера, он вспомнил турецкий фронт, лютые морозы, покрытые снегом горы кругом и рабочий батальон, в котором люди мерзли от болезней и голода. Казахи, узбеки, киргизы, надрываясь, под яростным обстрелом спешно восстанавливали взорванную турками при отступлении железную дорогу. Подвоза продовольствия не было, тиф косил людей, и работа по восстановлению дороги почти не двигалась. Тогда-то на помощь рабочему батальону и прибыл эскадрон Рошалья. Братишка Рай, едва выжив после тифа, еле держался на ногах, а конопатый рыжий солдат, озлобленный тем, что их пригнали помогать каким-то инородцам, вдруг ни с того ни с сего ударил его...

И вот командиром того конного эскадрона был ротмистр, который ехал теперь рядом и который был тогда совсем юным офицером. Да, да, это он! И не постарел с тех пор, и в чине не повысился. Еламану вспомнился даже конь, который был тогда под ним, вороной, со звездочкой на лбу. Только ротмистр, уж конечно, не помнит Еламана, да и навряд ли вспомнит, если ему даже рассказать о том случае.

А тяжелое было время. До того тяжелое, что, глядя на смерть товарищей, каждый думал и о своей скорой смерти, и никто не надеялся выбраться оттуда. И то ли оттого, что этот молодой красивый офицер был живым свидетелем того времени, то ли оттого, что воспоминания о незабвенном Райжане, как всегда, перевернули всю душу, только Еламана потянуло к Рошально и захотелось узнать его поближе.

— Кровоточит еще рана, а? — участливо спросил он.

— Да, вот въедем в город, перевяжу еще раз.

— А по-нашему, лучше всего паленой кошмой прижечь.

— Кошмой?

— Ну да. Быстро заживает.

— Вот как? Гм... — Рошаль засмеялся. — Нет уж, в городе найду фельдшера, попрошу сменить повязку.

— Как хотите. — Еламан помолчал. — А генерал, видать, любит вас?

— Они с моим отцом давнишние друзья.

— А где ваш отец?

— В Омске. Простите, я не знаю вашего имени.

— Танирберген,— после мгновенной паузы сказал Еламан.

— Как? Как вы сказали?

— Танирберген.

— Тяни... бр... бр... Нет, не выговорю! — отчаянно сказал Рошаль и захохотал.

— Для русских трудное имя.

Так они ехали бок о бок долго. Генерал Чернов изредка оглядывался, посматривал на них. Рошаль еще не остыл после недавнего боя, был возбужден и весел. Мурза сдержанно улыбался и казался благодушным; заметно было, что Рошаль ему нравился.

— Скажите,— приставал к Еламану Рошаль,— у киргизских ханов гаремы есть? Вы понимаете, о чем я спрашиваю?

— Понимаю. Только мы говорим: харамхана.

— И сколько жен можно иметь хану?

— А сколько он может...

— Черт возьми, интересно! И почему я не хан киргизов!

Рошаль вообразил себя в гареме и захохотал так, что почувствовал боль в руке. Еламану все больше нравился молодой ротмистр, лицо его смягчилось. Глядя на хохочущего Рошаля, он и сам начал улыбаться.

— Тан... Нет, Тя-нибр... Простите, мурза, скажите еще раз ваше имя.

Еламан не обиделся и решил рассказать Рошально известный анекдот, надеясь, что тот его не знает.

— В детстве вместе со мною,— начал он, усмехаясь,— учился один мальчик. Первая арабская буква «алиф» похожа на единицу. Вот мулла чиркнул разок по бумаге и сказал: «Смотрите, буква «алиф» точь-в-точь как палка. Понимаете, палка!» Целый год учился этот мальчик, а все не мог запомнить букву. «Что это за буква?» — спрашивает мулла. Тот все думает-думает и говорит: «Палка!» Через год мулла снова спрашивает: «Что за буква?» Тот думает-думает, в затылке чешет и опять говорит: «Палка!» Рассердился мулла. «Вот дурак! — говорит.— Заладил: палка, палка... На тебе палку!» И — хлоп! — его камчой по башке. Тогда тот сразу...

Смеясь и морщась от боли, Рошаль поддерживал снизу больную руку. Насмеявшись, он уселся поудобнее

в седле и посмотрел на Еламана, как бы оценивая серьезность его истории.

— Однако я вовсе не хочу, чтобы меня, как вашего дурачка, лупили по голове. Итак, что же? Хотите, я буду называть вас ханом? А интересно, ваши предки тоже ханами были?

— Да,— важно сказал Еламан, посмеиваясь в душе и над собой, и над ротмистром.— И отец, и отец моего отца — все были ханами. И я хан! — добавил он гордо.

— Господа! Господа! Въезжаем в город! Торжественный момент, господа! — раздались в это время оживленные голоса в группе офицеров.— Жаль, что нет музыки.

— Нет, музыка что! Сейчас бы шампанского, господа, а?!

Еламан огляделся, и улыбка мигом сбежала с его лица. Город, казалось, задыхался после боя, объятый дымом и пылью. Всюду валялись убитые. На окраинном склоне горели дома, и зловещий черный дым клубами плыл над павшим городом...

## VII

По приезде из Омска ротмистр Рошаль сразу был назначен адъютантом командующего армией. После городской жизни, после утомительных кутежей и похмелья, из которых состояла эта жизнь, он так обрадовался перемене, что первые дни почти не слезал с коня. Быстрее всех доставлял он приказы командующего в дивизии и полки. И тут же сломя голову мчался назад, спеша доставить командующему очередное донесение.

Но так пришедшаяся по душе новая должность скоро ему надоела. Он стал проситься на передовую, Чернов и слушать его не хотел. Видя его непреклонность, Рошаль решил подождать более удобного случая. На людях он бодрился, казался веселым, легким человеком. Наедине с собой он мрачнел, отчаяние и скука охватывали его. В такие минуты чаще всего думал он о матери и отце. Мать его осталась одна в Петрограде, среди чужих, злобных людей. Правда, сначала с ней жила и его молодая жена. Теперь мать одинока... Впрочем, сейчас все одиноки — и отец, и он

сам, и генерал Чернов. И Колчак одинок! Только тупые болваны не могут этого понять, а умные давно махнули на все рукой. Когда в такое время хочешь жить безмятежно, спокойно, прежде всего нужно махнуть на все рукой и выдумать себе счастье. Как это... у этой декадентши Гиппиус? «О, как мне хочется того, чего не бывает, никогда не бывает...» Сволочь! А ты живи и верь в то, чего не бывает, никогда не бывает, утешай себя несбыточным.

Он забывался, когда был пьян. Пил часто и помногу. Ночевать чаще всего ездил к девкам, приезжал домой под утро. Однажды друзья привезли его домой за полночь. Держась за стенку, он прошел в столовую и тут увидел отца. В ночном халате тот спал в большом, с широкими подлокотниками кресле. Грузное тело его бессильно обмякло, седая голова упала на грудь. Как ни пьян был молодой Рошаль, ему стало стыдно.

Закусив губу, на цыпочках, помогая себе расставленными руками, как канатоходец в цирке, прокрался он мимо отца к себе в комнату. В комнате у себя он чуть не упал и схватился за шкаф. Сделав грозное лицо, он приложил палец к губам и сам себе предостерегающе зашипел:

— Тсс!

Повалившись на кровать, он бросил фуражку на пол, стащил сапоги. Начал было расстегивать китель, но тут же провалился в черноту.

Проснувшись на другой день, он долго прислушивался. Отца не было дома. Опять они не повидались и не поговорили. «К черту! Брошу пить, к черту!» — страдая с похмелья и мучась от стыда, в который уже раз решил он. Но тут в кабинете отца зазвонил телефон. Ротмистр с трудом поднялся и, держась за голову, побрел в кабинет. Приглашали на торжественный ужин в честь союзных послов.

К ужину Рошаль несколько запоздал, все были уже в сборе. Раскланиваясь на ходу то с одним, то с другим, он стал искать женщину, с которой последнее время была у него связь. Едва он нашел ее, и приложился к ручке, и выслушал какие-то упреки, как в зал вошла Каргинская с мужем, подполковником. Где бы ни появлялась эта актриса, все разговоры тут же прекращались, и все — откровенно или исподтишка — начинали



следить за нею, любовались ею, так была она хороша. Оглядевшись, Каргинская нашла глазами Рошала и его белокурую даму и тут же направилась к ним. Подойдя и длинно поглядев на ротмистра, она повернулась к его спутнице и восхищенно прищурилась, любуясь ее бальным платьем, ожерельем и серьгами.

Каргинская не завидовала ни одной женщине, так как была убеждена, что красивее ее в Омске никого нет. Мало того, она любила общество красивых женщин, потому что, по восточной поговорке, чем больше на небе ярких звезд, тем светлее становится луна. Зная силу своей красоты, она не особенно увлекалась нарядами, зато старалась как можно больше оголить свое тело. Всем своим видом она как будто говорила мужчине: «Смотри, смотри, какие у меня плечи, какая грудь и все остальное, что, к сожалению, скрыто! Любишься мною! Не желаешь меня? А теперь посмотри на свою жену!» И чем больше сходила по ней с ума городская молодежь, тем сильнее ненавидели ее женщины.

Спутница Рошала ненавидела ее так, что каждый раз терялась в ее присутствии и не могла поднять глаз. Она и теперь то бледнела, то заливалась краской.

Насладившись уничижением соперницы, Каргинская вдруг протянула томно:

— Дорогая, ты нынче очаровательна.

С непорочной девичьей стыдливостью опуская в смущении глаза, пошла та к столу, сопровождаемая мужем и Рошалем. Гости — дамы, офицеры, послы, министры, генералы, — умеренно гремя стульями, занимали места за длинным столом.

Каргинская села в верхнем конце стола, заняла возле себя место для Рошала и позвала его взглядом. Но Рошаль только поклонился издали и сел рядом со своей дамой. Последнее время он избегал открытых встреч с актрисой, предпочитая им тайные свидания.

Дама Рошала видела, как Каргинская приглашала ротмистра сесть рядом и как тот отказался. Она даже похорошела от торжества, обнаженная ее грудь матово белела в свете люстр, и весь вечер она уже ни на кого не смотрела, кроме как на Рошала. Раздраженный, мрачный муж ее несколько раз шептал ей на ухо, что нужно соблюдать хоть какие-то приличия. Она его не слушала. Повернувшись к Рошалю, она смотрела на

него загадочно и порочно из-под ленивых ресниц, и взгляд этот бесил Рошаля и выводил его из равновесия, потому что напоминал ему взгляд его жены. Именно так смотрела его жена на всех мужчин последнее время...

Юную девушку с густыми черными волосами, худощавую и слегка похожую на цыганку, ставшую потом его женой, он любил давно, еще зеленым юнцом. И чем дальше, тем любовь его была мучительней, потому что он никак не мог набраться смелости объясниться. Но однажды девушка сама пришла к нему, притихшая, дрожащая. Закусив губу, глядя в сторону, она вдруг вынула из кармана и протянула ему надушенное письмо и, будто ужаснувшись своему поступку, убежала. «Я не могу жить без вас!» — было сказано в том письме.

Они поженились. Она была угловатой, непосредственной, как ребенок. И любила она неумело, порывисто и экспансивно. Эта смуглая нескладная девочка-жена провожала его на фронт. Она сунула ему в карман письмо и трагически шепнула: «Прочтешь, когда отойдет поезд!» Он потом долго хранил голубоватый листок, на котором кровью было нацарапано: «До гроба твоя!»

А вернувшись через два года с турецкого фронта, он не узнал своей жены. Что-то новое, незнакомое Рошалью появилось в ее взгляде. Ресницы ее, как и у его дамы, стали ленивы, грудь и плечи округлились, налились тяжестью, а глаза стали порочны. Они уже не смотрели открыто и доверчиво, как раньше, они зазывали, обещая любовное исступление... И Рошаль тотчас почувствовал стыд, неловкость и натянутость по отношению к женщине, которую он вспоминал по десять раз на дню все эти два года и которая обещала быть до гроба его. Уже в Сибири до него глухо дошла весть о том, будто бы она уехала с кем-то в Париж. «И черт с ней!» — решил Рошаль и с тех пор презирал женщин.

Рошаль пил рюмку за рюмкой и скоро привычно опьянел, а опьянев, стал с ненавистью следить за всем, что делалось за столом. А за столом произносились тост за тостом. Но хоть выпито было уже немало, гости что-то не становились оживленнее, посматривали на Колчака, на послов, будто ожидая чего-то важного. Колчак, чувствуя сковывавший всех холодок, повернулся к американскому послу и стал рассказывать тому что-то

смешное. Но, не добравшись еще до соли своего рассказа, он, как это часто бывает с простодушными людьми, начал смеяться первый, и американский посол в недоумении только поднимал брови и холодно улыбался.

Почти всех послов Рошаль успел узнать раньше, когда был во Владивостоке в составе военной делегации. О послах говорили разное. Французский посол, например, был пылок и любил громко изъясняться в любви к своим старинным союзникам. Английский посол хорошо говорил по-русски. Свое знание русского языка он выдавал за признак особенной своей близости и любви к русскому народу. Он прекрасно знал также весь Восток и особенно почему-то Восточную Сибирь. Японский посол вечно что-то утаивал и недоговаривал. Узкие полуприкрытые глаза его за толстыми стеклами очков никогда не смотрели прямо на собеседника. И никогда не бывал он взволнован, патетичен или гневен, а всегда улыбался вежливой постоянной улыбкой, показывая из-под короткой верхней губы два больших желтоватых зуба, тогда как мысли его были припрятаны так глубоко, что казалось, их никогда не узнать. Он предпочитал расспрашивать, а не отвечать на вопросы, требовать, а не давать обещания.

И теперь за столом пьяный Рошаль особенно отчетливо видел плохо скрытое высокомерие в каждом из них. Они сидели, одетые в безукоризненные смокинги, под которыми было у них надето чистое шелковое белье, они пили русскую водку и ели русскую икру, притворяясь друзьями, а на самом деле презирая всех русских и вообще всю эту чудовищную, на их взгляд, страну. Теперешняя Россия была для них большим издыхающим зверем, который чем скорее издохнет, тем лучше, и которого нужно потом поделить между собой. Рошаль глядел на них, стекленея глазами от ненависти, и видел в них хищников, собравшихся к еще живой, еще слабо ворочающейся, но обреченной добыче. Да, вот они — настоящие хозяева сегодняшнего мира, эти хищники!

Рошаль не замечал уже, что его дама давно скучала, и сидел злобный, бледный. Зато ее состояние заметил подполковник Федоров. Он встал со своего места, подошел к ним сзади и, не обращая внимания на мужа, шепнул ей на ушко:

— Обрати внимание, если бы не погоны, то наш ротмистр очень смахивал бы на Христа с картины Иванова... Ха-ха-ха!..

Подполковник Федоров давно волочился за ней и не упускал случая уязвить в ее глазах Рошалья. Рошаль, белый, бешено повернулся к Федорову:

— Все смеешься?

— А почему бы и нет? Не на поминках ведь сидим.

— А для таких, как ты, и поминки по России — веселая пирушка!

— Скот-тина! — отчетливо сказал Федоров и усмехнулся опять. — Ты пьян.

— Я пьян, а тебе весело? Весело, когда Россию продают, сволочь?

Багровое от водки лицо Федорова сразу стало серым.

— Вста-ать, мерзавец! — прошипел он. — Идите за мной!

Ротмистр Рошаль, не сказав ни слова, поднялся и пошел за Федоровым. Поколебавшись секунду, за ними бросилась дама Рошалья, догнала и стала между ними.

— Господа, опомнитесь! — взволнованно заговорила она. — Позор! Ради бога, прошу вас, умоляю, опомнитесь...

— Щенок! Мальчишка! — не унимался Федоров. — Я его проучу! Я покажу ему...

— Ах, боже мой, настоящий мужчина должен быть снисходителен... Умоляю вас, вернемтесь в зал.

Рошаль торопливо закуривал дрожащими руками, огонек спички прыгал.

— Ни в какой зал!.. — хрипел Федоров. — К... матери! Пусть сейчас же попросит прощенья!

— Я думаю, здесь не место для скандалов, — с усилием выговорил Рошаль. — Завтра я к вашим услугам в любой час. Да, да, в любой час. Слышите?

— Быть посему, — буркнул Федоров и, холодно кивнув белокурой даме, ушел.

Она схватила Рошалья за руку.

— Господи, что вы придумали! Стреляться, боже мой! Зачем? — возбужденно говорила она, страстно прижимаясь к нему.

— Ничего страшного, уверяю вас, да и он струсит, — успокаивал ее бледный Рошаль.

— Ах, я боюсь, боюсь... Я полна нехороших предчувствий.

— А я боюсь только мужей красивых женщин,— улыбнулся Рошаль, бросил папироску и, взяв даму под руку, повел ее в зал, где в это время начались танцы.

### VIII

Подождав, пока генерал Чернов устроится со своим штабом в захваченном Актюбинске, Еламан пошел к нему. Он с достоинством опустился в кресло, на которое указал ему генерал, и опять повторил свою просьбу:

— Я уже долго нахожусь в отъезде и убедился в силе вашего оружия. Дома меня ждут семья и хозяйство. Вот и сено пора косить. С вашего разрешения, я хотел бы вернуться в аул.

Генерал Чернов, выслушав его, подумал и согласно кивнул. На прощанье он от имени Колчака наградил Еламана медалью. Потом, желая показать мурзе свое уважение, попросил Рошалья сопровождать мурзу и его джигитов до ближайшего городка.

Они уже довольно далеко отъехали от Актюбинска, когда в голову Еламана закралась коварная мысль: а не захватить ли этого беспечного офицера в плен? Схватить и связать его было очень просто — Рошаль был один и ничего не подозревал. Ехал он стремя в стремя с Еламаном и изредка усмехался ни с того ни с сего. Еламан искоса посматривал на него и удивлялся про себя, очень уж злая усмешка появлялась у офицера. Должно быть, Рошаль почувствовал Еламанов взгляд, потому что он вдруг резко повернулся к нему и сказал:

— Есть, мурза, у меня один приятель,— и опять усмехнулся.— По фамилии Федоров...

Еламан вздрогнул и почувствовал, как жаркая волна прошла у него по телу. Сдержавшись, он улыбнулся и пошутил:

— А что, не похож ли он на моего приятеля, который принимал букву «алиф»<sup>1</sup> за палку?

---

<sup>1</sup> В арабском алфавите буква «а».

Но Рошаль теперь не расположен был шутить. Злая усмешка его прошла, и лицо приняло враждебное выражение.

— Нет-с, он не из таких, мурза. Он на меня с вами не похож. Судьба его будто нарочно создала для нашего времени. Таким и нужно теперь быть — грубым, жестоким...

— Офицер, да?

— Да, офицер. Не знаю, понятно вам или нет, но у нас есть такое слово — рубака. Так вот он жестокий рубака.

— Э, такое слово и у казахов есть. Только у нас таких называют... Как сказать? Э-э... Кто вместе с волосами голову снимает, да?

— Да, да, у вас, пожалуй, определение лучше. Так вот, мой приятель как раз из таких.

— Дети часто идут по стопам отцов. У вашего приятеля отец тоже, наверное, был рубака?

— Да нет, кажется. Я слышал, что отец его был купцом где-то здесь, в ваших степях. Рассказывали еще, будто его киргизы убили.

— А-а... Обидел, наверно, крепко. Мы, степняки, народ смирный. Просто так руку на русского бая не поднимешь.

Рошаль придержал разошедшегося было крупной рысью коня. Он не смотрел больше на Еламана, а задумчиво следил за полевой трясогузкой, чуть не от самого Актюбинска перелетавшей перед ним на расстоянии брошенной палки.

— Ну и что же ваш приятель? — помолчав, решился спросить Еламан. — Воюет? В Южной армии, наверно?

— Нет, он жил в Омске, а сейчас едет к нам.

— Воевать захотелось?

— Не знаю. Знаю только, что он ведет обоз из Омска.

— Э, хоть и рубака, а больше, видать, хозяйством занимается?

— Да нет, он строевой офицер, всю войну на передовых. И везет он не простой обоз, а с оружием.

— Слава аллаху! И много оружия?

— На здешних большевичков хватит. А ведь мы с вами, мурза, наверное, скоро встретимся.

— Как так?

— Да ведь мы скоро будем в Аральске.

— Очень хорошо! А когда?

— В ближайшие две недели.

— Очень приятно. Приедете ко мне, дорогим гостем будете.

— Танир-бр...— начал было Рошаль и улыбнулся.— Мурза, посмотрите-ка на эту маленькую птичку,— он стеклом показал на бегущую впереди по дороге трясогузку.

— А, это очень хорошая птичка. Ее тянет к людям. Особенно она любит одиноких путников. Всегда летит впереди.

— Об этом как раз я и хотел сказать. Вы, должно быть, не знаете, что в морях водится особенная рыба — лоцман. Особенность ее заключается в том, что она всегда плывет впереди акулы. Так вот, эта птичка напомнила мне рыб-лоцманов.

— Да. Много интересного на свете,— задумчиво отзывался Еламан.

— Это вы о птичке?

— Да нет, о рыбке этой,— сказал Еламан, вспомнив Аральское море и как он там рыбачил.

Рошаль вдруг повеселел и погнал коня. Еламан пустился следом, а за ним по узкой дороге журавлиной цепочкой растянулись джигиты. Рошаль как вырвался вперед, так и мчался крупной рысью, пока впереди не запестрели домишки небольшого городка. Скоро они уже въезжали в маленький пыльный городишко, затерявшийся в степи. Из-под козырька низко надвинутой фуражки Рошаль зорко поглядывал по сторонам, выбирая дом, где бы можно было остановиться. Он знал, что красных поблизости нет. По его сведениям, городок этот занимал какой-то отряд алашордынцев.

Остановившись у большого дома на главной улице, Рошаль сердечно простился с Еламаном и его джигитами и спешил. Заведя коня во двор, он быстро познакомился с двумя молоденькими прапорщиками, стоявшими постоем в этом доме, почистился, умылся холодной водой и спросил, где тут можно пообедать. Прапорщики обрадовались и потащили его в узбекскую харчевню. Хозяин узбек, отбившись как-то от торгового

каравана, осел в этом городишке, открыл чайхану и скоро разбогател.

В харчевне с низким потолком было сизо от чада. Мясо было постное, но зато с такими острыми приправами, что в носу щипало. В углу за столиком, уставленным пустыми бутылками, шумели двое русских. По виду они были не то мелкими купцами, не то приказчиками. Сидели они тут давно, пили много и теперь, уронив головы каждый на грудь своей девицы, выводили со слезой:

О-о-о-оч-ч-и черны-ы-ы-я...

— А здесь довольно весело,— громко сказал Рошаль, и прапорщики тотчас дружно засмеялись, предвкушая свое собственное веселье.

Оглядевшись, офицеры заняли свободный стол недалеко от пьяных приказчиков. С липкого стола с жужжаньем поднялись крупные синие мухи. Услышав свежие голоса, пьяные умолкли и приподнялись, тупо оглядываясь. Им было смертельно скучно, и при виде офицеров они преувеличенно обрадовались:

— А-а, господа офицеры!..

— До-обро пожж-жаловать... Выпьем!

— Не х... хххорошо! Давай к нам, по... пожалуйста! А?

Молоденький прапорщик вдруг залился краской и встал. Рошаль едва успел схватить его за локоть.

— Сидите, ради бога.

— Ненавижу! Пьяные скоты!

— Да бросьте... Охота вам связываться. Смотрите, смотрите, что это?!— И Рошаль вдруг с веселым испугом уставился на дверь.

Прапорщики разом обернулись.

В дверь, сутулясь, входил какой-то верзила. Он был так велик и страшен, что в харчевне на минуту наступила тишина, даже жевать перестали. Лицо его, черное, изрытое оспой, заросло редкой жесткой щетиной. Одет он был странно, казалось, все ему было мало, вся одежда его была будто с чужого плеча. Рукава грязной холщовой рубахи задрались до локтей, грубые штаны едва доходили ему до бугристых икр, а бедра при каждом шаге перекачивались и подрагивали мощными мышца-



ми, как ляжки у верблюда. «Черт побери! Да это прямо гладиатор какой-то!» — восхищенно думал Рошаль, озирая громадную фигуру.

Хозяин харчевни, проворный толстенный узбек, встревожился не на шутку. На сальном лице его появился ужас, будто у мирного дехканина, когда в сад к нему заберется верблюд. Рябой повел глазами по дымной харчевне, увидел любопытные лица, повернутые к нему, увидел офицеров, но не смутился. Несколько пригнувшись, чтобы не задеть потолок головой, он, как у себя дома, отодвигая на ходу ногами стулья, мешавшие ему, прошел в угол, где стоял небольшой столик, сел и тут же поманил к себе пальцем старика подавальщика. Его вольность и смелость понравились хозяину харчевни. Одет посетитель был как нищий, а вел себя как богатый. Нет, не может быть, чтобы у него не было денег.

Старик подавальщик, подойдя к столику, забормотал было, что деньги надо платить вперед, но рябой недобро блеснул на него своими змеиными глазками, и подавальщик осекся.

— Гостю не веришь, а?

— Разные бывают гости. Деньги вперед плати.

— Еще жрать не дал, а уж деньги просит, а? Вот они, деньги! — И рябой хлопнул себя по карману.

У чайханщика глаза полезли на лоб. «У, нечестивец! — со страхом подумал он. — Не иначе, купчишку какого-нибудь ограбил!» Подозвав подавальщика, он зашептал ему:

— Помалкивай, во имя аллаха! Не перечь ему, подавай все, чего он попросит...

Выдавлив на лице улыбку, он мелкими шажками подошел к рябому.

— Здравствуйте, почтеннейший.

— Ну здравствуй.

— Я владелец этой чайханы.

— А-а. Ты что, тоже деньги мои проверять пришел?

— Нет, нет. Что вы! Зачем?

— Тогда говори, чего надо.

— Вы ведь мусульманин?

— Еще какой!

— Казах, наверное?

— Еще какой! Ну и что?

— А как имя ваше, почтеннейший?

— Это еще тебе зачем? — глянул из-под насупленных бровей на него рябой.

Чайханщик струсил.

— Да нет, я просто так... Можете не говорить.

Черным рябым был Кален. Неделю тому назад он бежал из тюрьмы, днем отсыпался, по ночам шел безлюдной степью и так изголодался, что, пренебрегая осторожностью, решил зайти в город и наестся. Он похолодел при виде вооруженных солдат на улицах и хотел было уже уходить из города, но запах пищи из харчевни свел его с ума, он забыл про все, и ни солдаты, ни офицеры, которые оказались почему-то в этой грязной комнате, не волновали его больше. Не тревожило его и то, что в кармане не было ни гроша.

«Давай, давай, тащи еще. А потом жрите меня с потрохами!» — думал он, уплетая все, что приносил ему подавальщик. В это время поднялись пьяные приказчики, которые давеча приставали к офицерам, и, обняв своих девиц, пошли к выходу. Заметив с какой быстротой опустошаются тарелки Калена, один из приказчиков пришел в восторг.

— А? — сказал он и остановился, покачиваясь. — Нет, ты глянь, чего он делает, а?

Его приятель захохотал.

— Эй, гляди лопнешь!

Кален жевал, не поднимая глаз от тарелки и ничего не слыша. Первый приказчик подошел к Калену и хлопнул его по плечу.

— Эй, тамыр, хватит, говорю! Лопнешь!

Кален даже глаз на него не поднял. Уже наевшись, он взялся за последний, самый большой кусок мяса. Мясо было жестким, жилистым. Кален неторопливо, с хрустом жевал неподатливый кусок и думал о том, как теперь расплачиваться с хозяином.

— Вася! Едрит твою мать, глянь, у него во рту целых полбарана!

Девицы уже тянули его за рукав, и Вася сзади бубнил, уговаривал бросить все к черту и идти домой, но он не слушал. Хохоча во все горло, он только приговаривал:

— Ведь подохнет, ей-богу!— И вдруг взял Калена за горло.— Не дам глотать! — с пьяной решительностью сказал он.

Кален поднял наконец на него подобревшие от сытости глаза и, решив, что русский просто шутит спьяну, хотел проглотить разжеванный кусок, но кусок не глотался. Это Калену уже не понравилось, маленькие, хищно прижатые его уши вспыхнули, и он просипел сквозь стиснутое горло и рот, полный мяса:

— Э, тамыг, пегестань...

Пьяный уже на ногах стоять не мог от смеха и левой рукой обнял Калена за плечи, привалился к нему, а правой еще сильнее стиснул глотку. Забыв об офицерах, которые все-таки беспокоили его своим присутствием, Кален слегка толкнул пьяного в грудь, тот оторвался от него, сделал несколько шагов назад и рухнул навзничь, ударившись головой об стул. От удара он протрезвел, вскочил, на помощь ему кинулся приятель, и они успели раза два съездить Калена по скулам, пока тот вставал. Встав во весь свой рост, Кален вытянул руки и схватил обоих пьяных за шиворот. Девушки завизжали. Кален слегка развел руки, будто котят, ударил пьяных головами друг о друга и выпустил. Пьяные рухнули к его ногам. Как ни в чем не бывало, Кален опять уселся за стол и принялся жевать недоеденное мясо.

Старик подавальщик не смел теперь и близко подойти к страшному посетителю и держался поближе к столу офицеров. Заметив испуг подавальщика, Кален усмехнулся и решил, что теперь вряд ли тот станет спрашивать с него деньги. Но тут в харчевню вошли два казаха с винтовками и в военной форме. Заметив нового человека и следы драки, казахи подошли к нему.

— А ну встать!

— А зачем?

— Проверять будем. Документ есть?

— Какой у казаха документ, дорогой? Вот с русских требуй бумажки...— он кивнул на побитых приказчиков.

— Последний раз спрашиваю: документ есть?!— побагровев, крикнул рыжий казах.

Кален пальцем поманил его к себе. Тот подошел, наклонился.

— Вот он, мой дакмент! — сказал Кален и показал ему громадный, с толстым грязным ногтем кукиш.

Рыжий налился кровью, отскочил и щелкнул затвором.

— Встать! — заорал он и прицелился в широкую волосатую грудь Калена.

Кален презрительно прищурился.

— Э, дорогой, не трясись, а то трясучка с тобой приключится. Да будь ты хоть Азраилом, пришедшим по мою душу, покуда я не нажрюсь, и с места не двинусь, понял!

— Стрелять буду!

— Ну и стреляй, дурак!

Багрового от ярости казаха колотила дрожь, винтовка в его руках ходила ходуном. Он не знал, что делать, когда к ним подошел недовольный Рошаль.

— Что такое? Кто вы такие?

— Мы из отряда Алаш-орды...

— Прекрасно. А я адъютант командующего Чернова. Слыхали о таком? Так вот, я знаю этого человека, не трогайте его. Ступайте!

Дружинники Алаш-орды смущенно переглянулись и, не смея возражать, ушли. Рошаль подозвал старика подавальщика и заплатил за обед Калена. Кален удивился: с какой стати этот русский офицер так расщедрился? Сердце его сильно забилося в предчувствии беды. Он нахмурился, подумал и доел то, что еще оставалось на тарелках. Потом прочел благодарственную молитву и провел ладонями по лицу. Тяжело поднявшись, он подошел к столу офицеров.

— Ну теперь я нажрался, — грубо сказал он. — Арестовывайте... — И медленно пошел к выходу.

Но он совсем не был похож на человека, приготовившегося к аресту. Наоборот, всем своим видом он скорее походил на избалованного вниманием гостя, который после сытного угощения говорит хозяину: «А ну, где это мне на этот раз постелили постель?»

Рошаль засмеялся и крикнул вслед:

— Счастливого пути, тамыр! Каюсь, равнодушен я к сильным людям, — добавил он, обращаясь к прапорщикам.

Кален с недоумением оглянулся и поморгал. «Ну и ну! Станный какой-то русский мне попался!» — подумал он и вышел из харчевни.

## IX

Когда шашка со свистом полоснула его по лицу, Еламану показалось, что у него лопнула голова. Он еще чувствовал, как, поматываясь в такт скоку, сползает с коня. Потом он вдруг потерял сознание, но тут же очнулся от удара о землю. Не открывая глаз, он с тоской и ужасом ждал, что вот сейчас офицер подъедет и добьет его. Но кругом было тихо — значит, враг ускакал. Тогда Еламан стал думать, что офицер оказался ловчее и опытнее его. Еще бог смилостивился, и шашка полоснула только по лицу...

Он зажал рану ладонью, ощутил горячую липкость крови и застонал. Белоногий конь его вернулся, стоял рядом, пофыркивая, бил копытом. Еламан опять прислушался. Нет, офицера не было слышно. «Но где же джигиты, найдут ли? — подумал он. — Или я так далеко ускакал, что теперь сдохну в степи? Нет, коня должны увидеть...» Он успел о многом передумать, прежде чем на всем скаку возле него остановилось несколько всадников. Человека четыре проворно скатились с коней и подбежали к ворочавшемуся в пыли Еламану.

— Жив?

— Голову, голову погляди. Цела?

— Кровища-то хлещет...

— Паленой кошмой надо прижечь.

— Эй, эй, давайте кошму, живо!

— У кого есть кошма?

— От потника отрежьте.

Тревожные, торопящие друг друга голоса, русская, казахская речь — все перемешалось. Вокруг забегали, засуетились, кто-то приподнял Еламану голову, кто-то поднес ко рту ему солдатскую фляжку с водой. Потом в нос ему ударил запах паленой кошмы. К ране, которая и без того нестерпимо горела, будто раскаленную железку прижали. Чтобы не закричать, Еламан что есть силы стиснул зубы и все-таки не вытерпел, замычал.

— Руки, руки держите! — закричал кто-то.

Кровь все не останавливалась, и рану снова и снова начинали прижигать кошмой. Пока над ним возились и жгли его, Еламан в кровь искусал себе губы.

Потом его перенесли на арбу. Щелкнул кнут, и намазанная арба, скрипя и ноя колесами, медленно тронулась с места. Еламан, все чувствуя, но ничего не видя, лежал навзничь. Он открыл было слипшиеся от крови и пота ресницы, но тут же снова зажмурился. Ему показалось, что небо объято жарким пламенем. Сухие губы его потрескались, хотелось пить, жар разливался по телу. Лицо горело. И Еламан вспомнил, что лицо его вот так же горело давным-давно, когда он ловил зимой рыбу...

С утра до вечера в зимнюю стужу пропадали рыбаки в море, и к концу дня у них начинали нестерпимо гореть обмороженные щеки. Как трудно было тогда добираться до дому! Обжигающий ветер дул прямо в лицо, и приходилось идти боком или загораживать лицо рукавицей, так было хоть немного легче.

Едва ввалившись в землянку, Еламан торопливо стягивал с себя задубевшую одежду, накидывал на плечи сухую шубу и садился к огню, разведенному к его приходу молодой женой. Огонь разгорался все сильнее и жарче, а Еламан все никак не мог согреться, и ему казалось, что холод засел у него где-то в самой душе. Голову ему ломило, а обмороженные щеки жгло, будто посыпали солью свежую рану. «Да что ты прямо в огонь лезешь? Сгоришь, отодвинься», — недовольно говорила, бывало, Акбала. А он поворачивал багровое от мороза лицо к жене и улыбался: «Да я и в самом деле прямо собой готов покрыть огонь!» Акбалу передергивало, и она хмурилась. Ее коробило от дурацкого, как ей казалось, выражения: покрыть собой. Казалось, эти простодушные слова совсем замораживали и без того холодную ее душу. Даже вечером, лежа в постели с мужем, она не оттаивала — замыкалась, отворачивалась к стенке и недовольно молчала...

Уже перед заходом солнца обоз проезжал мимо большого аула, раскинувшегося на широкой равнине. В ауле не было видно ни души — напуганные жители прятались по юртам, — даже собаки не лаяли. Али, всю дорогу страдавший при виде мучений Еламана, ускакал

куда-то и скоро вернулся с двумя большими охапками сена. На сене Еламану стало покойно, и он уснул.

Спал он недолго, но, когда проснулся, было уже совсем темно. Огромное безоблачное небо над ним переливалось мириадами звезд. Где-то далеко, на самом краю земли, сначала будто загорелся пожар, а потом показалась багровая макушка луны. Проснувшись, Еламан никак не мог сообразить, в какую сторону они едут, где восток и где запад. Заходит ли эта луна, обесиленная, прожившая свой срок? Или она только восходит и робко смотрит на этот хмурый, жестокий мир?

Длинный обоз черным арканом извивался по дороге, и не было видно ни головы его, ни хвоста. В тихой туманной степи таинственно и слабо разносились пофыркивание лошадей и однообразный печальный скрип колес.

Рана болела, казалось, еще сильнее. «Наверно, все-таки кость задел», — грустно подумал Еламан и со стоном вздохнул. Впереди кто-то негромко запел, Еламан стал слушать, надеясь отвлечься от боли, но тот, видно, запел для себя, убаюкивая самого себя или, наоборот, борясь с дремотой. Негромкий напев становился все тише, будто певец удалялся, а потом и вовсе оборвался.

Опять тишина захватила ночную степь. Все так же глухо постукивали копыта лошадей, все так же монотонно поскрипывали колеса, верблюды то близко, то далеко постанывали и перхали... Вслушиваясь в эти однообразные звуки, глядя на звезды в высоком небе, Еламан перебирал в памяти события последних недель.

Двенадцать дней провел Еламан возле генерала Чернова, и этот спокойный, сдержанный и грустный человек пришелся ему по душе. На прощанье генерал от имени Колчака вручил Еламану медаль и поблагодарил за дружбу. Когда генерал крепко пожимал ему руку на прощанье, Еламану стало даже неловко.

Простившись, Еламан облегченно вздохнул и пустил коня крупной рысью. Задумавшись, он ехал на выстрел впереди своих джигитов. Не давая передышки ни себе, ни лошадям, они только однажды остановились в ка-

ком-то ауле, чтобы напиться. На другой день к вечеру они были уже в Челкаре.

Долго сидел Еламан с Дьяковым, рассказывая обо всем, что успел увидеть и услышать во время пребывания в Южной армии. Заканчивая рассказ, он сообщил, что на помощь армии Чернова из Омска идет обоз с оружием. Тут же решено было попытаться захватить этот обоз.

После суточного отдыха Еламан в сопровождении сотни джигитов опять отправился в путь. Оглушая сонную степь топотом копыт, отряд доскакал до пикета между Челкаром и Иргизом. Узнав, что в этих местах обоз белых не проходил, Еламан послал четырех джигитов во главе с Али в разведку, а сам с отрядом остановился на привал. Отдохнув, уже вечером отряд отправился дальше по пути уехавших вперед разведчиков. На завтра уже за полдень разведчики вернулись и рассказали, что обоз в уездном городке не останавливался, а свернул по безлюдной степной дороге прямо на Эмбу.

Еламан с отрядом помчался наперерез обозу. Доскакав до глухой дороги, Еламан разделил отряд на две группы. Одна группа, во главе с Али, затаилась в глубоком овраге за караванной дорогой, по которой должен был пройти обоз. Со своей группой Еламан укрылся по эту сторону дороги за невысоким бурым холмом.

Джигиты спешили и, терпеливо дожидаясь, стояли и сидели, намотав на руки уздечки. Скоро на горизонте показалась пыль. Джигиты, еще раз подтянув подпруги, уселись на коней и пригнулись. Длинный, на добрую версту растянувшийся обоз медленно приближался к засаде. Раскачивались тяжело нагруженные верблюды, поскрипывали арбы, запряженные низкорослыми лошадьми. Довольно многочисленная охрана, заморенная жарой и усталостью, казалась беспечной: кто, болтая ногами, сидел рядом с возницей, засунув подальше винтовку, кто, растянувшись во весь рост и прикрыв лицо фуражкой, спал... Несколько всадников, уронив головы на грудь, ехало по обочине дороги, распустив поводья, и кони их на ходу срывали мягкие макушки полыни.

Когда середина обоза поравнялась с засадой, Еламан махнул камчой и рванулся вперед на своем бело-



ногом коне. Не успел его отряд выскочить на дорогу, как с другой стороны, из оврага, с гиканьем и визгом вынеслись отчаянные джигиты Али. Обозная охрана растерялась. Одни вообще не успели достать винтовки, другие, хоть и успели схватить оружие, не знали, что делать,—стрелять, бежать или сдаваться. Джигиты мгновенно смяли их.

И только одинокий всадник, в котором Еламан сразу угадал сына Тентек-Шодыра<sup>1</sup>, поняв, что сопротивляться бессмысленно, помчался на своем вороном коне в степь. Давно собираясь свести с ним счеты, Еламан обрадовался и пустился за Федоровым вдогонку. Под Еламаном был на этот раз прославленный скаковой конь. На первый взгляд, конь этот был нехорош: вислое, как у жеребой кобылы, брюхо, короткий, небольшого росточку и с такой укороченной хребтиной, что почти вся спина его покрывалась седлом. Зато в груди он был широк необычайно, и стоило только гикнуть да покрепче зажать шенкеля, как конь превращался в птицу.

Еламан был уверен, что догонит Федорова. К тому же тот не успел уйти далеко, и Еламан скакал вплотную за ним, чуть сбоку. Он сжался в комок, приник к гриве коня и уже держал поперек седла обнаженную шашку. Федоров то и дело нахлестывал своего вороного, но оторваться от Еламана ему не удавалось. Падучей звездой летел он по степи впереди Еламана и все оглядывался назад. Еламан же чувствовал, что великолепный конек его мчится во весь мах, и не трогал его камчой.

Он уже почти догнал Федорова и думал, с какой стороны ловчее ему будет рубить, когда Федоров вдруг круто осадил своего вороного и повернул навстречу. Еламан никак не ожидал этого и растерялся. Он увидел прямо перед собой яростно оскаленные зубы и занесенную синеватую шашку, и сердце его дрогнуло. И хоть он тоже давно обнажил шашку, но привстать на стременах, размахнуться и отклониться для удара уже не успел, а успел только приподнять свою шашку, чтобы защититься от удара Федорова. Почти столкнувшись, кони их вздыбились и пронзительно заржали. Шашка Федорова со звоном рубанула по клинку Еламана так, что

---

<sup>1</sup> Б у и н ы й   Ф е д о р — так казахи звали отца Федорова.

даже в плече у него отдало и рука заныла, и кони, выкатив налитые кровью глаза, тотчас разнесли их.

Стало сразу безветренно и душно, будто степь давно готовилась к этой минуте, и солнце вдруг склонилось к западу и скрылось за серой тучей, и весь мир, казалось, погрузился в сумерки.

Еламан, злясь на себя за свою неловкость, успел раньше Федорова повернуть своего конька, но и Федоров уже разворачивал своего вороного, и теперь оба знали, что на этот раз решится все, что на этот раз промашка будет означать смерть.

«Ох и сильна же рука у этого сукиного сына!» — с невольным восхищением думал теперь Еламан, лежа на арбе и глядя в небо. На исходе ночи обоз остановился, и усталые джигиты немного вздремнули. Но как только показалось солнце, они опять тронулись в путь, желая во что бы то ни стало еще сегодня добраться до города.

Еламан все так же лежал навзничь на арбе, но чувствовал себя сегодня немного легче. Солнце из-за горизонта вставало большое и алое. Небо казалось бездонным. Таким высоким и чистым небо бывало когда-то после долгих обложных дождей. И нельзя было тогда понять, что синее — небо или море. И все сверкало вокруг, даже глазам было больно. Правя туда, где накануне расставил сети, Еламан, бывало, сильно и равномерно греб. Он не торопился в такие погожие утра, любовался гладким, без единой морщинки морем и наслаждался тишиной. Только уключины равномерно поскрипывали, и он думал лениво: «Надо бы эти чертовы уключины смазать», — а сам все глаз не мог оторвать от голубизны неба и моря. Где-то за камышами кричали прожорливые чайки, видно, дрались из-за добычи...

И теперь тоже, как в давние времена, больно было глазам от бездонной синевы неба. Еламан все щурится, все прикрывает глаза ресницами... Ему кажется, что не только небо, но и воздух вокруг словно подсинен, и выгоревшая степь будто поголубела.

Маленький серый жаворонок, вместе с солнцем взметнувшийся ввысь, едва различимой точкой трепещет в лазурном безбрежье. Заливаясь бесконечной трелью, он

с вышины вдруг камнем падает вниз и опять трепещет крылышками над самой арбой Еламана. Еламан не шевелится, боясь спугнуть жаворонка, но тот ничуть не боится сонного царства степи, редких обозов или всадников, и Еламану хорошо видны его маленький клюв, дрожащий язычок, черные, как две бусинки, глаза и в упоении трепещущее горлышко.

И вспоминается ему далекое, почти нереальное детство, когда он, круглый сирота, пас овец и козлят байского аула. С ранней весны до поздней осени ходил он тогда босиком. Ноги его были в цыпках. И, бывало, заноза вонзалась ему в ногу, и он долго и старательно вытаскивал ее. Один раз нога от занозы начала нарываться, распухла, и он несколько дней провалялся на старой кошме, и никто больше, никакой мальчишка в байском ауле, даже самый бедный, не хотел пасти ягнят. А нога так сильно болела, что он просыпался среди ночи от боли, плакал и звал: «Мама!..»

— Ну как вы себя чувствуете, Ел-ага? — спросил подъехавший Али. Глаза Еламана были полны слез, и он смутился. «Стареть, что ли, начал? — подумал он, вытирая глаза ладонью. — Чувствительным каким-то становлюсь...»

— Нет ли воды? Во рту сухо, — попросил он.

— Сейчас раздобуду, — бодро ответил Али и поскакал в голову обоза.

Вечером, в сумерках, они добрались до Челкара, и Еламана сразу же повезли в лазарет. Лицевая кость оказалась нетронутой, врач промыл рану, смазал ее мазью и наложил повязку. На другой день Еламан проснулся поздно — солнце стояло уже высоко. У изголовья его койки сидел какой-то верзила. Заметив, что Еламан открыл глаза, верзила встал во весь свой громадный рост и, не дав Еламану даже повернуть головы, полез обниматься. Еламан молча прижался лицом к груди великана. Прерывисто вздохнув, он тихо сказал:

— Значит, жив, Кален-ага?

— Жив... Жив!

— Вот как судьба нас свела.

— Э, дорогой, человек ведь, как собака, семижилый, я давно говорю. Видно, не суждено мне было по-

дохнуть, и вот я опять здесь. А про тебя, парень, я все знаю. Желаю тебе счастья с новой женой.

— Спасибо, Кален-ага.

— А ты опять с русскими? Ну да ведь ты всегда на шаг ближе нас стоял к русским. Так, значит, по их дорожке и идешь? Ну что ж, дай-то бог.

— Да ведь время такое, сейчас русские топчут дорогу. Не хочется, понимаешь, плестись по обочине.

— Узнаю умную голову. А как, кстати, голова-то? Рана серьезная?

Еламан видел, как тревожится Кален, улыбнулся и о самом опасном случае в своей жизни решил рассказать шутя, как о пустяке.

— Ну это тебе повезло,— выслушав, серьезно сказал Кален.

— Еще как повезло! Чуть подальше хватило бы его руки, и быть твоему названому брату на том свете!

— Все мы из костей и мяса. Кто же устоит перед стальной шашкой? — задумчиво, как бы с благодарностью милостивой судьбе сказал Кален и вдруг весело взглянул на Еламана.— Ну после того, как полоснул он тебя по роже, ты небось деру дал, а? Небось небо с овчинку показалось?

Еламан покраснел сначала, но потом улыбнулся.

— А ты думал! Это ведь тебе не кто-нибудь, а сын Тентек-Шодыра. Ох и сильна рука у этого пса рыжего!

— Ах, вон оно что! — совсем развеселился Кален.— Выходит, если не совсем, то хоть наполовину он с тобой расквитался за отца, а?

А Еламан вдруг с болью заметил, как бледен и как осунулся Кален. Неужели ему и теперь снова заниматься конокрадством? А если не конокрадство, то что же будет делать такой сильный и решительный человек? Куда ему приложить свои силы?

Еламан осторожно заговорил с Каленом о будущем, о работе, но Кален не склонен был поддерживать этот разговор.

— Зачем мне работа? — только махнул он рукой.

— Как это зачем? Разве мыслимо жить без работы?

— Стар я стал, отработался.

— Вот те раз! Не дай бог, жена твоя услышит. Да как ты можешь думать о старости?

Кален угрюмо уставился в пол, вздохнул несколько раз и покачал головой.

— Эх, Еламан, дорогой, как бы ты ни бежал от старости, а как перевалит тебе за пятьдесят, так сразу почувствуешь. И где заноза вошла в детстве, и где асыком ударили, и где девка ущипнула в юности — все у тебя начинает ныть. И никуда ты от этого не денешься...

## X

Дьяков прискакал в штаб дивизии и понял, что опоздал — совещание уже началось. Более того, он заранее знал, что опоздает, но раньше поспеть никак не мог. Бойцы его уже много дней жаловались на повара, и Дьяков решил проверить сегодня полковую кухню. С продовольствием, правда, было плохо — давно уже никто не видал ни мяса, ни молока, ни картошки. Но и повар оказался плох, не мог ничего приготовить как следует. Дьяков решил срочно искать нового повара, а пока в помощь старому приставил двух бойцов.

Дьяков знал, что Хан-Дауров был строг и не любил, когда опаздывали. Спешившись, он кое-как привязал коня к коновязи и, даже не отряхнувшись как следует от пыли, вбежал в штаб. Вызванные командиры полков и батальонов все были в сборе, и совещание давно началось. Когда вошел Дьяков, Хан-Дауров оборвал свою речь и стал разглядывать опоздавшего своими большими круглыми, как у филина, глазами. Извинившись и не проходя вперед, Дьяков притулился у самых дверей. Сняв фуражку и вытерев лоб, он немного отдышался и, оглядевшись, теперь только заметил, что сел рядом с Жасанжаном, которого не выносил.

Надменный и вспыльчивый по природе, Жасанжан на совещаниях становился степенным и рассудительным. Сейчас он был особенно, подчеркнуто спокоен. Среди просто, даже бедно одетых командиров этот молодой смуглый джигит выделялся своим щегольским видом. Какой-то степной аристократизм проглядывал в нем. Он ни на кого не смотрел и только время от времени приглаживал ладонью свои пышные волосы. На

Дьякова, притулившегося рядом, он не взглянул. «Ишь, байское отродье!» — с неприязнью подумал Дьяков. Он не мог простить этому холеному джигиту измены в долине Жем и с каждым днем верил ему все меньше и меньше. Уйдя в эшелоне со своим отрядом, Жасанжан сорвал всю операцию — объединись в ту ночь оба отряда, белые были бы разгромлены. Доложив потом командиру дивизии о преступном, возмутительном поступке Жасанжана, Дьяков настаивал на строгом наказании его. Неизвестно, как узнал Жасанжан о разговоре Дьякова с комдивом, но с тех пор он откровенно возненавидел комиссара.

Как-то вдвоем они возвращались из штаба дивизии. Промолчав всю дорогу, перед расставанием Жасанжан спросил с явной издевкой: «Э, а правда, что ты десять лет проторчал в Сибири, а?» Дьяков молчал, хоть его и взбесила злорадная усмешка на бледном высокомерном лице джигита. Не дождавшись ответа, Жасанжан процедил: «Десять лет просидел, а ума, видать, не прибавил!» — и, прищпорив коня, галопом помчался прочь.

Теперь при виде Жасанжана Дьяков не мог удержать злую гримасу. Все в этом кичливом барчуке раздражало его: и стройная фигура, и подчеркнутый шик, с каким носил он военную форму. И чем больше злился Дьяков, тем небрежнее разваливался Жасанжан, тем чаще, действуя Дьякову на нервы, поскрипывал спинкой стула и тем дальше вытягивал свои стройные ноги в легких хромовых сапогах. «Ух ты, байский щенок!» — опять со злобой подумал Дьяков. В нем все так кипело, что он не мог сосредоточиться и даже плохо понимал, о чем говорит Хан-Дауров.

А Хан-Дауров говорил о том, что на сторону красных прошлой ночью перешло несколько солдат из Пластунского полка. Солдаты сообщили, что в боях под Кандагачем и Эмбой белые понесли большие потери, но что они спешно пополняют свои поредевшие полки новыми силами и по-прежнему готовятся к большому наступлению. Так вот, говорил Хан-Дауров, если хотя бы в ближайшие два-три дня белые не перейдут в решительное наступление, нам нужно всемерно использовать эту передышку и всячески укрепить свои оборонительные линии.



Но едва Хан-Дауров заговорил о том, что нужно сделать для укрепления, как невдалеке загремели артиллерийские разрывы и все присутствовавшие на совещании вскочили.

— Товарищи! Все немедленно в свои части! — закричал Хан-Дауров.

Командиры бросились к выходу. Пока Дьяков добежал до своего коня у коновязи, невдалеке разорвалось несколько снарядов. Кони плясали и испуганно всхра-





пывали. Вскочив на белоногого Еламанова коня, Дьяков пустил его галопом и стал сквозь набежавшие от ветра слезы вглядываться вперед. Бойцов своего полка он не видел. Не видел он также и бойцов соседнего полка справа. Зато с левого фланга беспорядочно откатывался по открытой степи полк Жасанжана. Дьяков несколько раз оглянулся. Жасанжан только теперь отъезжал от штаба и не скакал, как все командиры, а ехал



неторопливой рысью. Дьяков выругался: «Волчий выкормыш!»

Стрельба разгорелась уже вовсю. Пулеметы били без передышки, все чаще разрывались снаряды. Дьяков огрел коня камчой. Он несся по высохшему дну озера, которое только в снежные годы заполнялось водой. Выскочив на зеленый бугорок недалеко от передовых позиций, Дьяков сразу же увидел своих бойцов. Он увидел еще, что полк Жасанжана, откатившись, оголил его левый фланг и что его бойцы, боясь окружения, тоже начали отступать. Дьяков осадил коня, спрыгнул и, доставая наган, побежал навстречу своим бойцам.

— Стой! Стой! — надрываясь, закричал он, но его никто не слушал.

Бойцы бежали так быстро и густо, что чуть не затоптали комиссара. Пот заливал ему глаза, он на минуту почувствовал такое бессилие перед паникой, охватившей людей, что растерялся, не зная, что ему еще можно предпринять. Внезапно он увидел бежавшего без оглядки громадного бойца.

— Стой! — тонким, срывающимся голосом завопил Дьяков и обеими руками вцепился в его винтовку.

Верзила остановился на секунду, изумился и тут же выпустил винтовку.

— Вперед, товарищи! — закричал Дьяков, поднял винтовку над головой и побежал вперед. Он бежал и боялся оглянуться, ему казалось, что он бежит один, что никто не последовал за ним.

Между тем несколько человек уже остановились. Дьяков все-таки оглянулся, увидел остановившихся в нерешительности своих бойцов и понял, что судьба боя решается в эти мгновенья. Он понял, что сейчас нужно еще раз, еще раз... И тут он почувствовал с обидой и болью, как знакомая тяжесть стиснула ему грудь, как кровь кинулась в голову.

— Впере-е-ед! — Ему показалось, что он кричит громко, тогда как едва слышный сип вырывался у него из горла. Кровь молотком стучала в голове, все жилы напряглись. «Только бы не упасть!» — страстно молил он бога, но в эту секунду его догнал огромный боец, у которого он так легко отнял винтовку, и подхватил комиссара под мышки.

Мимо них пробежал Еламан, и Дьяков увидел его решительное лицо, оскаленные зубы и жало штыка, выставленное вперед. Мимо комиссара бежало все больше бойцов, волна за волной, все в яростном исступлении боя, в предвкушении победы. «Ах, дорогие вы мои!.. Молодцы!» — растроганно думал Дьяков и, хоть силы покидали его, все старался вырваться у поддерживающего его верзилы.

Он все-таки успел еще пробежать несколько шагов. Совсем рядом разорвался снаряд, и взрывная волна свалила комиссара.

Очнулся Дьяков скоро. Вокруг него, как в тумане, беззвучно мелькали какие-то тени. Ему показалось, что он лежит в степи, что еще подбирают раненых и уносят их на носилках. Удушье навалилось на него, и он опять потерял сознание. Когда память снова вернулась к нему, перед глазами его все так же плыла серая мгла. В ушах гудели колокола. Откуда-то издалека доносились взрывы и вздрагивала земля, и тогда все вокруг — палатка над ним, топчан, на котором он лежал, и он сам, — все это вздрагивало и качалось.

Временами ему казалось, что переворачивается земля, и он слабыми руками инстинктивно хватался за топчан. Или ему чудилось, что серая мгла наполняет смрадную темень шахты. Поскрипывают, прогибаются слабые подпорки под невероятной тяжестью земли, и где-то грохочут обвалы, а он застрял и задыхается в черном углу шахты. Крупный пот выступил у него на лбу, он стал метаться, порываясь уйти к свету, и опять потерял сознание...

Во время короткого затишья в лазарет пришел Еламан. Винтовку он оставил у двери, а сам, перебегая глазами по лицам, осторожно ступая между ранеными, лежавшими на полу, пробрался к Дьякову и наклонился над ним. Комиссар по-прежнему был без памяти. Губы его потрескались от жажды, нос заострился. Еламан хотел дать ему напиться, но воды в бачке не было. Пуста была и его фляга.

И в беспамятстве комиссар мучился. Провалившиеся закрытые глаза окружены были тенями, высокий белый лоб, не загоревший под кепкой, то и дело покрывался крупным холодным потом. Подсев к нему, Еламан вытирал время от времени у него пот и удивлялся мужест-

ву этого слабого человека. Много повидал Еламан на своем веку, но охваченных ужасом, бегущих в панике бойцов видел тогда впервые. «Апыр-ай! А?» — удивлялся он и думал, что бегущие бойцы похожи были на косяк коней, преследуемый волками. И тотчас ему пришел на ум давний случай, который произошел с ним, когда он ходил в табунщиках у Кудайменде.

Дело было зимою. Весь день Еламан и молодой подпасок маялись в седлах, промерзли, проголодались и к вечеру так заиндевели, что Еламан не вытерпел и послал подпасака загодя сварить ужин. Перед заходом солнца поднялся ветер. Лошади, тоже заиндевевшие, но сытые, горячие от обильного корма, даже не шелохнулись. В низине сильно обмелевшего за лето озера оставалась буйная трава. А степь густо забелил снег, прикрыв пастбища, — во все стороны простиралась белая земля, безжизненная и ровная, как доска. Ветер усилился, и по снегу потянуло поземкой. Саврасый конь Еламана все лето не знал седла. Прекрасно выгулявшись, он был полон сил и, казалось, так и дышал жаром, но и ему ветер не нравился, и он все норовил прижаться к табуну с подветренной стороны.

Еламан взял в руку курук, вытянулся на стремянах и внимательно оглядел табун в озерной низине. Кони были еще спокойны, пробивали копытами снежный наст и, пофыркивая от удовольствия, щипали траву. Только мерины несколько разбрелись по краям, зато в середине табун сбился в плотный круг, обступив кольцом стригунков и трехлеток.

Начинающийся буран раньше всех почуяли старые кобылицы и матерые жеребцы. Да и было им отчего встревожиться: только что выбитые из-под снега травы — изень и полынь — тут же заметало поземкой. Колкий снег хлестал лошадей по мордам, снежная крупа забивалась в глаза и ноздри, и старые кобылы и жеребцы в тревоге начали поднимать головы, застывая в недоумении с пучками травы в зубах и настороженно прядая ушами.

Еламан сильно натянул повод саврасого и издал тот особенный пронзительный крик табунщика, от которого дрожь прокатывается по спинам коней. Табун вздрогнул и перестал кормиться. Не понимая, в какую сторону бежать, кони сбились в плотную кучу, оттирая друг дру-

га круглыми сытыми боками. Побыв некоторое время в нерешительности, табун вдруг помчался галопом, топоча копытами, за чубарым жеребцом, подавшимся в сторону аула.

И когда свет совсем померк и ночь опустилась на степь, далеко впереди Еламану почудились черные тени волков, стремительно подвигавшиеся наперерез табуну. Чубарый, скакавший впереди, вдруг испуганно заржал и на ходу поднялся на дыбы, одновременно оседая на задние ноги и разворачиваясь. Точно так же, как и чубарый, остановился и весь табун, будто оказавшись перед бездной. Чубарый еще раз хрипло заржал, и весь табун одной живой массой, мгновенно развернувшись, в неописуемом страхе понесся назад в степь.

Еламан что есть силы вытянул саврасого камчой. Зычно крикнув, он поскакал что есть мочи, норовя обогнать табун и зайти к нему спереди. Обычно одного такого крика было достаточно, чтобы кони вздрогнули и послушно остановились. Чубарый жеребец останавливался первым и, задрав свою гордую голову, оглядывался на Еламана, как бы спрашивая, чего тот хочет. Но на этот раз самые свирепые крики Еламана не помогали — табун вышел из повиновения. Отталкивая и сшибая молодых, с только что закурчавившейся шерстью жеребят и стригунков, мчались в дымную от пурги ночь обезумевшие кони, оглашая степь глухим топотом копыт. Ничего не видели и не чуяли теперь лошади, кроме мелькавших неотступно с боков черных теней. И как только стремительные тени эти начинали мелькать впереди, табун опрометью шарахался в другую сторону. Тысячи копыт дробили твердый снежный наст. В темноте крупы копей сливались, и временами казалось, что это несется неукротимый горный поток. Иногда Еламану чудилось, что, сотрясая землю, впереди движутся огромные черные валуны. Видение это было столь явственным, что Еламан начинал уже верить ему и убеждался в своей ошибке только тогда, когда настигал какую-нибудь лошадь и видел перед собой упругий конский круп.

Еламан знал, что впереди степь обрывается в море высоким крутым обрывом. И он ужаснулся, представив себе, как весь его табун, лошадь за лошадью, срывает-

ся и с предсмертным криком падает с кручи. Он закричал и уже не умолкал больше, нещадно избивая саврасого, чтобы обогнать и отвести в сторону мчавшийся к гибели табун. Он так и не мог вспомнить потом, как удалось ему повернуть обезумевших лошадей. Добравшись до своей юртенки, он свалился у входа и не мог подняться. Напуганный подпасок еле втащил его тогда в юрту...

И вот теперь, глядя на обеспамятевшего своего комиссара, Еламан удивлялся, как мог этот тщедушный человек остановить охваченных паникой бойцов. «Апырай, а? Ну надо же, а?» — твердил про себя Еламан и только головой покачивал.

Пришел измученный, сбившийся с ног врач и увидел Еламана.

— Кто такой, что надо? — скороговоркой недовольно спросил он.

— Я?

— Ну ты, ты... Не я же!

— Я из Коммунистического полка.

— Ну слушаю. В чем дело?

— Скажите, как он?

— А ты сам не видишь, как?

— У него рот обметало. Ему бы попить надо.

— Сестра! — раздраженно крикнул врач. Прибежала молоденькая испуганная сестра. — Я разве не предупреждал, чтобы к раненым не пускали посторонних?

Еламан встал, пробрался к выходу, взял свою винтовку и вышел.

После укола Дьяков пришел в себя. Первое, что он почувствовал, была необычайная легкость в груди. Он открыл глаза и оглядел палатку. Сквозь прорехи старой, выгоревшей на солнце палатки голубело безоблачное, чистое небо. Дьяков переводил взгляд с предмета на предмет и всякий раз думал: «Что это? И где я?»

Негромкий голос рядом с ним попросил пить. Голос был такой тонкий и слабый, что казалось, проснулся и зовет свою мать ребенок. Дьяков покосился направо. Рядом с ним, на расстоянии протянутой руки, весь в кровавых бинтах, лежал навзничь громадного роста боец. «Кто это? Что-то знакомое...» — морщась, подумал

Дьяков и вдруг сразу все вспомнил. Это был тот самый верзила, у которого он вырвал винтовку. Конечно, он! И тоже ранен, и сильно, наверное. И перед Дьяковым мгновенно прошли все события сегодняшнего дня: повар на кухне, совещание в штабе, наступление белых, паническое бегство бойцов... Бежали так, будто на них горела одежда. Представлять это снова было страшно. Дьяков замигал и стал смотреть в прореху палатки на чистое небо, стараясь думать о другом.

Еще в сибирской ссылке он понял, что ему недолго осталось жить на земле, и в душе своей давно уже готов был к смерти. Теперь же он думал о том, что даже и этот короткий срок не суждено, видно, ему прожить без болезней. В иные ночи, объятый глубоким сном, он вдруг чувствовал такое удушье и такую смертную тоску, что просыпался в холодном поту. Не только в бою, как сегодня, а просто в постели, во сне, на рассвете, в тишине он мог уже умереть много раз. Прикладывая слабую узкую, как у ребенка, ладонь к виску, он ощущал гудение и пульсирование, и ему казалось, что жизнь его теплится еще только в этих набухших венах. Подолгу лежал он как бы на самой меже жизни и смерти, открыв рот и еле ворочая похолодевшим, чужим каким-то языком. Ему хотелось крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь, но напрасны были его усилия, голос пропадал, и он вяло думал, что до утра ему не дожить.

Нет, смерти он давно не боялся и совсем не о себе думал сегодня, когда бежал с винтовкой. Страшился он другого — ему казалось, что ни один человек не победит за ним, что бойцы его, бросая оружие, будут все так же что есть силы бежать назад и тогда — полный разгром, уничтожение... «А все-таки повернули! Все-таки бой идет!» — с наслаждением думал теперь Дьяков.

У входа в палатку остановились арбы с новыми ранеными. Послышались крики и стоны. Санитары с носилками засновали взад-вперед.хлопотливо забегали, мелькая белыми халатами, немногочисленные сестры. Прислушавшись к далеким и близким звукам, Дьяков понял, что бой разгорается. Он знал, что у красных нет свежих сил для наступления, значит, наступают белые... Раненые все прибывали и прибывали... Много бы-

ло среди них бойцов Коммунистического полка, изредка попадались и джигиты из отряда Еламана. «Как стоят, как стоят!..» — взволнованно думал Дьяков.

## XI

Два дня было тихо. На третий день на рассвете белые опять пошли в атаку. По приказу Хан-Даурова вымотанные красные полки начали отступление. Почувствовав себя лучше, Дьяков поторопился вернуться в свой полк. Стоя возле железной дороги, он смотрел на бойцов и горько думал, как мало их осталось. Да и среди оставшихся чуть не у каждого белела перевязанная голова или рука.

В полку было три орудия. Два из них были разбиты в бою под Кандагачем и Эмбой, а в последнем бою снарядом разворотило колесо и у третьего орудия.

Медленно тянулась по степи отступавшая дивизия Хан-Даурова. Белые сначала обстреливали ее, пытаясь завязать новый бой, но потом отстали. Иногда только в ровной степи в знойном мареве поднимались то там, то здесь облака пыли, медленно катились в сторону красных, и в этой пыли возникали вдруг небольшие группы всадников — передовые дозоры белых. Не приближаясь и не удаляясь, следовали они некоторое время за отступавшими красными частями, пока наконец какой-нибудь конный эскадрон не отгонял их.

Еламан с тревогой поглядывал на выжженную степь и хмурился. Он ехал шагом на белоногом своем коне впереди джигитов и размышлял о том, какой тяжкий нынче год выпадает для скотоводов. Он осунулся и почернел с тех пор, как вернулся из штаба генерала Чернова и был ранен. И джигиты его были измотаны, опалены зноем, грязны и худы. И многих из тех, кто вместе с Коммунистическим полком участвовал в боях, уже не стало. От усталости джигиты еле сидели в седлах, прикрыв глаза от солнца и покачиваясь из стороны в сторону. Все лето небо не знало туч и теперь было белесым, будто выгорело. Нещадный зной, с утра до вечера дышавший огнем, выжег дотла всю землю. И земля покрылась тончайшей, как пудра, пылью.

Лошади и люди сходили с ума от жажды. Во всем полку не сыскать было ни капли воды. Дьяков знал,



что воды теперь не будет до самого Челкара, и, посоветовавшись с Хан-Дауровым, решил не делать привалов, хоть сердце его и ныло, когда он смотрел на измученных бойцов. Уже после полудня завиднелся на горизонте Челкар. Бойцы повеселели и ускорили шаг, но как они ни торопились, а до города, казалось, было все так же далеко. Он по-прежнему смутно мерцал на горизонте, и по-прежнему как несбыточная надежда манила бойцов длинная водокачка.



Дьяков понимал, что защитить Челкар дивизия не сможет. Основные силы красных сосредоточивались под Аральском. Дивизия же Хан-Даурова была обескровлена и почти лишена боеприпасов. В помощь отряда Жасанжана Дьяков не верил, помня о предательстве в долине Жем. Одно только было утешением — третий полк почти не пострадал в боях. В этом полку целы были все орудия, хоть снарядов и у них не хватало. В отрядах же, созданных из железнодорожников Актюбинска, Эмбы и Журуна, с патронами было совсем плохо. Чтобы сохранить хоть относительную боеспособность своей дивизии, Хан-Дауров выставлял эти отряды в качестве заслонов на пути белых. Отряды железнодорожников дрались отчаянно, но потери несли огромные.

Хан-Дауров рассчитывал задержать белых под Челкаром хотя бы дня на два, на три, и Дьяков понимал, что на большее сил не хватит. Важно было другое — дать белым решительный бой под Аральском. Как раз туда командование Туркестанского фронта собирало все свои более или менее свежие части. Пока Дьяков лежал в лазарете, за одну только ночь погрузили и отправили эшелонами на Аральск рабочие отряды из Казалинска и Жосалы, с которыми еще три дня назад Коммунистический полк сражался бок о бок. Теперь, следовательно, надеяться можно было только на себя, помощи ждать не приходилось.

Чтобы бойцы скорее отдохнули, Дьяков отправил Еламана с его джигитами в город, наказав до прихода полка позаботиться об обеде и питьевой воде. Еламан со своими джигитами ускакал, остальные, не соблюдая строя, продолжали брести по выжженной, унылой степи. Говорить никому не хотелось, и все молчали. Слышен был только мягкий топот копыт по дороге. В раскаленном воздухе клубилась удушливая пыль.

Хоть и медленно, но город все приближался, и вот уже отчетливо стали видны многочисленные крыши мазанок на окраине. Чтобы не волновать жителей, Дьяков решил раненых в город не ввозить и распорядился разместить лазарет возле озера, в тени небольшого лесочка. Пока размещали лазарет, почти все бойцы успели умыться и напиться в озере и в город уже вошли построившись, бодрым и четким шагом. Навстречу выехал

Еламан и доложил, что в городе порядок: население спокойно, продукты раздобыли и обед, должно быть, готов. Он поехал впереди и скоро привел полк к большому каменному дому возле железнодорожной станции. Во дворе был колодец, и на разложенном огне булькали и исходили паром большие казаны. Гремя котелками и флягами, бойцы оживленной толпой окружили колодец и казаны.

Напившись и наевшись, бойцы стали было располагаться на отдых, но Дьяков, хмурясь, построил полк и повел его опять за город, к озеру. Он не думал, что белые сегодня же подойдут к городу, но знал, что без хороших окопов и траншей им не выстоять против белых и часу. Чтобы не дать противнику ни капли воды, Дьяков решил соорудить окопы перед озером. Единственно, чего он опасался, это того, что белые могут быстро обойти их с флангов. Боялся этого и Хан-Дауров. Посовещавшись, они решили сосредоточить все оставшиеся орудия на правом, самом уязвимом фланге.

Всю ночь провел Дьяков среди бойцов, усердно рывших окопы. Он тоже взялся было за лопату, но, заметив неодобрение бойцов, бросил ее. Уже к утру Коммунистический полк, работавший на западной стороне Челкарского озера, зарылся в окопы. Бойцы уснули мгновенно, прямо в окопах. Вместе с ними забылся в коротком сне и Дьяков. Проснулся он на рассвете и почувствовал себя легко. Наскоро искупавшись в холодной озерной воде, он совсем прибодрился. Давно уже не испытывал он такого деятельного и бодрого состояния души и тела. Оглядев глубокие окопы и траншеи, вырытые вдоль озера за одну ночь, он лишний раз порадовался, что не стал откладывать эту работу на утро и не пожалел бойцов. Зато теперь можно со спокойной совестью ждать подхода белых.

Мурлыкая себе под нос какую-то давно забытую и только теперь пришедшую на ум песенку, Дьяков побрился, потом почистил свою пропыленную одежду и привел себя в порядок. Бойцы, привыкшие к коротким снам между боями, тоже начали подниматься. Заметив на себе их взгляды, Дьяков тут же оборвал свое мурлыканье и согнал с лица улыбку. «Что это на меня вдруг

напало? Не вижу никаких причин для веселья», — хмурился, подумал он, но сладить со своей радостью не мог. Настроение у него было как у парня, побывавшего в жарких девичьих объятьях. Дьяков хмыкнул и улыбнулся. Он прожил уже полжизни, а такого ощущения не испытал, хоть это игривое сравнение любили повторять казахские джигиты из сотни Еламана. Он живо представил себе счастливого молодца-джигита, прошедшего блаженную ночь в жарких объятиях девушки. Какое, должно быть, легкое, чудесное счастье! Конечно, далеко не всем оно дается. Но зато уж тот, кто испытал это блаженство, не забудет его, наверное, до последнего вздоха. А когда наступит роковой час, то, уходя из этого дурацкого мира, человек из всех своих скудных радостей прежде всего вспомнит именно эти счастливые минуты. Должно быть так? Кто знает...

Подозвав Еламана, Дьяков прошелся с ним в сторону степи.

— Ну как, не тянет тебя в аул? — спросил Дьяков и улыбнулся. Еламан не понял, зачем спросил его об этом комиссар, и промолчал. — До Аральска нам помощи ждать неоткуда, и здесь мы не задержимся, — уже другим тоном сказал Дьяков. — Здесь нас разобьют.

— Ты это серьезно?

— Никуда не денешься, мало у нас тут сил... Тем более, — Дьяков повысил голос и остановился, — тем более нам нужно думать о будущем! Сегодняшним днем мир не кончается. Кроме Чернова, есть еще атаман Дутов, и нам нельзя об этом забывать. Нам нужна своя конница, не эскадрон, а полк, дивизия, понимаешь?

— Так мне в аулах набирать людей?

— Не людей, а коней. Это, собственно, мысль Хан-Даурова, мы с ним говорили.

— Сколько нужно?

— Сколько сумеешь. Чем больше, тем лучше.

— Ладно.

— Тогда поезжай. Тебе надо уехать отсюда до боя. Хочешь, возьми с собой кого-нибудь.

— Не надо. Здесь люди нужнее.

— И то правда, сейчас нам дорог каждый человек.

— Ну... тогда я прямо поеду?

— Поезжай. Только вместо себя...

— Али останется.

— А-а. Хорошо. Мне этот парень нравится. Ну счастливо!

Позавтракав вместе со своими джигитами, Еламан сказал Али, что едет срочно в аул и оставляет его вместо себя. Наказав джигитам слушаться Али, как пророка, Еламан пошел к своему коню, стреноженному в камышах на берегу озера.

Дьяков в это время вернулся к окопам и смотрел в бинокль на горизонт. Кто-то подошел к нему сзади и положил руку на плечо.

— Ну, как дела?

— Здравия желаю, товарищ комдив! — невесело сказал Дьяков и оторвался от бинокля.

— Бойцы отдохнули, поели?

— Понемножку и того и другого...

— Разведку не высылал?

— Какая разведка? Во-он пыль на горизонте...

— Это он, конечно. Так, так. Значит, готовы встретить гостя?

Дьяков промолчал, а Хан-Дауров своими круглыми выпуклыми глазами быстро оглядел окопы и траншеи. «Ишь ты, сукин сын! — с удовольствием подумал он. — Уж не военным ли искусством занимался он десять лет в Сибири?»

— А почему расположился спиной к озеру? — спросил он строго.

— Да так вроде лучше. Хоть воды у нас будет вдоволь.

— А если отступать?

Дьяков улыбнулся невесело.

— Все как будто учел, а вот об отступлении позабыл.

— Может, наступать собрался?

— Эх, Иван Артемьевич, чего об этом заранее думать, об отступлении. Дело известное, если уж нужно дать деру, любой в игольное ушко пролезет...

Хан-Дауров расхохотался, усмехнулся и Дьяков, а сам все не отрывал взгляда от клубящейся на гори-

зонте пыли. А может быть, это стадо гонят на водопой? Нет, это не стадо. Вокруг Челкара не видно было ни одного аула. А ведь давно замечено: если приближается бой, казахские аулы мигом собирают юрты и исчезают.

Хан-Дауров вдруг насупился, взял у Дьякова бинокль и приник к нему. Он смотрел долго, поворачиваясь в разные стороны, наконец оторвался от бинокля и взглянул на Дьякова. Глаза его потемнели, брови сошлись к переносице.

— Ну вот и пожаловали...

— Эх, черт возьми, было бы патронов и снарядов побольше...

— Было бы! Было бы, другой разговор был бы. Вот так. Впрочем, теперь это не твоя забота. Собирайся — и в дорогу!

— То есть как? В какую дорогу?

— Велено тебе срочно ехать в штаб Туркестанского фронта. На, читай телеграмму.

— Гм...— Дьяков пробежал глазами текст.— Тут не говорится зачем. Не знаете?

— Откуда мне знать?

— Когда же выезжать?

— Сейчас же, пока не начался бой.

— А полк?

— Я сам буду здесь. Ну прощай, всего доброго!

Дьяков пристально взгляделся в Хан-Даурова. Крупное подвижное лицо его было теперь сурово, почти мрачно. Отчаянной храбрости человек, он во время боев был неразлучен с бойцами. За это бойцы любили его и верили ему безгранично.

«Интересно, зачем я им понадобился?» — уже шагая в город, раздумывал Дьяков.

## XII

Добровольческий полк соль-илецких казаков первым подошел к Челкару. Обычно этот полк находился впереди основных частей, высылал разведку, завязывал мелкие стычки, но в крупные бои не ввязывался. Но на этот раз люди и кони были так измучены жаждой, а переливающееся в мареве Челкарское озеро было так

близко, что полк сразу вступил в бой. Казаки несколько раз атаковали позиции красных, надеясь нащупать в обороне уязвимое место и прорваться к озеру, но красные оказали столь яростное сопротивление, что Сольилецкий полк скоро выдохся, отступил и занял позиции на холме за Черным Перевалом. Чем ниже опускалось солнце, тем на этом широком холме, занявшем пространство чуть не в полгоризонта, становилось многлюднее. Из глубины степей, из-за перевала, поднимая тучи пыли чуть не до неба, нескончаемым потоком текла и текла белая армия.

Невыносимая дневная жара спала, но облегчение не приходило — наступила безветренная, душная южная ночь. Бойцы, разгоряченные боем, задыхались, и все — и мокрые от пота гимнастерки, и оружие — было им в тягость. Хан-Дауров обходил цепи Коммунистического полка. Он знал, что белые сейчас изнемогают от жажды, а там, где они теперь расположились, не было ни капли воды. И поэтому, рассуждал комдив, находясь в непосредственной близости от Челкарского озера, белые вряд ли станут дожидаться следующего дня, а все силы свои бросят в бой еще ночью.

Но, по-видимому, у генерала Чернова было свое на уме. Ночь, к удивлению бойцов, прошла спокойно. Только под утро на передовых пикетах началась беспорядочная стрельба. Пикетчикам показалось почему-то, что подходят белые, и, не видя ничего в темноте, они принялись бестолково палить в ту сторону, откуда почудилась им опасность.

Город в эту ночь тоже не спал. Дневной бой с казаками и предутренняя перестрелка напугали жителей. Все сидели по домам, стараясь держаться подальше от окон. Пожалуй, одного только человека ночная перестрелка застала на улице. Танирберген приехал в город вчера к обеду. Он не хотел вспоминать свое унижительное состояние, когда томился в плену у красных. Слава аллаху, продержав месяц, отпустили домой. Живя в своем ауле, в степной глуши, он из множества противоречивых слухов чутьем своим выбирал самые верные и знал поэтому, что война не минует его мест. Утвердившись в этой мысли, он срочно перебросил свой аул на новую стоянку в Карала-Коп, а сам, на этот раз без провожатых, спешно выехал в город.

Ему не хотелось останавливаться в домах своих богатых приятелей Темирке и Абейсына. С некоторых пор он чувствовал к ним странную неприязнь. Остановился он у небогатого казаха, рабочего скотобойни, живущего на окраине города. Отец этого казаха работал когда-то табунщиком в ауле Танирбергена, но однажды рассорился с байским аулом, взял жену и детей и подался в город. Сын непокорного табунщика тем не менее мурзу уважал и каждый раз при встрече в городе выражал готовность услужить ему.

Когда мурза остановился возле его невзрачного домишки и спешил, у бедняги от неожиданности едва не отнялись ноги. Танирберген не любил суетливых и слишком услужливых людей. «Э, оставь!» — хотелось ему сказать, но, понимая, что счастливый хлопотун уймется не скоро, мурза решил: «Ладно, пусть тешится...»

Важный, полный достоинства, стоял он посреди дома. Дорогой серый чапан его был расстегнут, руки с камчой он заложил за спину. Непривычно, скучно и неуютно показалось ему в этом бедном доме. «Напрасно все-таки я тут остановился», — подумал было он, но тут же и оживился — в комнату вошла молодая хозяйка. Смущаясь перед мужем, ухаживая за высоким гостем, она ходила по дому робко и стыдливо. Пронзительные блестящие глаза красавца мурзы волновали ее. Белое смазливое личико ее то и дело вспыхивало. «Э, черт возьми! Везет же таким недотепам на баб!» — подумал Танирберген, с трудом отводя от хозяйки глаза. И он тут же решил, что нужно будет отправить этого услужливого джигита по делам куда-нибудь подальше. И от этой мысли он повеселел и приободрился.

Немало новостей узнал мурза за чаем. Узнал он, что красные бегут под натиском белых, что белые взяли уже Актюбинск, станции Кандагач, Эмбу, Журун и не сегодня-завтра возьмут Челкар. Узнал, что дивизия Хандаурова уже в Челкаре, но, по слухам, долго тут не задержится, что сегодня утром на станцию прибыл отряд железнодорожников...

Еще при въезде в город мурза заметил, что все приезжие стремятся убраться отсюда подобру-поздорову, а местные жители попрятались по домам, как суслики.

Мурза и сам был бы непрочь оказаться теперь как можно дальше от Челкара, но у него здесь было важное дело — он хотел повидаться с братом Жасанжаном.

Решив отдохнуть после чаю и позабавиться немного с молодой хозяйкой, Танирберген отправил хозяина на станцию условиться с Жасанжаном о часе встречи. А поздно вечером, когда город отходил уже ко сну, мурза вышел из дома, накинув на плечи чапан, и отправился на станцию.

Жасанжан был один в вагоне и ждал брата. Он расхаживал по вагону и поглядывал на часы. Увидев мурзу, Жасанжан остановился и жадно вгляделся в его лицо.

— Все ли благополучно в ауле? — тревожно спросил он.

Танирберген молча обнял младшего брата. Ему сразу понравилась военная форма Жасанжана. Черные мягкие сапоги, серебряные шпоры, дорогая шапка — все это очень шло молодому холеному джигиту.

— Все ли живы-здоровы? — опять спросил Жасанжан.

— Слава аллаху!

— Ужасно рад, что ты меня нашел, Какими судьбами?

— Да просто захотел с тобой повидаться.

— С красным командиром? Ну конечно, ругать меня будешь?

— Ну что ты, дорогой? С чего ты взял?

— Как с чего! Кого бранит казахский бай? Свою жену, своих слуг, а потом младшего брата. Не так ли?

Танирберген хмыкнул и посмеялся немного. Тотчас пришли ему на ум аульные собаки, по сорок раз грызущиеся каждый божий день. Так вот и мы, подумалось ему, в разлуке скучаем, мечтаем о встрече, а встретившись, начинаем тут же, как псы с одного двора, цапаться друг с другом. Танирбергену внезапно стало грустно. Усмешка его перешла в печальную улыбку.

— Я знаю, я для вас протухшее яйцо! — почему-то распаляясь, заговорил Жасанжан. — Да, да, тухлое яйцо, которое выбрасывают.

— Да ты сядь, пожалуйста, мне с тобой поговорить надо.



— Ну ругай, брани как хочешь. Хочешь, прибей, я и не пикну. Я ведь твой младший брат. Только сначала выслушай. Ведь мою душу собаки терзают, веришь ли?

— Ну что ты, родной мой. И потом, что это ты на меня насакиваешь? Я ведь тебе пока еще слова не сказал.

— Наперед знаю, что ты скажешь. У вас одна песня: все вы хороши, один я урод.

— Да уймись ты, говорят тебе!

— Никогда вы меня не понимали...

— А вот это ты напрасно. Все мы каждый божий день благодарим создателя за то, что у нас есть такой брат. Ты молод, но образован и умен, не нам, степнякам, чета. А главное, давно уже предугадал будущее. Понимаешь?

— Да где там предугадал...

— Нет, нет! — оживился Танирберген. — Ты один из нас сумел вовремя стать на верную дорогу. Впредь ее и держись. Я специально хотел тебе это сказать, понимаешь?

— Ах, устал я. И терпенье мое иссякло. Как подумаешь обо всех нас...

— А ты о нас не думай, зачем это тебе? Сейчас ты должен думать только о себе.

— Вот как?

— Именно! От нас сейчас счастье отвернулось. Ныне божьи избранники — голодранцы. А значит, и будущее за ними. Перейдя заранее на их сторону, ты очень умно поступил.

— Ты шутишь?

— Какие шутки, милый мой?

— Да ты пойми, что нужно жить по вере, тогда душа будет спокойна.

— Что же в том, что ты им служишь без веры? В том большого греха нет. Коран этого не осуждает. Сам пророк учил: «Сильным прислуживай».

Жасанжан нервно рассмеялся. Матово-смуглое лицо его пошло красными пятнами.

— Когда нам нужно оправдать свои неблагоприятные дела, у нас, видите ли, под рукой всегда аллах и коран. Ну и народ!

Он вскочил и, отпихнув ногой стул, стал бегать по вагону, бренча шпорами.

— Да, да, да! Именно наше обывательское самодовольство угробило нас. Там, где нужно было бы объединиться и уничтожить этих мерзавцев, мы разбежались по кустам, заботясь только о своем собственном ничтожестве. Нам лишь бы скотины побольше да бабу послаще. А там пусть все хоть огнем горит. Ну и народ! Ну и народ!

Танирберген помрачнел. Куда он гнет, этот мальчишка? Создавать свое войско, бороться с красными? Дурак!

— Глупый ты мальчишка! Если не о нас, то хоть о себе подумай. Подумай, чем могут кончиться все эти затеи?

— А мне все равно. К черту!

— Н-да... Раньше, помнится, ты был не таким. Не такие говорил ты речи. Помнишь, еще когда мы были в силе, когда от благоденствия жаворонки откладывали яйца на спинах овец, ты утверждал, что будущее будет принадлежать беднякам. Мне еще тогда казалось, что накликаешь ты беду на наши счастливые головы. И хоть кричал я на тебя, но в душе-то что у меня было? Что я мог? Беспомощность...

— Вот эта беспомощность и доконала нас.

— А ты тогда казался провидцем, ишаном. Зато теперь ты похож на безумного мальчишку на пожаре, лезущего в огонь.

— Легко говорить. Действовать надо. Хватит с нас святых и провидцев. Святым легко — брякнул свою глупость и пошел спать. Сейчас один солдат стоит дорожке тысячи святых болтунов.

— Так, значит, у тебя есть еще надежда?

— Без надежды и дня не прожить.

— Да, но ты-то сам пока служишь кафырам?

— Что делать хлебробу, когда на его посевы обрушивается саранча?

— Ну?

— Истреблять эту саранчу. Истреблять!

Жасанжан вдруг зашелся в кашле, и лицо его приняло такой беспомощный, детский вид, что Танирберген поспешно отвернулся. «Несчастный!» — подумал он, и

такая жалость к младшему брату поднялась в нем, что он вдруг увидел его маленьким и ему захотелось приласкать его, рассказать ему на ночь добрую сказку, как, бывало, в детстве в сумеречный час, баюкая внуков, делали это добрые бабушки.

Отдышавшись, Жасанжан виновато поглядел на Танирбергена и мягко улыбнулся.

— Прости,— сказал он негромко и загрустил.— Верно, надо бы истреблять эту саранчу, да совсем плохие времена настали. Чернь с каждым днем набирает силу. Ты прав, в прежние годы я жалел чернь, думая, что ей довольно будет свободы. Как бы не так! Она ненасытна, жадна и жестока. Это она убила нашего брата, волостного. А теперь уже губит всех подряд. Сегодня наших соседей, а завтра подойдет и твой черед. Заберут весь твой скот, одежду с тебя сдерут, юрту твою опрокинут. Какой смысл будет тогда во всей твоей жизни? Так не лучше ли, пока в моих руках есть сила, пока есть у меня преданные люди, не лучше ли схватиться с этими мерзавцами не на жизнь, а на смерть?

— А по-моему, наоборот, служить этим мерзавцам верой и правдой. Этим ты спасешь не только себя, но и всех нас. Впрочем, поступай как знаешь.

Танирберген нахмурился, встал и вышел из вагона, не сказав на прощанье ни слова. Жасанжан выскочил за ним и, видя, что брат уходит и не оборачивается, хотел крикнуть ему, позвать, чтобы еще раз обнять его, но только растерянно улыбнулся задрожавшими губами.

Танирберген быстро шел по ночному городу. Маленькие приземистые домишки с наглухо закрытыми ставнями мрачно темнели по обе стороны улицы. Нигде не было ни души. «Несчастный мальчишка!» — думал мурза, с жалостью вспоминая брата.

Он так глубоко задумался о будущем, что не заметил, как пришел к дому, в котором остановился. В этот самый час началась беспорядочная стрельба за озером. Заскулила во дворе собака, всхрапнул и беспокойно переступил ногами конь Танирбергена. Мурза стоял, подняв голову к небу, прислушивался к выстрелам и думал с печалью о брате. Он вдруг увидел, как ослепительно

вспыхнула и, оставив мгновенный фосфорический след, сорвалась в черную пучину маленькая звездочка. «Чья была эта звезда?» — сам себя спросил мурза и подумал, что в этот миг, может быть, погасла еще одна дорогая для него жизнь на земле.

### XIII

На следующий день белые ворвались в город. До полудня за озером шел ожесточенный бой, то и дело переходивший в рукопашную схватку, но кавалерия атамана Дутова, прорвав левый фланг, занимала уже городские окраины. Из-за опасности окружения долее медлить стало невозможно, и красные, отстреливаясь, начали поспешно отступать.

Намеревавшийся еще раз повидаться с Жасанжаном перед отъездом, Танирберген невольно задержался в городе. Хоть бой возле озера загредел с самого утра, никто из горожан не думал, что красные так скоро отдадут узловую станцию с вагонным цехом и паровозным депо. Танирберген решил, что теперь самым разумным будет пожить несколько дней в городе, чтобы действительно узнать, много ли войск у белых. То, что он увидел, поразило и воодушевило его.

Следом за казаками Дутова в город стали входить пропыленные колонны пехоты, огромные обозы, легкие и тяжелые орудия... Стреляя моторами, лязгая гусеницами, по улицам ползли невиданные в этих краях темно-зеленые чудовища — броневики. Глинобитные домишки Челкара сотрясались. Напуганные обыватели запирали окна и двери. Танирбергену было одновременно радостно и жутко. В первый же день казаки свели у него коня со двора, но мурза не стал расстраиваться. Потеря коня в такой день показалась ему неважной.

На другой день Танирберген узнал, что командующий белой армией собирает у себя именитых баев из окрестных аулов, волостных правителей и богатых купцов. Осторожный мурза решил притвориться больным и на собрание не пошел.

Всю вторую половину дня к большому дому, где расположился генерал Чернов, съезжались из всех близ-

лежащих аулов самые влиятельные люди. Уже вечерело, когда генерал вышел во двор. Ему вынесли легкий столик и кресло. Собравшиеся с пронзительным любопытством смотрели на Чернова. В задних рядах оживленно перешептывались. Попросив чаю и помешивая серебряной ложечкой в стакане, Чернов усталым взглядом обвел богатых казахов.

Среди кучки черносюртучников, державшихся обособленно, притаился и Темирке в неизменной своей плюшевой тюбетейке. Он нутром чуял, что не для приятной беседы собрал их русский генерал. Видит аллах, придется им раскошелиться! А когда, как ему показалось, генеральский взгляд задержался на нем, Темирке стало совсем не по себе. «И-и, алла, видно, кто-то уже успел ему шепнуть о моем богатстве!» — подумал он, заводя глаза.

Командующий был немногословен и говорил тихо, но слабый голос его был слышен всем: армия нуждается во многом, нужны свежие лошади, продовольствие, фураж...

Несмотря на жару, Темирке сразу пробрал озноб, и он, поеживаясь, забормотал:

— Видали? Нет, вы только послушайте, тут собственное брюхо не знаешь, чем набить, а этот хочет, чтобы мы такую ораву кормили! Э-э, нет, нет. Не знаю, как другие, а я совсем не богат.

Как всегда, собравшиеся смущенно заерзали, незаметно поглядывая друг на друга и на генерала. После затянувшегося молчания два-три голоса высказались в том смысле, что куда же деваться, надо помочь, хоть и худо в этом году со скотиной, но чем можно, отчего не помочь.

Адъютант, все это время терпеливо стоявший за спиной генерала, шагнул вперед и, почтительно наклонившись, сказал что-то на ухо командующему. Чернов кивнул и опять внимательно оглядел собравшихся.

— Судя по всему, дорога на Аральск будет нелегкой, — строго сказал он и кашлянул. — Впереди простираются безлюдные пустыни. Нам нужен до Аральска надежный проводник.

Опять все попрытали глаза и призадумались. Зато Темирке вдруг встрепенулся и поднял голову. Глаза его

заблестели, лицо приняло угодливое выражение. Соседи покосились на него испуганно, а генерал, наткнувшись на него взглядом, прищурился.

— Вот вы, в тюбетейке... Вы хотите сказать что-то?

— Есть у нас такой человек,— быстро отвечал Темирке.

— Очень хорошо. Кто он такой?

Темирке смутился и вдруг толкнул ногой сидевшего рядом Абейсына.

— Вот он тоже знает его.

— Ничего я не знаю,— испуганно сказал Абейсын.

— Как так не знаешь? Вы же земляки, из одного аула!

— Ай отстань, ради бога, сказал, ничего не знаю.

Темирке растерянно воззрился на соседа, на его будто ледяное застывшее лицо, на его мясистые губы, на тяжелые бесстрастные веки.

Абейсын сидел не шелохнувшись, будто он и самого Темирке не знал. Темирке совсем упал духом.

— И-и, алла,— застонал он.— Вот всегда так. Один я не умею держать язык за зубами. Не умею... Не умею, горе мне! Я ведь думал, что тут все знают почтенного мурзу... Танирбергена.

— Как вы сказали?— живо переспросил генерал.

— Танирберген, я сказал, его звать.

Переглянувшись с адъютантом, Чернов нахмурился.

— А кто он такой, ваш Танир?..

— И-и, алла! Нет надежней человека, ваше благородие. Бай, мурза.

— Он не с Аральского побережья родом?

— Да, да, да, оттуда, оттуда. Он самый. Выходит, вы его знаете?

— А где же он? Почему его нет среди вас?

— Он тут, в городе.

— Вот как?

— Наверно, не известили его, ваше благородие,— торопился Темирке.— Знал бы, первый был бы здесь. Прекрасный человек! Джигит!

Генерал Чернов живо повернулся к адъютанту и тихо проговорил:

— Узнайте у этого лопоухого, где остановился мурза.

— Слушаюсь,— отчеканил адъютант.

В прошлом году вскоре после женитьбы Еламана на Кенжекей' приехал к ним старый Суйеу. Он пригнал брюхатую одногорбую верблюдицу — нара. «Малышей у тебя теперь целый аул,— рассуждал он.— Верблюдица весной верблюжонка принесет, и молоко будет. Вот и радость твоим детишкам».

Настоял-таки тогда на своем старик, а теперь все лето молока детям было вдоволь. Только в рыбацьем ауле не было скотины, и удержать ее одну возле дома было невозможно. В поисках табуна и хорошего корма одинокая верблюдица уходила все дальше. Ее манило на привычные пастбища, где в это время было вдоволь и воды и травы. Измученная Кенжекей пробовала спутывать ей передние ноги. Но, прыгая, как конь, верблюдица все равно уходила на джайляу.

Сегодня Кенжекей нашла ее далеко, за Бел-Араном. Пока она ее искала, в горле у нее пересохло, мучила жажда, а песок нестерпимо жег ноги. Солнце, как назло, застряло в зените и нещадно палило. Кенжекей все оборачивалась, все поглядывала на небо. Небольшая серая туча давно уже поднялась откуда-то сзади, из-за горизонта, и становилась все шире и шире. Тень от тучи незаметно скользила по земле, переплывала с холма на холм и настигала Кенжекей с верблюдицей. Кенжекей повеселела, с облегчением ощутив слабое прохладное дуновение. А солнце по-прежнему опаляло выцветшее от зноя небо. Но тут из тучи посыпался вдруг мелкий светлый дождик. И сразу же будто всей грудью вздохнула серая обессиленная степь, и пыль покрылась темными оспинками от дробовых капель. Зной сразу свалился, и уже не так жгло ноги, и дышать стало легче.

Вспомнив детей, оставленных дома, Кенжекей забеспокоилась. Она надеялась вернуться скоро и не предупредила соседей. Она особенно побаивалась за старшего сына Утеша. Сердце ее ныло, когда она думала о нем. Вместо того чтобы быть опорой матери, этот сорванец с каждым днем все больше отбивался от рук. Стоило матери отвернуться на минуту, как младшие ребяташки поднимали страшный крик — Утеш уже

успевал их обидеть. Особенно доставалось от него маленькому сыну угнанной басмачами Балжан.

— Ай, Утешжан-ай, ну зачем ты его обижаешь?

— Да-а... Нужен он мне! Плакса!

— Ты-ы-ы... оби-и-идел... Мои асыки...

— Сейчас же отдай ему асыки! Слышишь?

Утеш независимо держал руки за спиной и злобно сопел. Потом размахнулся и швырнул горсть асыков к двери. Сын Балжан, потрясенный несправедливостью, заревел еще пуще...

— Моя кра-а-сная бита-а-а!..

— У бесстыдник! Отдай! — опять крикнула Кенжекей.

Утеш засопел еще сильнее. Круглые кошачьи глазки его с откровенной ненавистью уставились на мать и братишку. С битой он решил не расставаться. Тихая, добрая от природы Кенжекей никогда не была своих детей, тем более Утеша. Он с пеленок рос и воспитывался у бабушки, будто ее самый последний сын, и Кенжекей привыкла относиться к нему с почтением, как к младшему деверю. Но тут терпение ее лопнуло, и она стукнула Утеша, который в эту минуту удивительно был похож на своего отца Тулеу.

— Отдай! Сейчас же отдай!

Утеш не заплакал. Глаза на его побледневшем лице горели. С диким выражением, свойственным всем мужчинам этого рода, поглядел он на мать и медленно достал откуда-то из штанов выкрашенную хной биту.

— Ты пасынков любишь больше, чем родных детей! — с яростью выговорил он.

— Замолчи! Он твой единокровный братишка!

— Сказанула тоже! Забыла, как его мать, вражина, тебя за волосы вокруг юрты...

Кенжекей даже затряслась.

— Вон! Вон отсюда, стервец!

Утеш и не подумал уйти. Кенжекей уже готова была выцарапать его наглые гляделки. Подскочив к нему, она завопила:

— Убирайся, скотина!

И, уже вытолкав его в шею, долго еще не могла успокоиться и бурно дышала. Сдерживая гневные слезы, она думала: какой паршивец! Пошел в Тулеу. Чем



старше становится, тем заметнее в нем мелкая зависть и ослиное упрямство, свойственное отцу. Уже сейчас с ним не сладишь, а что потом? О, не дай, не дай бог, чтобы он с братишками своими жил потом так же, как Калау с Тулеу, которые грызлись с утра до вечера, ссорились по сорок раз на день и поганили родной очаг. Вот подрастет еще, начнет и перед Еламаном выламываться, что же тогда? Конец ее с Еламаном желанной жизни? «О господи, что мне с ним делать? Как его исправить? Вот горе-то на мою голову!» — убивалась она наедине с собой.

Подошла к ней четырехлетняя дочурка приласкаться. Нежная была дочка и, слава богу, здоровая, крепкая, ручки и ножки полненькие, как колотушки, и росла без хворостей и печали. А вот Ашимжан почему-то хиленький. Он, правда, не болел с тех пор, как Кенжекей взяла его к себе, и говорить стал хорошо, но был худенький, никак не поправлялся. А на отца похож просто поразительно. Такие же большие глаза, нос с горбинкой, и такая же ямочка на подбородке — весь в Еламана.

Еламан последнее время по своим нескончаемым военным делам пропадал надолго, и сердце Кенжекей сохло от тоски по нему. Бывало, оставив работу, она подолгу вглядывалась в лицо Ашимжана, угадывая в нем любимые черты мужа. И вдруг спохватывалась, что смотрит слишком пристально, жадно, и пугалась не на шутку, что сглазит мальчика. А как порой тянуло ее к нему, как хотелось обнять, прижать к тоскующему своему сердцу этого тихого, сосредоточенно игравшего мальчика! Но она стеснялась остальных детей. Стоило ей приласкать его чуть нежнее, чем своих, как Утеш уже зло и ревниво смотрел на нее.

От Еламана давно не было вестей. Рыбаки, побывавшие в Челкаре, Еламана там не видели, и в сердце Кенжекей закралась тревога. Где он мог быть? Потом до нее дошел слух, что к больному отцу на побывку приехала из Челкара Акбала. Сначала она не придавала этому никакого значения, но узнав о приезде Акбалы Каракатын в тот же день примчалась к Кенжекей.

— Эй, молодуха! Слышала? — закричала она еще с порога,

Кенжекей со страху лишилась голоса. Она подумала прежде всего, что что-то плохое случилось с Еламаном.

— Что такое? — еле выговорила она.

— А то, что эта сучка к родителям приперлась! — выпалила радостно Каракатын.

— Кто?

— Да Акбала, господи ты боже мой, кто же еще? А приехала она неспроста, клянусь аллахом!

— Отец у нее плох, я слышала.

— Ха! И ты поверила? Да этого старикашку никакая хворь не возьмет! У этой стервы другое на уме. Она к Еламану подкатывается, вот что! А ты просто дура. Думаешь, все такие, как ты? А вот Акбала между тем...

— О господи, молчите, прошу вас!

— Как это — молчите?

— Зачем так чернить людей?

— Ойбай-ай!.. Вот дуреха! Или ты забыла, как еще недавно тебя Тулеу за волосы...

— Перестаньте! Уйдите из моего дома!

— Ой, несчастная! Я-то уйду, а вот как уведут у тебя, дуры набитой, муженька из-под носа, вот тогда я погляжу, как ты завоешь, уж тогда я полюбуюсь! Дура! Бестолочь!

Каракатын как ошпаренная выскочила из землянки. Она не унималась и на улице, бранилась на весь аул.

Кенжекей сидела бледная. Вот шалава, где пройдет, непременно напаскудит! Чистого, невинного, и того будто сажей измажет. «Конечно, из смертных кто безгрешен? Но если есть среди них хоть один честный, то это он...»

Вечером по обыкновению она прилегла рядом с детьми на краешек постели. Долго не могла уснуть. Она старалась отогнать все сомнения и подозрения, но смутная тревога не отпускала ее.

Впервые она увидела Акбалу в тот год, когда Тулеу, оставив родные места, с семьей переехал к побережью. Встретились они у колодца. Кенжекей сердцем почув-

ствовала, что возлюбленная рзы не совсем счастлива, что-то мучает, ее угнетает, на лице ее застыла глубокая печаль. Была бы ни чернила ее злая людская душа на, должно быть, не из тех, кто не дорожит своей честью. Да что ее судить? Просто ей не повезло в жизни. Еще румянец не угас на лице, а она уже успела поскитаться на чужбине, хлебнуть горя, чужой дорогой переступить дважды и потерять сына...

Кенжекей вздохнула, посмотрела на детей. Один заговорил во сне, но потом затих. «Утешжан, наверное,— подумала Кенжекей.— Один он всегда спит тревожно». Она удивлялась, что не испытывала ни малейшей неприязни к Акбале. Наоборот, она всем сердцем сочувствовала этой женщине с нескладной, неудавшейся судьбой. И к маленькому Ашиму она этой ночью почувствовала прилив особой нежности и жалости.

Наутро Кенжекей поднялась спозаранок. Поручив детей соседке, она отправилась с Ашимом в аул старика Суйеу. Верблюдица шла неохотно, оглядывалась назад, ревела, тоскуя по оставшемуся в ауле верблюжонку. После обеда они достигли окраины большого аула. Вокруг не было ни живой души. Кенжекей подъехала. Верблюдица лениво опустилась на землю. В это время из юрты вышла молодая женщина и открыла тундук. Когда она повернулась, Кенжекей увидела ее. Побрякивая связкой сушеной рыбы, широко и простодушно улыбаясь, направилась она к красивой белолицой женщине.

— Это твоя Акбала-апа. Иди, беги, йналаин,— сказала она, слегка подталкивая мальчонку, семенившего рядом.

Кенжекей вздрогнула.

— Здравствуй, дорогая...

Акбала тогда теперь узнала женщину и попыталась заговорить на приветствие, но не могла, еще больше побледнела.

— Ну как тебе? — показала Кенжекей глазами на мальчика.

А. Тонкие ноздри ее подрагивали.

Кенжекей. Она так...

Мальчик сопел, упираясь сильнее прижимаясь к Кенжекей.

— Глупыш ты. Ничего не понимаешь, сваривала его Кенжекей.

Акбала не отрываясь смотрела с грустью на смуглого худенького мальчонку. Ашим никогда еще не видел, чтобы чужие тети с такой тоской и болью и со странным блеском в глазах смотрели на него. Он еще больше смутился и спрятал лицо в подол Кенжекей. Акбала усмехнулась, погладила сына по голове и, ни слова не сказав, повернулась и вошла в юрту.

В этот день ужинали рано. Утомленный дорогой мальчик уснул прямо за достарханом. Для гостя и сына Акбала постелила вместе, но Кенжекей; укладываясь спать, перенесла сонного мальчика на постель матери. Акбала сделала вид, что ничего не заметила. Она поставила у изголовья отца на ночь чашку с кумысом, наполнила его роговую шакшу<sup>1</sup> натертым нюхательным табаком. Потом, убавляя фитиль лампы-мигалки, мельком покосилась на спящего сына. Он тихо посапывал, положив головку на ладонь. И во сне лицо его было кротким и робким. Акбала прилегла рядом, прижала к груди щуплое тельце сына, жадно вдохнула запах прокаленного солнышка чубчика. Мальчик, не просыпаясь, доверчиво приносом к ее груди, да так и пролежал до утра.

Летнее солнце возшло над рыжим холмом за болотом. И в юрту с закрытым тундуком проник бледный, сумрачный свет. Кенжекей пошевелинулась. Акбала знала, что в ауле рыбаков просыпаются рано, что гость, несмотря на усталость, поднимется в привычное время, и осторожно встала с постели. Выйдя из юрты, Акбала поставила чай, но вслед за ней вышла Кенжекей и сразу принялась помогать ей.

— Спала кривоубитая. Ашимжан тоже не может проснуться. Дай разожгу огонь...

«Ну зачем же? Я сама справлюсь» — хотела было сказать Акбала, но боялась обидеть гостя.

<sup>1</sup> Табакерка.

Акбала была тронута добротой Кенжекей, и обеих женщин сначала как-то потянуло друг к другу. Но в то же время какая-то едва уловимая враждебность сковывала обеих. Акбала по своему обыкновению скоро стала замкнутой, гордой и души своей перед Кенжекей так и не открыла, хоть Кенжекей приехала к ней, искренне, по-бабьи пожалев ее. Почувствовав холодность, Кенжекей тоже замкнулась и заспешила домой. Сославшись на домашние дела, оставив Ашима у Акбалы, она уже на другой день уехала назад. О Еламане не было сказано ни слова. Молчание Акбалы было Кенжекей понятно, на ее месте она бы тоже молчала. Но ее неприятно поразило, что и родители Акбалы не вспоминали о Еламане, будто его и на свете никогда не было.

Акбала проводила ее за аул. Верблюдица пошла крупной рысью, спешила к верблюжонку. Глядя вслед Кенжекей, Акбала злилась, ругала себя за черствость. «Несправедлива я к ней,— думала она,— такая добрая, сердечная. Красотой не блещет, но приятная: смугла, туготела. И в Еламане, наверное, души не чает. Небось ухаживает, ласкает. А что мужчинам еще надо?..» Акбала усмехнулась.

Вспомнила она, как мать гордилась, хвалилась перед бабами ее красотой. И до смешного боялась, что дочь может располнеть. Чтобы сохранить стройность и легкость ее фигуры, она до самого замужества мучила дочь, прибегая к одному старинному способу кочевников: на ночь под одеялом-подстилкой подкладывала жесткий, из конского волоса аркан. И Акбала ворочалась всю ночь: сквозь подстилку волосяной аркан иглами покалывал нежное девичье тело. Жестким был старинный метод, но верным...

«Да-а,— думала Акбала,— как славят красоту и ум женщины! Но с годами увядает красота, ум иной раз надоедает. И видно, все же не это самое главное, важное в женщине. Совсем на другом держится доброе супружеское согласие. И бог знает, в чем оно выражается, это другое...»

В следующую ночь, прижимая к себе маленького Ашима, она вдруг вспомнила Еламана... Сон как рукой

сняло. В сумрачной юрте немигающими глазами уставилась она в одну точку.

За год до женитьбы зачастил вдруг в их аул Еламан. Э, сколько воды утекло с тех пор! Табунщиком он был тогда. Неуклюжий, в толстой зимней одежде, с задубелым от стужи и ветра лицом появлялся он у них на зимовье и всем своим видом раздражал ее. Помнится, приехал как-то в сумерках, Акбала стелила достархан перед отцом и видела, как табунщик поставил коня в затишье возле скотного двора и пошел в их дом. Стоял крепкий мороз, и было слышно, как под его ногами скрипел снежный наст. Акбала вся похолодела, швырнула достархан и собралась было к соседям, но отец вернул ее.

Еламан был застенчив. Все знали, что он приезжает ради Акбалы, но он не осмеливался поднять глаза на разливающую чай Акбалу и все краснел, терял дар речи, мучительно молчал. Отец сердито хлопал белыми ресницами, строго взглядывал на дочь. Но в такие минуты Акбала ничуть не робела перед грозным отцом. Ею овладевало дикое упрямство, желание поступить назло, наперекор, на лице застывала холодная усмешка. Она злорадствовала, чувствуя свое превосходство над этим мямлей, бубнившим что-то под нос. И пока табунщик гостил у них, пил чай и ел мясо, она не оказывала ему ни малейшего внимания. От гордости ли, от легкомыслия ли — кто знает? И не граничит ли излишняя гордость с жестокостью?..

Акбала вздохнула, посмотрела на сына. Ашим мирно, ровно посапывал. За эти дни он привык к ней. Видно, что-то чувствовал нутром. Ведь и Акбала с первого взгляда безошибочно узнала сына. Должно быть, чует, ой как чует материнское сердце родное дитя! В одно мгновение почувствовала она всем своим существом, что этот большеглазый, худенький, смуглый мальчишка, послушно семенявший рядом с малознакомой женщиной, — ее первенец, живая кровинка, ее сиротинушка. Уже потом, когда улеглось волнение, оставшись с ним наедине, каждый раз внимательно рассматривая сына с ног до головы, она с удивлением находила в нем поразительно много схожего с отцом. Те же большие глаза, раздвоенный подбородок, крупный с горбинкой нос... И характером так же тих и замкнут. Еще трехме-

сячным, бывало, когда его долго не кормили грудью, он не капризничал, не плакал. И не просыпался, пока не подходила мать и не вынимала его из люльки. И теперь он ничуть не изменился. Мальчишки в его возрасте с утра до вечера бегают как угорелые. А он, приехав, и сверстников себе не искал, и одиночества вроде не чувствовал. Целый день сидит сам по себе, глянет иногда исподлобья своими не по годам глубокими глазами и опять сам с собою играет. «Видно, точь-в-точь таким же в детстве был и его отец», — думала, глядя на сына, Акбала.

Слухи и сплетни, подогреваемые неукротимой Каракатын, не утихли и после того, как Кенжекей вернулась домой. По слухам этим выходило, что Акбала и Еламан помирились и решили снова жить вместе. Как ни крепилась, как ни уговаривала себя Кенжекей — мало ли что болтают бабы по всем углам, ну их всех! — на сердце у нее было все-таки тяжело. И только после того как она совсем замкнулась и перестала слушать кого бы то ни было, будто все эти толки ее не касались, бабы пересуды погасли сами по себе.

А тут пришла еще и весть от Еламана. Со случайным путником он прислал немного чаю и сахару и передавал привет. И хоть путник этот насчет скорого приезда Еламана ничего не говорил, но в душе Кенжекей тотчас ярко разгорелась подогреваемая бабьей тоской надежда, что муж ее вот-вот должен приехать. Едва услышав возле дома чьи-нибудь шаги или конский топот, Кенжекей вся вспыхивала, чутко прислушивалась, и сердце у нее начинало биться радостно и трепетно, как у девушки, поджидающей жениха.

Днем она пропадала на работе. Вечером же, придя домой, готовила детям ужин, потом, накормив их, укладывала пораньше спать, а сама по давнишней привычке доставала из сундука — кебеже — ворох нежной шерсти молодой верблюдицы, усаживалась у ног спящих вповалку детишек и начинала неторопливо перебирать и теревить шерсть. Кенжекей сильно изменилась с тех пор, как вышла замуж. Она и сама это замечала и, думая об этом, застенчиво и радостно улыбалась. Теперь не было для нее дороже человека, чем Еламан. Когда он бывал дома, она заботилась о нем больше, чем

о детях. Ему она готова была отдать все, что только было в их бедном доме. Теперь она горела одним желанием — своими руками связать ему легкий чапан — и выпрашивала у всех знакомых из разных аулов хотя бы по клочку шерсти.

Ей поразительно было, что она всем сердцем и так неожиданно привязалась к Еламану, будто впервые любившая девушка. После Тулеу она так зачерствела душой и так остыла ко всему мужскому племени, что даже радовалась порой: слава богу, небездетна, по-маюсь, конечно, но проживу и без мужика! Она долго не решалась выходить за Еламана замуж. Она хорошо помнила, что к этому джигиту была когда-то неравнодушна Айганша. Не будет ли Еламан жалеть потом, что женился на многодетной женщине? Но в то же время, рассуждала она, женщина слаба и, как бы ее ни били, как бы над ней ни измывались, без мужчины, кормильца, ей не прожить. Немало побоев перенесла она от Тулеу, что ж, как-нибудь выдюжит и кулаки Еламана... Пусть даже будет он ее желторотым детишкам и не родной отец, а все же какой-никакой кормилец и заступник. Может быть, под мужским крылом этого человека ее птенцов и удастся вывести в люди?

Вот так рассудив, она и вышла замуж. В то время все мужчины были для Кенжекей на одно лицо, все они, как ей казалось, были выше ее, все они были отмечены аллахом и поставлены над женщиной. Со смирением думала она, что Еламан и умом, и лицом не чета ей. И если уж его все уважали в округе, тем более сам бог велел ему верховодить в доме. С первого же дня их совместной жизни она стала покорна и безгласна, старалась держаться как можно незаметней и во всем угодить мужу. Но унижение ее как раз и не понравилось Еламану. Уже на другой день после свадьбы он, улыбаясь, вдруг сказал ей: «Слушай, Кенжекей, сядь-ка со мною рядом. Нам с тобой нужно поговорить».

Господи, сколько лет прожила она с покойным Тулеу, а он не звал ее иначе как: «Эй ты, баба!» И лишь изредка, когда бывал чем-нибудь особенно доволен, скажет помягче: «Наша баба!» И вот, когда новый ее муж так ласково и просто назвал ее по имени, данному ей родителями при рождении, у нее от неожиданности чуть



сердце не разорвалось. С этого дня Кенжекей жила как во сне.

Когда Еламану изредка удавалось приехать домой, он сразу же, не обращая внимания на ропот Кенжекей, с головой уходил в домашнюю работу. А как ловко все у него получалось, с каким наслаждением он работал! «Мне только платка на голове не хватает. А то я поспорил бы с любой бабой!» — весело говорил он про себя. И до самого отъезда все так же весело хлопотал, запасал впрок дрова, носил в дом воду. Даже за детьми следил он и ухаживал наравне с Кенжекей. Да разве это главное? Всеми почитаемый мужчина, он недостойную и низкородную жену свою как дома, так и на людях ставил высоко, перевел ее, как говорится, с порога на тор — на почетное место! Кенжекей было так хорошо, что она сначала никак не могла привыкнуть к своему новому положению и часто думала: «О господи, уж не сон ли все это?» И хоть она признавала, что все это не сон, но изведавшее много горя сердце ее нет-нет да и сжималось в предчувствии беды. Ей казалось, что такое счастье даром человеку не дается, что за него надо будет потом платить, и платить жестоко. И от таких мыслей мигом исчезала вся ее радость, только что буйно цветшая в груди, и недолгое счастье ее опять казалось ей сном.

Глухая тоска охватывала ее, и среди всех женщин, так же, как и она, разделявавших рыбу, она становилась одинока, далеко-далеко уходила в своих думах, и нож едва не выпадал из ее рук. Ей и домой не хотелось идти после работы. Одна-одинешенька понуро плелась она позади оживленной толпы баб, спешащих домой. «Надо мне было все-таки жить одной», — грустно думала она и вдруг издали замечала Еламана. Тот хлопотал, по своему обыкновению, возле дома и грел чай к возвращению жены. Кенжекей краснела, ей делалось стыдно перед соседями, потому что, казалось ей, она недостойна была такой заботы. И вдруг здоровое смуглое лицо ее вспыхивало радостью. Она уже смеялась и молилась от всей души: «О создатель, пошли ему многих лет жизни!» И все сомнения, изнурявшие ее целый день, развеивались как дым.

Шло время, и Кенжекей стала привыкать к заботам и вниманию мужа. Постепенно она избавлялась и от

унизительной мысли, что она хуже других. Ей стало казаться, что она если уж и не лучше, то, во всяком случае, не хуже многих. Позабывались прежние бесчисленные унижения, и редко теперь вспоминала она свою молодость, прошедшую в горьких слезах. После смерти свекрови соперница ее Балжан измывалась над ней как только хотела. И рано в Кенжекей погасло пламя юности, рано охладела она к жизни. Молодая бесправная женщина похожа на заброшенный, засохший молодой тополе. И вот на увядшую было молодую жизнь хлынул вдруг с неба благодатный дождь. Господи милосердый, какое неизведанное счастье!

То ли всевышний, то ли сами люди виноваты, но бывают женщины, которым не удастся молодость. А когда им уже где-то между тридцатью и сорока, когда им, уже зрелым, особенно нужна мужская ласка, не дай бог, чтобы тогда в их сердце заронила невзначай искра любви. Такие женщины становятся похожи на умирающего с голоду, дорвавшегося наконец до еды, так ненасытны и жадны делаются они. Поздно вспыхнувшая любовь умирает только вместе с ними, вместе с их холодным телом ложится в могилу. Такие женщины, и состарившись, сохраняют былую яркость губ и жар тела самой счастливой поры своей жизни. Эхе-хеу, что тут скажешь?!

Так, погруженная в свои думы, опершись подбородком о колено, долго сидела Кенжекей все в одной и той же позе. Клок шерсти, который она начала тереть, давно уж выпал из ее рук. Глаза ее ничего вокруг не видели и улыбались. Нежностью, счастьем и покоем дышало лицо. И много времени спустя, когда она уже спала, нежная улыбка все не сходила с ее круглого смуглого лица.

На другой день она проснулась позже обычного. Торопясь на работу, наскоро готовила она завтрак детишкам, как вдруг приехал Еламан. У Кенжекей все выпало из рук, и опрометью, не помня себя, кинулась она к нему и не добежала, остановилась — взгляд ее упал на большой косо́й рубец на щеке Еламана.

Еламан жадно перецеловал всех детей, а самую меньшую взял на руки.

— О, как ты выросла! — счастливо выговаривал он. — Ну как вы тут живете?

Кенжекей все не могла опомниться, не могла оторвать глаз от еще не зажившего как следует красного рубца во всю щеку.

— А где же Ашимжан? — спросил Еламан.

— У дедушки...

— Ну как же вы тут без меня? Не голодали?

— О отец Ашимжана... — дрогнувшим голосом сказала Кенжекей, по обычаю не называя мужа по имени. — О отец... — и не могла больше ничего выговорить.

Еламан только теперь заметил ужас на лице жены.

— Ну что ты, что ты! — улыбнулся он, обнимая Кенжекей. — Это все было, все прошло...

«Да, да, это прошло, это не страшно. Слава создателю, он жив, жив!» — И, чувствуя, что не выдержит, заревет в голос, если только скажет хоть слово, Кенжекей молчала, уткнувшись лицом Еламану в плечо.

— Ну а как завтрак? Чай готов? — спросил, улыбаясь, Еламан.

— О, сейчас, сейчас...

— Кенжеш!..

Руки Кенжекей вдруг бессильно повисли, а лицо вспыхнуло. Так ласково называли ее только родители, да и то давным-давно, когда была она еще девочкой с тонкими косичками. Кенжекей вопросительно взглянула на мужа.

— Кенжеш! — повторил Еламан и вроде бы смутился. — О чем это я хотел?.. А да, слушай, Аха так и не нашелся?

— Нет. Пропал бедняга, и концы в воду...

— Эх, несчастный! — пожалел Судр Ахмета Еламан.

Весть о приезде Еламана быстро облетела рыбачий аул. Первыми прибежали соседки. Потом один за другим потянулись рыбаки. Последним пришел Дос. Еламан встал, с подчеркнутым радушием встретил гостя и усадил его рядом с собой на почетное место. С помощью соседок Кенжекей быстро приготовила чай и расстелила перед мужем чистый достархан. Щедро насыпала она целую горку румяных баурсаков и положила перед каждым гостем по кусочку сахара. Потом подсела к достархану и стала разливать чай.

— Э, любезный Еламан, ты ведь не то, что мы, ты человек бывалый... — начал кто-то из старших. — Расска-



зывай, что слышал, что видел. Когда этой войне проклятой конец будет?

— В этом году должно все решиться. Так говорят знающие люди.

— Вон как! Апыр-ай, это приятная новость.

— Доброе слово — половина удачи.

— Но был слух, что белые Челкар взяли.

— Верно. Они теперь идут к Аральску.

— Апыр-ай! И много их?

— Да порядочно...

После чаю, наслушавшись разных городских новостей, гости стали расходиться. За достарханом Дос все время молчал, но, выйдя из дома, захотел поговорить с Еламаном наедине и отвел его в сторону. Еламан повернул к кладбищу за аулом. У могил Мунке и Ализы, покоившихся вместе с их десятью детьми, он начал читать молитву. Он искренне верил, что молитва близких и друзей непременно доходит до духа усопшего, и каждый раз, приезжая домой, читал что-нибудь из корана на могиле старого рыбака. Он молился, и слезы текли у него по лицу. Закончив молитву, он провел было ладонями по щекам, почувствовал свои слезы и закрыл руками лицо.

Дос раза два смущенно покосился на Еламана. Ему хотелось утешить Еламана, но, как всегда, когда нужно было сказать другу какие-то ласковые слова, у него будто язык отнимался, и он от досады на себя только хмурился. Еламан наконец вздохнул и тяжело поднялся. Дос так и не заговорил, помалкивал и Еламан, так молча они и разошлись. Стреножив за аулом коня, Еламан побродил в одиночку по берегу и уже после обеда, успокоившийся, возвращался домой, когда ему снова повстречался Дос.

— Ты ведь неспроста приехал? Я вижу,— заговорил наконец Дос.— Зачем же?

Хоть соседям Еламан и словом не обмолвился о цели своего приезда, от Доса он не хотел ничего скрывать. И он рассказал, что белые сейчас сильны как никогда, что от самого Актюбинска они без передышки гонят красных, но что превосходство их временное. Сейчас обе стороны — и белые, и красные — заняты приготовлениями к главному сражению под Аральском. Белые ждут помощи от богачей, баев вроде Танирбергена. А красные шлют по аулам бедных казахских джигитов, чтобы собирать коней и продовольствие.

— Ну а я,— закончил Еламан,— приехал сюда за табунами Танирбергена. Этот проныра наперед знает, откуда ветер подует. Он теперь свои табуны так запрятал, ни одна душа не знает.

— Н-да.., Вот лиса! Узнать бы, лучше добра не найдешь.

— Ну за этим дело не станет! Даже если его кони превратятся в лисиц и попрячутся по норам, рука Калена их и там достанет.

— Ты сказал, Калена?!

— О-о, Дос-ага, я и забыл суюнши у тебя попросить. Ведь Кален-то удрал из Сибири!

— Что ты говоришь! Вот молодец-то, а? Батыр!

— Еще бы! Ведь мы семижилые, мы и в воде не тонем, и в огне не горим. Нас на край света загоняют, а мы снова тут как тут! Понял? — И Еламан захохотал, хлопнув Досу по плечу.

Дерзкий, уверенный смех Еламана не понравился суверенному Досу.

Еламан бросил недоуздок на седло, лежавшее у порога, взял на руки маленькую падчерицу, игравшую во дворе, и пошел в дом. После ухода гостей Кенжекей успела выбить половики, подстилки, и в землянке было прибрано и чисто. Дети тоже одеты были во все чистое. Сама Кенжекей нарядилась в белое ситцевое платье, много лет пролежавшее на дне сундука, и в уже потерянный плюшевый камзол. Лицо ее то и дело вспыхивало от радостного волнения, вся она так и светилась. Оживленно хлопотала она возле казана, в котором на медленном огне варилась свежая рыба, выписанная ей сегодня в счет будущей получки.

— А ну давай помогу,— весело сказал Еламан.

Но Кенжекей на этот раз оказалась неумолима.

— Еще в день приезда будешь работать! Как бы не так! Иди отдыхай или с детьми поиграй...

Взяв за руки, она потащила его к детям. Еламан, улыбаясь, покорно пошел за ней, потом вдруг вырвал руки, обнял ее и поцеловал. Крепкие щеки Кенжекей стыдливо зарделись. Она ловко вывернулась из объятий Еламана и, поправляя жаулык на голове, сказала смущенно:

— Что это с тобой случилось? Перед детьми-то стыдно...

До самого ужина провозился Еламан с детьми. Двух младших он посадил себе на спину и без конца возил их на четвереньках из угла в угол. Или ложился нич-

ком и, двигая шеей, ревел и сипел, подражая капризному верблюду. Еламан видел, как оттаивают и радуются дети, и, глядя на них, сам всей душой предавался веселью и так увлекся, что стал похож на большого ребенка.

Кенжекей, бросив свои дела, с умилением смотрела на мужа. Что бы он ни делал, все вызывало в ней радость. Все выходило у него, будто по ее желанию. Стоило ему немного побыть дома, как сразу преображался и наполнялся радостью их убогий очаг. Особенно счастливы становились ее не избалованные вниманием полусироты. Даже Утеш — уж на что бука! — и тот забывался, веселел и незаметно для себя втягивался в игру, придуманную отчимом.

Ужин был давно готов, а Кенжекей, не желая прерывать игру, улыбаясь, молча сидела возле горячего казана. Она только благодарила всевышнего за то, что тот связал ее судьбу с этим скромным, как ребенок, красивым мужчиной, и шептала про себя: «Ия, аллах, не лишай меня этой радости!»

— Эй, самый большой ребенок, — решила наконец сказать Кенжекей. — Ужин готов!

Поужинав, Еламан вышел. Кенжекей уложила детей сегодня раньше обычного. Потом приготовила постель и для себя с Еламаном, но ложиться одна не стала. Будто юная девушка, поджидающая своего возлюбленного, сидела она у изножья, полураздетая, и зябко поеживалась в ожидании сладостного мига супружеских объятий. Еламан долго с кем-то разговаривал возле дома. До слуха ее доносились голоса, но в слова она не вслушивалась. Довольно долго прождав мужа, она наконец вздохнула и принялась чинить одну из старых его рубашек. Но работа у нее не ладилась — то рвались нитки, то она колола себе пальцы иглой... Столь долгое отсутствие Еламана стало уже удивлять и обижать ее, выронив иголку с ниткой, она пригорюнилась.

Подол платья задрался у ней нечаянно выше колен, и полные, круглые, тугие, не тронутые солнцем ноги поражали при свете рядом стоявшей лампы чистой, гладкой, как атлас, белизной кожи. Кенжекей всегда считала себя самой обыкновенной бабой, одной из многих дурну-

шек в белом жаулыке, даже хуже других, и вот только сейчас как будто впервые увидала свое красивое, молодое, крепкое тело. Она обрадовалась и смутилась одновременно и, прыснув, как девочка, юркнула под одеяло у изножья постели. Она не успела отсмеяться, как услышала шаги подходившего Еламана и проворно вскочила. Чувствуя одно только колотящееся сердце, она схватилась за грудь, и вдруг ей вспомнились слова Каракатын о Еламане и Акбале. Когда вошел Еламан, она была бледна и не глядела на него.

— Что такое, Кенжекей? — удивился Еламан. — Уж не обидел ли тебя кто-нибудь?

Она покусала губы, не зная, что сказать.

— Кто теперь меня может обидеть?

Но он видел, что она мучится, и ждал.

— Ты только не ругайся, но, знаешь, мне все кажется, что я недостойна... недостойна такого счастья. И еще кажется, что все это ненадолго...

— Ах, милая! И все?

— Да. И еще...

— Ну-ну?

Кенжекей совсем смутилась и повернулась боком к Еламану. Она то скатывала, то снова расправляла край алаши под собой и, заметив это, окончательно потерялась.

— Вот болтают тут... — сказала она дрогнувшим голосом и осеклась.

Еламан подсел к ней и погладил ее плечо.

— Ну?

— Люди говорят... ты опять с Акбалой... встречаешься. Если это так... конечно, чем она хуже других? Даже лучше! Только вот не повезло ей... Ну что ж, на худой конец, буду одной из твоих жен. Лишь бы детишки подросли, окрепли бы под твоим крылом, лишь бы сиротства не знали! А я буду счастлива даже только видеть тебя...

Еламан не знал, что и говорить. В горле у него пересохло, и он несколько раз сглатывал слюну. Когда он услышал имя Акбалы, обветренное лицо его вспыхнуло.

— Кенжекей, милая... — забормотал он. — Бог свидетель...



— Не божись, не надо. Я тебе и так поверю.

— Спасибо. Ну вот и все... А люди чего не наговорят? Рты им всем не позатыкаешь.

На глаза Кенжекей навернулись слезы. Ей стало стыдно этих слез, и она потупилась.

— И что это сегодня со мной творится?

Никогда прежде не нравилась она ему так, как в этот вечер. Он и раньше знал ее кроткий, тихий нрав и нежную, добрую душу. Но никогда не думал, что она еще и умна, и рассудительна. Ему вдруг захотелось снять с нее платье и расцеловать ее с каждым днем полнеющее тело, но он сдержался. Он всегда был сдержан и суров по отношению к себе. И почти никогда не был доволен своими необдуманными, порывистыми поступками. Он и радость переживал по-своему. У других радость так радость, другие ликуют и чувствуют такую легкость, словно у них крылья вдруг выросли и они вот-вот птицей поднимутся в небо. Он же уставал от радости, будто нес на себе тяжелое бремя. Зато каждую свою радость он долго потом чувствовал, переживал заново, не расставался с нею, когда, казалось бы, давно уж пора было ее и позабыть. Да, долго всем своим существом осязал он пронесшуюся радость, как чувствуешь во рту приятный привкус отведанной сладости.

— Кенжекей,— сказал Еламан.— А что, если завтра мы проведем старика Суйеу?

— Поедем, милый.

— А как с детьми?

— Соседи присмотрят.

— Ну тогда давай спать.

Кенжекей молча кивнула головой...

Наутро поднялись они рано, еще в сумерках, и быстро собрались в дорогу. Кенжекей оседлала верблюдицу, а Еламан поехал впереди на своем белоногом коне. Ходкой рысью по утренней прохладе они успели проехать большую часть пути и уже после обеда добрались до аула Суйеу, расположившегося на открытом верховье за Жаман-Боташом.

Отец пошел на поправку, и Акбала уехала в город. Узнав, что в юрте много гостей, Кенжекей, соблюдая

приличия, осталась на улице с женщинами, а Еламан, привязав коня под навесом, пошел в юрту.

С тех пор как старику полегчало, юрта его не пустовала. Просторная, не заставленная никаким житейским скарбом серая юрта и сегодня была полным-полна гостей.

— Ассалам-алейкум!

— Алейкум-ассалам!

— Э, кто такой?

— А-а! Да это же наш Еламан!

— Он, он! Ну как, дорогой, жив-здоров?

— Слава аллаху.

— Да будет благословен твой путь!

— Аминь. Приехал проводить Суйеке...

— Э, очень кстати. Хорошо, что не забываешь стариков.

— А Суйеке теперь неплох, неплох... Благодарение аллаху, ему гораздо лучше. Ну а ты сам? Из прибрежного аула едешь?

— Оттуда.

— Один?

— Нет. С товарищем,— вдруг брякнул Еламан и покраснел.

Старик Суйеу в разговор не вмешивался. Он сидел на постели в правом углу просторной юрты в белой рубахе и белых исподних штанах, как всегда, прямой, словно кол. Услышав про товарища, он резко повернулся к Еламану.

— Товарищ? — переспросил он. Колючие его глазки блестели из-под белых ресниц.

Еламан только теперь понял, какую глупость он сморозил, покраснел еще больше, но упрямо подтвердил:

— Товарищ.

— Э, что за товарищ такой?

— Жена.

Суйеу отвернулся от Еламана. Вытянув тощую, сухую шею, торчащую из ворота рубахи, он долго смотрел поверх гостей куда-то в открытую дверь и вдруг громко хмыкнул и повернулся к сидевшему рядом, клевавшему носом дряхлому старику.

— Он говорит «товарищ», а? — И Суйеу опять едко хмыкнул.— Нет, ты слышал, а? Может, ты свою курно-

сую старуху тоже товарищем называешь, а? Товарищ. То-варищ! Ха! Ты слышал, а? Может, отныне нам всех своих старух товарищами звать, а? А?!

Пылающими от гнева глазами старик поочередно оглядел всех, обходя взглядом Еламана. В юрте стало тихо, все потупились. А Суйеу все не мог успокоиться, все ядовито похмыкивал.

Вбежал Ашим. Не понимая, почему старшие молчат, мальчик испуганно поглядел на гостей и робко подошел к отцу. Еламан, обрадовавшись появлению сына, тотчас посадил его на колени и, с облегчением нарушая затянувшуюся тишину, громко сказал:

— Ох, какой большой ты стал, сынок! Скоро уже и учиться пойдешь.

Белые ресницы старика дрогнули, он вскинул голову и полоснул взглядом Еламана. В юрте все затаили дыхание, но старик молчал. Не отрывая немигающего жесткого взгляда от Еламана, он насыпал на большой палец щепотку жгучего насыбая, поднес его к большому хрящеватому носу и звучно втянул в ноздри. По-прежнему не отрывая от Еламана красных, заслезившихся от крепкого табака глаз, глядя на него уже с откровенной ненавистью, он яростно и громко, чтобы было слышно всем в юрте, хмыкнул.

— Ну! Ну отдал ты его в школу! Ну стал твой сын русским! Ну отрастил на аршин себе волосы! Ну русские брючишки напялил! Ну ссать стал стоя! Тебе-то от этого какая польза? Что он, тебе святости прибавит? А? Что это? А?

Его старчески сухое, морщинистое лицо исказилось и передернулось от гнева.

Смущенные гости стали молча расходиться. Еламан спустил сынишку с колен. И не усидев в большой, затихшей юрте, вышел вслед за гостями. Белоногий конь его пофыркивал, переступал ногами, просился в табун, и Еламан повел его за аул на выпас.

Оставшись один, старик Суйеу сидел по-прежнему неподвижно и прямо как кол. Про насыбай, насыпанный на большой палец, он забыл. Непонятный ему самому гнев обуял его и не отпускал, и время от времени он все похмыкивал. Его старуха, до сих пор молча крутившая прялку-юлу, покосилась на него.

— Эх ты бедняга! — заворчала она. — Уже и возраст пророка переступил, а со своим собачьим норовом так и не сладил.

Старик сидел, будто немой, не обращая, по-видимому, никакого внимания на слова старухи.

— Ну чего ты на Еламана накинулся? — продолжала старуха. — Чем он перед тобой провинился? Постыдился бы людей...

— Да нет, ты слышала? Учиться скоро станет, говорит!..

— И пусть учится. Время такое...

— Сиди! Помалкивай. Язык у тебя что помело.

— Я-то знаю, что у тебя на душе.

— Что ж ты, дура, о моей душе знаешь?

— Насквозь тебя вижу. И вовсе не разговор о мальчишке тебя взбесил, а другое.

— Что?! Что она мелет, шлюха старая!

— Чего уж тут на людей кидаться, раз их жизнь не пошла на лад?

— Болтай, дура! Ляпает что попало! У, зараза! Вон! Пшла отсюда!

— Ну ладно, ладно... Молчу. Только не ерепенься. Разве ты признавал когда свою вину? — вздохнула старуха и вышла, прихватив прялку.

Старик Суйеу швырнул её вслед щепотку насыбая. Кожа на лице его задергалась, и он отвернулся к стенке. Чувствуя, однако, что в ауле нехорошо и все ходят на цыпочках, он к вечеру унял свой гнев. Лицо его смягчилось и подобрело, и он стал ласков с домочадцами и гостями. Как ни отказывался Еламан, он приказал-таки зарезать ягненка — нынешний приплод от немногих овец оскудевшего хозяйства. Над очагом завел свою вечную песенку булькающий казан. За вечер несколько раз готовили свежий чай, и в юрте стало необычно оживленно и уютно.

На другой день старик был со всеми еще ласковее и приветливей. После утреннего чаю Еламан собрался в обратный путь.

— Ну, отец, будьте здоровы. Всего вам доброго, до следующей встречи...

— Э, дорогой, доживу ли я еще до встречи с тобой? Увидимся ли еще? Воля аллаха... Подойди-ка поближе, сынок...

Какая-то особенная нежность к Еламану охватила вдруг старика. Долго и молча держал он в сухих своих ладонях руку опустившегося перед ним Еламана и чувствовал, как слабость подходит к сердцу. Но он взял себя в руки и принял свой обычный суровый вид. Сухими губами он молча дотронулся до лба Еламана и тут же оттолкнул его от себя. На короткий миг Еламан почувствовал горячее дыхание старика, смешанное с острым запахом насыбая.

Еламан не знал, что говорить. Ему хотелось ободрить больного старика, поддержать его, сказать ему, например: «Не унывайте, отец, еще поправитесь, еще поживете, бог даст...» Но он не мог так сказать, потому что видел, что старику недолго уже осталось жить. Кого-нибудь другого можно было обмануть утешением, кого-нибудь, но не этого красноглазого, своенравного старика. Он терпеть не мог неискренности. И Еламана полюбил давным-давно именно за честность, за правду...

Еламан промолчал.

## ● ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Белые упорно продвигались по железной дороге. После сдачи Челкара красные нигде не могли уже задержаться. Дивизия Хан-Даурова, единственное крупное соединение, оставленное на заслон, была сильно потрепана в бесчисленных летних боях и стычках. Мелкие рабочие отряды, приданные ей в помощь, заметно поредели и были почти беспомощны из-за нехватки боеприпасов. Патроны раздавали лишь накануне боя поштучно, чуть ли не под расписку. И хоть красные отходили медленно, все время нападая на противника, было ясно, что уже недалек тот день, когда белые выйдут к Аральску.

В Аральске в это время шли лихорадочные приготовления. Со всех сторон спешно стягивались свежие силы. Один за другим в Аральск прибывали многочисленные вооруженные отряды, сформированные из железнодорожных рабочих Казалинска, Жосалы и Ак-Мечети. Подспели также части Туркестанской армии и сразу заняли и стали укреплять передовые позиции. Между тем, неуклонно продвигаясь к Аральску, белые заняли станцию Саксаульск. Теперь им до Аральска было уже рукой подать и не было больше такого места, где не то что закрепиться, но хотя бы задержать их можно было. К городу начали стекаться скрипучие обозы с ранены-

ми, больными и беженцами, и никто больше не спрашивал себя, дойдут ли белые до Аральска, а каждый думал только об одном — когда?

В эти критические дни на помощь красным были присланы из Ташкента еще несколько отрядов. Первым прибыл отряд мадьяр из пятисот человек во главе с Колузаевым. Не успел отряд выгрузиться и занять позиции, как к станции подошел состав с туркменами, более тысячи сабель. Все туркмены были смуглы, поджары, в высоких бараньих папах. Длинные кривые сабли путались у них в ногах. Худые длинноногие кони их дико храпели и взвизгивали, когда по гулким мосткам их выводили из вагонов.

За несколько дней до решительных событий в Аральск приехал Дьяков. Штаб Туркестанского фронта назначил его чрезвычайным комиссаром и прислал сюда с особым мандатом. Вместе с Дьяковым прибыли девятнадцать кронштадтских матросов. Не медля ни часу, они начали собирать все сколько-нибудь исправные пароходы, чтобы организовать из них Аральскую военную флотилию. На палубах двух самых больших пароходов «Хан Хивинский» и «Туркестанец», на которых аральские купцы Марков, Мокеев и Елисеев в былые дни вели торговлю с Каракалпакией, было установлено по два орудия и по несколько станковых пулеметов.

Но, как всегда, там, где собиралось большое количество людей, тотчас возникла и новая, едва ли не самая важная проблема — продовольствие. С продовольствием было плохо на всем Туркестанском фронте. Когда в Аральске стало совсем тяжело, Дьяков понял, что есть один только выход — обратиться за помощью к местному населению. Обращение было написано, казахские джигиты поскакали во все концы, и вот из разных аулов, ближних и дальних, потянулись к городу караваны верблюдов, нагруженные мясом, хлебом, рыбой и питьевой водой. Весьма своевременной оказалась также и помощь бедняков-скотоводов Приаралья во главе с Тулегеном, сыном Медетбая, и Жагалом, сыном Таушана. Они день и ночь рыли вокруг города окопы.

Как раз в это время в сопровождении вооруженных джигитов и появился Кален. Кони под ними были взмылены, они скакали день и ночь. Оказывается, в Воров-

ском ущелье Танирберген держал подальше от чужих глаз табун из пятисот отборных лошадей. Этот табун выследил, захватил и пригнал в город Кален со своими джигитами.

— Где этот ваш хворый комиссар? — гаркнул он.

— Комиссар занят. Зачем он тебе?

— Вот этих лошадок хочу ему подарить!

Постепенно Аральск укреплялся. Перед глубоким, чуть не в человеческий рост рвом на западной окраине города, откуда ждали врага, были натянуты проволоочные заграждения и сооружен вал из тюков с хлопком. Новобранцам, только что мобилизованным в Красную Армию, не давали покоя: их выводили за город и гоняли с утра до вечера, обучая стрельбе и правилам штыкового боя. Почти неотлучно находился среди них и Дьяков.

Однажды в полдень прискакало четверо верховых разведчиков. После захвата белыми станции Саксаульск разведчики по несколько раз на день выезжали в степь в дозор. Еще издали, едва разглядев их лица, Дьяков понял, что разведчики вернулись с недоброй вестью. Придерживая рукой кобуру, оттягивавшую широкий командирский ремень и колотившую по бедру, он быстро пошел навстречу всадникам.

— Товарищ комиссар! Подходят...

— Где видели? Далеко?

— Нет, за этим... за шестьдесят восьмым разъездом. Много их, товарищ комиссар!

Отправив разведчиков в штаб, Дьяков быстро пошел к окопам. Сдвинув брови, он машинально поправлял фуражку и размышлял, останутся ли белые у города на день-другой, чтобы подготовиться к бою, или прямо с ходу бросятся на штурм укреплений. Как бы там ни было, лучше быть готовыми к немедленному бою.

Дьяков запыхался, пока дошел до окопа. Спустившись в окоп, он присел на корточки, прислонившись спиной к стенке. Зажав ладонью рот, побагровев, он мучительно закашлялся. Услышав шаги за спиной, Дьяков кое-как унял кашель, обернулся и увидел стройного джигита с черными, будто углем нарисованными усиками.

— А, это ты?..

Али улыбнулся.

— А Еламан не вернулся?



— Нет.

— Вестей от него не было?

— Нет.

— Ну а как твои джигиты, настроение как?

— Нешауа...— подумав, невнятно выговорил Али.

— Никто никуда не отлучался?

Али не понял.

— Враг близко. Готовь своих джигитов к бою,— сказал Дьяков и устало пошел по окопу вперед.

Он не успел дойти до отряда мадьяр, занимавшего позицию рядом с Коммунистическим полком, как кто-то испуганно крикнул:

— Смотрите! Идут!

Будто электрический ток прошел по окопам. Выскочив на бруствер, бойцы стали глядеть вдаль, и будто дробящееся эхо посыпалось со всех сторон:

— Гляньте, гляньте... Пылища-то! Аж до неба!

— Идут!

— Да где? Не видно.

— Хоть покажи откуда.

— Да вон, гляди, видишь серую тучу?

Дьяков сразу ослабел и остановился. Потом кинулся на бруствер грудью и почувствовал, как часто застучало у него сердце. Упершись локтями, он поднес к глазам бинокль и ничего не увидел. Он не сразу догадался, что недостаточно высоко вскинул бинокль. Как он ни моргал и ни щурился от напряжения, он ничего не видел, кроме пыльных склонов ближайшего серого холма и редких чахлых кустарников. Чертыхнувшись, он поднял бинокль выше и увидел наконец одинокий домик 68-го разъезда. Возле домика не было ни души, и он казался от этого таинственным и грозным. Зато далеко за разъездом по всему горизонту клубилась, медленными тучами восходя в высоту, серая пыль...

## II

— Господа, господа! Смотрите, Аральское море!

— Наконец-то, слава богу!

— Никогда не думал, что оно такое синее...

— Говорят, одно из самых прозрачных морей в мире,

— Да, после Эгейского.

— Вот как?

— А правда, господин подполковник, что ваш отец первым открыл здесь рыбные промыслы?

Сделав вид, что не слышал вопроса, подполковник Федоров только плотнее сжал свой маленький рот. К нему то и дело подъезжали и неторопливо останавливались рядом офицеры, а он, не обращая ни на кого внимания, жадно смотрел в бинокль на море. Синяя стена моря, вспучившаяся у самого горизонта, блестела и переливалась под солнцем, как рыбная чешуя, и, приближенная сильным биноклем, стояла, казалось, перед самой мордой коня. В море там и сям чернели рыбацьи лодки. На выжженном берегу белели мазанки Аральска, темнели его кривые улочки и торчали мачты стоявших в порту пароходов. «Где же их укрепления?» — размышлял Федоров, разглядывая в бинокль пригороды Аральска. Но конь под ним вдруг натянул поводья, тронул нетерпеливо с места, и город в бинокле исчез, будто переводная картинка, стертая рукой.

Вздохнув, Федоров повернулся к толмачу.

— Спроси-ка у мурзы, — кивнул он небрежно назад, туда, где сидел на коне понурый Танирберген. — Спроси, откуда местное население берет пресную воду.

То, что подполковник обратился не к нему лично, а к переводчику, обидело Танирбергена. Кроме того, должно быть, из-за неприязни к Темирке мурза не переваривал и татарина-толмача и уже при одном взгляде на него начинал злиться. Толмач повторил вопрос Федорова по-казахски:

— Господин подполковник спрашивает, в каких местах расположены здесь колодцы.

— Ну, об этом нужно спрашивать у местных. А мне откуда знать? — резко, глядя в пространство, сказал Танирберген.

— Но вы ведь проводник...

— О здешних колодцах ничего не знаю.

— Ай, нехорошо, мурза, — толмач поцокал укоризненно. — Надо отвечать, когда спрашивает господин офицер.

— Я уже ответил.

Толмач перевел разговор Федорову. «Трещотка! Бренчит, как караванный колокольчик!» — думал мурза, вслушиваясь в русскую речь толмача и морщась.

Полк Федорова первым достиг 68-го разъезда под Аральском. Пропыленные до исподнего, обожженные зноем, с потрескавшимися губами солдаты, едва подъехав, сваливались с коней и бросались к небольшому белому дому, к его тени. Отталкивая друг друга, жались к стене. Те, кто не успел захватить место возле дома, растянулись в тени немногих пыльных карагачей и обессиленно матерились на тех, кто подъезжал позже и теснил их.

Подполковник Федоров не слезал с коня и, окруженный офицерами, терпеливо поджидал прибывающие одна за другой части. Приказом по армии он был назначен исполняющим обязанности квартирмейстера и теперь должен был встречать и размещать полки.

Скоро показалась кавалерия атамана Дутова. Впереди рысил Троицкий полк. Немного поотстав, чтобы не глотать пыль,— казачий полк Соль-Илецка. Почти одновременно с ними пришел конный отряд уральских казаков. Одна за другой, заштриховывая горизонт поднятыми пиками, прибывали и остальные свирепые казачьи части и сразу начали заполнять всю широкую равнину перед маленьким разъездом.

— Куда они прутся? — возмутился Федоров. — Ведь их место не там!

Ротмистр Рошаль усмехнулся:

— А им плевать на диспозицию штаба.

Федорова постоянно возмущало самоуправство оренбургского атамана, но он знал, что с этим ничего не поделаешь. Даже генералу Чернову не всегда подчинялся своенравный атаман и держался, как говорится, на длинном аркане и в широких путах.

Вслед за казаками атамана из-за пелены пыли показывались и приближались к разъезду все новые и новые части. После конницы на разъезд начала прибывать пропыленная пехота. Тяжело катились длинноствольные орудия, появились медлительные караваны верблюдов, груженные продовольствием. Вскоре весь разъезд утонул в облаках пыли. В воздухе стоял гул от множества голосов, топота сапог и конских копыт.

Два дня еще без усталости скрипели обозы с боеприпасами, стекались к разъезду все новые и новые воинские части, и все эти дни Федоров почти не слезал

с коня, то и дело посылая навстречу новым полкам своих офицеров, которые и размещали полки на заранее отведенных для них местах. Офицеры уезжали, приезжали, докладывали:

— Прибыл корпус Каппеля. Где прикажете его разместить?

— Прибыл карательный полк полковника Могилева.

— Прибыл Первый туркестанский полк...

Возле разъезда стало так тесно, что пришлось несколько полков, прибывших последними, отсылать назад, за рыжий бугор. Чтобы скрыть до начала наступления артиллерию и отряд броневигов, их тоже разместили за перевалом.

Федоров ничего не знал о количестве бойцов и о вооружении красных. Одно он знал твердо — голыми руками противника не взять и бой, по всей вероятности, будет кровопролитным. Тем не менее он ничуть не сомневался в том, что красным не устоять против сокрушительного удара армии генерала Чернова. Единственное, что его тревожило, была вода. На 68-м разъезде нашелся всего-навсего один колодец, вода в котором оказалась солоноватой. По приказу Федорова колодец закрыли на замок и поставили возле него вооруженную охрану. Федоров мучительно раздумывал, где бы достать такое количество воды, чтобы выйти из положения, когда ему доложили, что командующий созывает совещание. Он уже поехал в штаб, когда его догнал еще один офицер.

— Прибыл саперный полк...

— Ротмистр Рошаль! — окликнул Федоров.

— Слушаюсь!

— Покажите им, где разместиться.

Рошаль, как всегда, был бодр и готов ехать куда угодно и выполнять какие угодно распоряжения. Не успел офицер саперного полка поравняться с ним, как Рошаль уже поскакал. Когда Федоров, тяжело вздохнув, опять тронул своего коня, молодые офицеры скакали во весь дух по пыльной, выгоревшей аральской степи, в которой за все лето не выпало ни капли дождя.

Федоров медленно ехал по широкому бурому перевалу, где справа и слева, всюду, куда ни погляди, лежали, сидели, стояли и спали солдаты. Обычно белое

веснушчатое лицо Федорова теперь сильно загорело, рыжая окладистая борода и усы, которые он решительно отпустил после Омска, выгорели и отливали светлой медью. Глаза его опухли и покраснели от бессонницы. Изнывая от немилосердно палящего солнца, как бы сгибаясь перед его яростной силой, он то и дело опускал голову и прикрывал глаза. «Скорее бы уже началось», — думал он с тоской. Армия, томящаяся без воды под знойным небом, начала уже обессилевать. Из-под козырька низко надвинутой фуражки он иногда зорко поглядывал по сторонам и видел, как измучены солдаты, как они изнурены и до черноты обожжены солнцем. В поисках тени они облепили все повозки и пушки и лежали пластом, даже головы не поднимая, когда он проезжал мимо. Где уж им вскакивать и приветствовать подполковника! И как-то поведут они себя в бою? А ведь столь многое зависит от их настроения, от их воинского духа.

Когда он вошел в просторную палатку командующего, командиры полков и дивизий были все уже в сборе. Федоров присел на свободную скамеечку возле самого входа.

Перед началом совещания адъютант командующего поставил перед каждым из собравшихся по кружке воды. Изнемогшие от жажды офицеры выпили ее одним залпом. Только Федоров не дотронулся до кружки. Облизав пересохшие губы, сделав судорожное движение горлом, чтобы проглотить слюну, он кашлянул и негромко, но так, что слышали все, сказал:

— Господин командующий! Солдаты и кони от жажды находятся на краю гибели. Есть ли надежда, что мы выйдем из этого положения?

Генерал Чернов, последний раз затянувшись, сморщился и бросил окурок, предварительно поискав взглядом пепельницу, себе под ноги. Потом наступил на все еще тлевший окурок, вдавил его каблуком в мягкий песок и поднялся. Он понимал, что не только Федорова, но и всех собравшихся больше всего волнует сейчас вода.

— Господа, вы упустили из виду одно важное обстоятельство. Предстоящее сражение — не просто один из многих боев. Именно здесь решится наша с вами судьба.

— Мы это понимаем, господин командующий.

— Нет, мне кажется, это понимают далеко не все. Мы стоим здесь уже третий день. Однако никакими сведениями о противнике штаб не располагает.

Офицеры молчали, глядя на отодвинутые пустые кружки.

— Я полагаю, да это и очевидно, что противник сосредоточил в Аральске свои главные силы. Кроме артиллерии, возможно, есть у них и броневики. Или танки. Но об этом мы можем только гадать. Перед тем как начать наступление, мы должны получить более или менее точные сведения о количестве бойцов и вооружении большевиков. Не так ли Александр Ильич? — словно ища поддержки, повернулся генерал Чернов к атаману Дутову.

Дутов сидел, как всегда, рядом с командующим. Плотный, широкий в плечах, он за все время совещания не шевельнулся, не переменил позы. Слегка откинувшись назад, вытянув ноги с большими тугими икрами, он был неприступно холоден и высокомерен. Даже после обращения к нему командующего он только слегка кивнул своей бритой головой и не сказал ни слова.

— Всем подразделениям необходимо сегодня же выслать разведку, — продолжал Чернов. — И вы тоже потрудитесь, подполковник, — добавил он отдельно Федорову.

— Слушаюсь, господин командующий.

— И вообще усильте наблюдение за укреплениями большевиков. Особенное внимание нужно обращать на части, вновь прибывающие на передний край.

Офицеры шумно встали. Когда они уже выходили, Чернов задержал их.

— Хочу обрадовать вас, господа, вода будет. Завтра к обеду сюда доставят двадцать цистерн с водой. Хватит и людям, и лошадям. — Найдя взглядом подполковника Федорова, Чернов сказал напоследок: — На вашу разведку, подполковник, я возлагаю особые надежды. С богом!

Вернувшись в свой полк, Федоров тут же послал за ротмистром Рошалем. Когда Рошаль явился, Федоров, не предлагая ему сесть, отрывисто приказал:

— Подберите лучших пластунов. Ночью отправитесь в разведку. Нужен «язык». Во что бы то ни стало, понимаете?

Вид молодого Рошалья каждый раз причинял Федорову страдание. Он забыть не мог свою стычку с ним в Омске. Опасаясь, что взгляд его выдаст затаившуюся ненависть, он внутренне напрягался и отводил глаза, разговаривая с ним. Рошаль отвечал ему тем же.

— Вы, ротмистр, головой отвечаете мне за «языка»! Ступайте.

— Слушаюсь! — сказал Рошаль, не поднимая глаз, молча повернулся и вышел из палатки.

### III

По мере того как силы белой армии сосредоточивались на 68-м разъезде, население Аральска и его окрестностей всполошилось. В маленьком, тихом до сих пор городке стало вдруг многолюдно и тревожно. По узким, кривым улочкам сновали озабоченные военные, увешанные самым разнообразным оружием. Тяжелые повозки, арбы, груженные боеприпасами и водой, целыми днями тянулись на западную окраину города, туда же со станции направлялись пулеметные тачанки.

Особенно тревожно в эти дни было в единственном в Аральске двухэтажном зеленом доме купца Маркова. Пешие и верховые толпились возле этого дома с утра до вечера. Загорелые озабоченные командиры скакали со всех сторон к дому на своих потных, разгоряченных конях, спешили и торопливо исчезали за тяжелой дверью, в то время как другие так же торопливо выбегали оттуда, на ходу поправляя оружие, вскакивали на своих лошадей и уезжали к западной окраине или на станцию.

Вот сюда, к этому каменному дому, и подъехал еще до сумерек необычный верховой. В дикую, иссушающую жару он был один в толстом тумаке и в тяжелой овчинной шубе. Как и все, он тоже торопливо спешил и пошел было к штабу, но его перехватил часовой:

— Стой!

Станный путник, не оглядываясь, продолжал пробираться через группу военных, скопившуюся у крыль-

ца. Часовой кинулся за ним и схватил его за ворот.

— Стой, говорят тебе! Куда прешь?

Путник возбужденно и хмуро глянул из-под пояркового тумака на часового.

— Пусти, тамыр. У меня важное дело в штабе,— сказал он по-русски.

Часовой почувствовал, что казах в овчинной шубе не совсем простой посетитель, но уступать не собирался.

— Ты кто такой? Документы есть?

Казах несколько растерялся — документов у него не было. Рассудив, что часовой без документов его ни за что не пропустит, он начал вглядываться в лица беспрестанно входивших и выходивших людей в надежде встретить среди них знакомого. На крыльцо, громко разговаривая, вышла из штаба группа командиров, из которых путник не узнал никого, и тут же понял, что все это командиры вновь прибывших частей. Среди командиров один особенно выделялся своей поджаростью, смуглотой и высоким мохнатым купреем. По дороге в штаб путник видел джигитов-туркменов, разъезжающих по Аральску на своих худых конях, и решил, что этот черный туркмен в мохнатой шапке и есть командир Туркменского кавалерийского полка. Путник не знал теперь, как ему быть и как пробиться в штаб, когда увидел вдруг стремительно выходившего из штаба следом за командирами Дьякова. Дьяков еще издали узнал казаха в шубе, окликнул его: «Еламан!» — и быстро сбежал по ступенькам.

Еламан теперь бесцеремонно оттолкнул надоевшего ему часового и кинулся навстречу комиссару. Крепко пожав Еламану руку, Дьяков чуть отступил назад, оглядел его с ног до головы, рассмеялся и отошел с ним в сторону.

— Ну, я вижу, все благополучно.

— Несколько раз задерживали.

— И что же?

— Да спрашивали, кто да откуда...

— А ты что?

— А я что? У меня разговор один: аул, говорю, мой кочует в песках Киши-Кум. А вся родня жены живет в стороне станции Саксаульск. И вот, говорю, верблюдов, которого я у них взял, говорю, все время уходит на то пастбище. И теперь опять удрал. Прямо, говорю, заму-



чил, проклятый! Вот снова, говорю, отправился на поиски, ищу его опять, говорю...

— Гм... Ловко. Ну и тебе, конечно, верили?

— Как сказать... Обыскивали меня, ощупывали, ничего не находили и отпускали.

Комиссар улыбнулся мельком, потом посерьезнел.

— Обо всем, что узнал, расскажешь в штабе. А мне пока скажи: много их?

— Ой, много, апыр-ай! Как травы в степи.

— Н-да... Плохо дело, плохо, плохо... Ну ладно, ступай в штаб, а мне тут надо по одному делу. Рад, что ты вернулся. Сегодня отдыхай, а завтра увидимся в окопах.

Худое, прокаленное солнцем лицо Еламана потемнело еще больше. Ему так обидно стало вдруг, что Дьяков, по заданию которого он столько дней, рискуя жизнью, мотался по степи, не хочет его слушать, а отсылает в штаб к незнакомым людям. У него даже руки опустились и шуба показалась страшно тяжелой. Конь его в это время, позванивая уздечкой, раздувал ноздри, фыркал и жадно тянулся к ведрам с водой в руках проходивших мимо женщин.

— Коня-то напои,— посоветовал напоследок Дьяков.

— Хорошо,— покорно ответил Еламан.

— Кстати, как у них с водой, не знаешь?

— Совсем без воды сидят...

— О! Это хорошо!

— Ну, вода-то у них будет. Не знаю, сегодня или завтра...

— Что ты говоришь? — Дьяков нахмурился и взял Еламана за рукав.— Откуда? Это важно.

— Им привезут в этих... в таких вагонах круглых. В таких бокастых, как стельная верблюдица...

— В цистернах?

— Да, да, этих самых...

— Откуда это тебе известно?

— А я прошлую ночь ночевал на станции Шики-Су у одного казаха знакомого. Там вот и наливали в эти самые...

— Ах вон оно что. Так, так, так. И много цистерн?

— Много. Целый поезд.

— А точнее не знаешь?

— Точно?

— Да, сколько всего цистерн, не считал?

— Всего... всего... Аллах один знает сколько!

Спокойный до этого комиссар вдруг нахмурился и пошел назад к штабу — новость была слишком важной. Еламан, ведя коня в поводу, пошел за ним.

— Из Иргиза выехали триста алашордынцев, — торопился он выложить свои новости. — Они едут к Аральску, хотят примкнуть к генералу Чернову. А потом, как слышно, хотят перейти в Афганистан или в Иран. К истинным мусульманам...

Но Дьяков, казалось, не слушал его. Еще не дойдя до штаба, он подозвал какого-то бойца.

— Беги в порт. Мигом! Разущи там командира «Туркестанца», скажи, пусть немедленно явится ко мне, я буду в штабе.

Боец побежал. Дьяков опять повернулся к Еламану, растерянно стоявшему рядом, и, морща лоб, думая о чем-то, некоторое время смотрел на Еламана, не видя его. Потом спросил:

— Может ли пароход подойти заливом поближе к шестьдесят восьмому разъезду?

Еламан сразу все понял и широко улыбнулся. Залив Сары-Чиганак подходил почти вплотную к расположению белой армии. Между заливом и 68-м разъездом лежал бурый увал. Очень удобно стрелять из орудий с парохода.

— А залив не мелкий? — допытывался Дьяков.

— Мелкий. Только для этого «Туркестанца» как раз будет...

В это время какой-то верзила подъехал к ним сзади. Ни Дьяков, ни Еламан не обратили сначала на него никакого внимания. Некоторое время верзила, улыбаясь, смотрел на разговаривающих, потом, немного подавшись с седла вперед, положил руку на плечо Еламана. Еламан обернулся и увидел смеющегося Калена.

— Кален-ага!

Кален быстро спешился и сгреб Еламана в объятия.

— Ты подожди меня, погляди за конем, мне в штаб надо, — торопливо сказал Еламан, глядя, как Дьяков поднимается на крыльцо. — Я скоро...

Ждать Калену, однако, пришлось долго. Солнце давно село, и сумерки пали на землю, и в окнах штаба загорелись огни, когда Еламан наконец вышел. Ведя коней

под уздцы, Еламан и Кален пошли к маленькому дому, заметенному понизу песком, и уселись рядом, прислонившись спинами к нагретой за день стене.

— А я, брат, не усидел дома. Пригнал твоему русскому тамыру пятьсот лошадок. Каково? А что мне, скажешь, косяки Танирбергена жалеть, что ли? Такое-то воровство мне и за грех не зачтется,— сказал Кален и беззаботно засмеялся.

— А ты знаешь, что мурза здесь?

— Где? В городе, что ли?

— Нет, там, с белыми.

— А-а! Я об этом слышал. Ну, ничего, если он всегда лисой был, то я теперь как гончая. Ну а где же келин?

— Со мной.

— Где с тобой? В городе живет?

— Ага.

— Э, дорогой, чего ж мы тогда тут торчим, а? Надо мне хоть чаю напиться из рук келин.

Оба сразу встали, отряхивая полы, взвалились в седла и тихо поехали по улочкам засыпающего города. Еламан снимал комнату на окраине городка в доме русского — рабочего порта. Пока друзья привязывали коней, пока умывались и усаживались на расстеленных в глубине комнаты подстилках, расторопная Кенжекей успела вскипятить чай.

Оглядывая комнату, Кален увидел маленькую черную домбру, прислоненную к стенке. Домбра была искусно вырублена из джиды и хорошо настроена чьей-то опытной рукой. Кален сразу развеселился, потянувшись, взял домбру, с наслаждением ударил по струнам и вдруг вытаращил глаза от изумления, увидев висевшую на стене белую войлочную шляпу. Положив домбру на колени, он широко улыбнулся.

— Келин!— повернулся он к разливавшей чай Кенжекей.— А ведь это шляпа Судр Ахмета, а?

— Угадал, Кален-ага. Жена его, бедняжка, как узнала, что мы переезжаем сюда, зашла к нам и подарила шляпу покойного. Он, говорит, при жизни вас больше всех уважал, так вот, говорит, пускай останется на память у вас одна его вещичка...

— Какой черт, покойник! Живой он.

— Э, дорогой, люди чего не наговорят.

— Да нет, келин, живой он, я тебе говорю. Мне один верный человек говорил, что видел его собственными глазами. Аллаха звал в свидетели, что правда. Будто живет он в каком-то городке в стороне Сары-Арка и женился на глухонемой старухе, на ее верблюдицу дойную с верблюжонком позарился, понимаешь? Старуха, дескать, пасет овечек и коз тамошних жителей, а Судырак на базаре торгует верблюжьим молоком. Говорит, только на ухо туговат стал. Там к нему все соседский мальчишка ходил, молоко покупал у него по два тенге за кружку. Вот, значит, мальчишка заходит и здоровается громко: «Салаум-алейкум, ата!» Судырак же вдруг, как козел, увидевший собаку, подпрыгнул и вопит: «Молоко, говоришь? Отныне кружка стоит три тенге! Хочешь, бери, не хочешь, мотай отсюда, проваливай!»

— Да что вы, Кален-ага-ай!— не выдержала и рассмеялась Кенжекей.

— Серьезно тебе говорю. Истинная, говорят, правда.

— О господи! И охота же и после смерти беднягу на смех поднимать...

Кален запыхтел от удовольствия, востепенулся, будто вдохновенный певец — жирау, скомкал в азарте, сунул себе под бок большую подушку, хлебнул чаю и крикнул. Еламан, не дотрагиваясь до пиалы с чаем, опустил голову и рассеянно улыбался. На осунувшееся лицо его тенью легло мягкое сожаление о чем-то дорогом и невозвратном. Ему приятно было, что Кенжекей пожалела Судр Ахмета. Конечно, паскудный был старикашка, что там ни говори, не то что в аулах, в собственном доме никому от него житья не было. И все-таки в былые времена весело становилось там, где появлялся Судр Ахмет, весело и оживленно, как в доме охотника, поймавшего живого, шустрого лисенка.

Совсем недавно Судр Ахмет вдруг приснился Еламану. Под видом простоватого казаха, потерявшего своего верблюда, ездил Еламан в тылу белых, обедая в одном ауле, в другом останавливаясь на ночевку. Так добрался он в конце концов и до станции Шики-Су. Он проехал бы дальше, но заметил неожиданно на станции белых солдат, а возле водокачки целый состав круглых пузатых вагонов, один из которых солдаты как раз наполняли водой. Вот тут-то чуть не подвела его неосмотрительность аульного казаха: забыв об осторожности,

он придержал коня и стал глазеть на занятия солдат. А когда опомнился, было уже поздно — солдаты заметили его любопытство и насторожились. Пришлось ему притворяться, что он специально приехал в гости к какому-то своему дальнему родственнику, чтобы заночевать у него.

Постелили Еламану на улице. Комары появились еще до захода солнца, а ночью их уже и терпеть нельзя стало. Еламан не находил себе места, ворочался с боку на бок, вскакивал, отмахивался от комаров, ходил по двору, подолгу прислушиваясь и вглядываясь в сторону станции, где солдаты всю ночь наполняли цистерны водой. Тревожился он и за своего коня, которого стреножил за юртой, и нет-нет да и прислушивался к позвякиванию железных пут. Сон сморил его перед рассветом, и вот тут-то и увидел он Судр Ахмета.

Ему снилось, что верблюдица, подаренная ему стариком Суйеу, осталась будто бы порожней. Чтобы детки не сидели целый год без молока, Еламан договорился с одним казаком из дальнего аула обменяться верблюдцами. Обмен состоялся, обе стороны, чрезвычайно довольные, ударили по рукам, когда неожиданно-негаданно нагрянул на их головы Судр Ахмет.

Под ним был вороной конь. Белая войлочная шляпа, та самая, которая висела сейчас у Еламана на стене, была задорно сдвинута на затылок. Был он, как всегда, напыщен, важен и сидел на коне с таким видом, будто собирался нагнать страху на всех баб и ребятишек аула. Поглядывая вокруг своими мышиными глазками, он раздумывал, у кого бы лучше остановиться. Внезапно он встрепенулся и приподнялся на стременах — э, э, вот она, удача! Вон возле юрты стоит на привязи черная верблюдица, а рядом у коновязи конь. Из тундука валит дым. А зачем валить дыму, если в казане пусто, а? Судр Ахмет оживился, подался вперед, принюхался и, сразу повеселев, ударил пятками своего вороного. Судр Ахмет был мудр, ой как мудр, и, конечно, не поехал сразу к юрте, занявшей его воображение, а остановил на окраине аула какую-то бабу, собиравшую кизяк, и узнал от нее все аульные новости. Оказалось, что Еламан обменял свою порожнюю верблюдицу на стельную, отдав в придачу еще телку и овцу. Привязав вороного, Судр Ахмет деловито направился к верблюдице. Сначала он

с наслаждением ощупал ее набухшее, все в белых пупырышках вымя. Потом посмотрел ей в зубы, принял глубокомысленную позу, зажал в кулак жидкую свою бородавку и, соглашаясь с какой-то своей мыслью, несколько раз кивнул головой. «Н-да... Добрая скотинка, ничего не скажешь. Если ее не сглазят, целый аул может прокормить. Да что там аул, два аула! Ну и везет же этому чертову Еламану, а? Голопузые его ребятишки скоро в молоке купаться будут!» И он сразу же приуныл, запечалился, вспомнив вдруг своих вечно голодных детишек. Он так спешил было поскорее попасть в юрту, откуда доносился сладкий сытный запах, а тут вдруг споткнулся даже, будто стреноженный конь. Слаем выскочила ему навстречу собака, и он в сердцах огрел ее камчой. Его теперь уже все бесило — и удача Еламана, и эта добрая верблюдица, и эта чертова собака. С искаженным от гнева лицом, будто собираясь смести все, что попадется ему на пути, он пошел в дом.

Еламан при виде его вскочил, приветливо протянул ему руки, но Судр Ахмет отмахнулся. Гости, собравшиеся в доме, живо потеснились, освобождая ему место в нижней части достархана, но Судр Ахмет только сердито посопел и, оставляя пыльные следы, прямо в сапогах прошел по всем подстилкам и подушкам и сел на самом почетном месте. И, еще не переведя дух, сразу обрушился на Еламана: «У, недостойный своих дедов! Срамник! Не быть... не быть тебе никогда человеком, хоть кол на голове теши. Я ли не учил тебя? Ой-бай-ау, неужто ты, олух, не понимаешь, что твоя черная верблюдица — бесценная память твоего отца? Что она кормилица и опора твоего шанрака? Да ты... ты не скотину, а счастье свое променял, а? Ойбай, ойбай-ай!..» — завопил вдруг Судр Ахмет и заколотил себя по голове.

Нагнав на всех собравшихся страху, он снова принялся за Еламана.

«Ау, ау, пес паршивый, ты ведь не себя, а меня, благодетеля своего, перед всеми сородичами позоришь! Да неужто не понял ты, собака, до сих пор, что черная верблюдица — священная скотина этого аула? Особая животина! Ведь если, не приведи господь, она бы подохла, кто бы хотел погрызть ей кости? Я бы хотел погрызть! А? Ведь она у нас у всех самое драгоценное, что только

было в этом поганом ауле! Что же это, а? Или ты в нашем роду человека благородного не нашел, что сплавляешь ее черт знает кому и куда? Скажи мне, ну, скажи, по какому такому праву ты над нами издеваешься, а? А?..» — распалялся Судр Ахмет, подняв невообразимый крик в уютном, наполненном до этого мирной беседой доме.

Еламана душил смех, но он знал, как обидчив Судр Ахмет, и рта не смел раскрыть, только усиленно потирал лоб. Кто-то из приезжих заикнулся было, что и их верблюдица тоже достойная скотинка — и пышношерстная, и стельная, и вот-вот опростается, уж и вымя набухло, и сосцы набрякли, и пупырышки белые появились... Судр Ахмет и не дослушал. «Нет,— закричал он,— человека, который всю жизнь с малых лет имел дело со скотиной, который мозоли себе набил на скотине, не обманешь, не проведешь! Что-что, а скотину, выросшую на твоих глазах, можно узнать и полюбить, как собственного ребенка. А твою паршивую, больную, старую, дурацкую, хваленую верблюдицу, которую ты сбаврил этому дураку, я — будь спокоен! — разглядел как следует. И еще неизвестно, когда она опростается. Она и не опростается никогда, и вымя ее совсем не набухало, и никакие это не белые пупырышки, а самые обыкновенные болячки от грязи и пота, которые бывают летом в паху любой скотины».

И пошел, и пошел Судр Ахмет поминать всю скотину и всех родственников этого аула до седьмого колена... Не только человек, сам всевышний не смог бы его теперь остановить. Мало того, что никто в доме слова не мог вымолвить, никто не знал, что и возражать расходившемуся гостю, и всем начинало уже казаться, что верблюдица их и в самом деле никакая не стельная. «Собираешь, собираешь,— убивался Судр Ахмет,— всю жизнь скот по крупиночке, по щепотке, а этот недоумок расшвыривает его горстями. Ойбай, ойбай-ау, ну как тут промолчать!»

Всем в доме стало страшно неловко. Даже Еламан, знавший Судр Ахмета как облупленного, только глазами хлопал. Сделав грустное лицо, он повернулся к растерявшимся гостям, с которыми так удачно было торговался, и смущенно сказал: «Уважаемый в нашем роду человек! Можно сказать, мой старший брат. Я вот без

его совета затеял дело, и, сами видите, неладно получилось. Уж не обессудьте».

Приунывшие гости вышли на улицу, посоветовались за домом и решили вернуть взятую в придачу ярку. Овцу, доставшуюся ему теперь как бы даром, Еламан распорядился зарезать, а мясо спустить в котел. Гостей он уговорил остаться, пригласил еще соседей и знакомых, и в доме стало совсем хорошо. Судр Ахмет повеселел, то и дело поглядывал через открытый полог на улицу, туда, где булькало и пенилось в котле над очагом, и все принюхивался своим плоским носом, жадно втягивая в себя запах нежной баранины. В душе его пела веселая струна, все земные заботы вылетели из головы. Ничего важнее кипящего в котле мясного навара не было теперь для него на свете. В битком набитом людьми доме он громче всех хихикал и громче всех говорил. С гостями, с которыми он только что переругался, как с кровными врагами, стал он теперь дьявольски учтив, ни с того ни с сего затеял вдруг игривый разговор о сватовстве, о будущем родстве, о том, как — пах, пах, пах! — породнятся их аулы, как начнут гостить друг у друга, как станут ездить друг к другу в гости на лучших рысаках. Дойдя до рысаков и иноходцев, он уже за достарханом, когда принесли на подносах исходившее горячим паром мясо, стал называть одного из гостей сватом...

Еламан, уставший уже сдерживать смех, едва уехали гости, бросился ничком на кошму и принялся так хохотать, что проснулся. Оторвавшись от подушки, он протер заспанные глаза и огляделся. Конь, стреноженный с вечера, пасся недалеко возле пестрого теленка на приколе. Хозяин дома уже выгнал скотину на выпас и возвращался назад, ведя в поводу ревущего, скучающего по матери сосунка-верблюжонка. Солнце поднялось довольно высоко. А Еламан, вспоминая сон, долго сидел в тот раз на постели, покачивал головой и усмехался.

— Эх, а и забавный же человек был покойник, не в обиду ему будь сказано! — сказал Еламан, чувствуя, как какая-то умиленная жалость овладевает им.

Кален поглядел на него сбоку раз и другой, подумал и отозвался:

— Что ж, человек он смертный, как и все. Должно быть, и впрямь помер. А все кажется, что где-то он мо-



тается по аулам и скоро вернется. Прямо к сердцу его прижать хочется.

Выпрямив и помяв затекшие ноги, он поднялся. Когда они вышли из дома, на улице уже темнело. С моря дул сильный ветер, во дворе взвизгивали маленькие смерчи. Улицы были безлюдны. Город безмолвствовал. Две страшные силы, сойдясь лицом к лицу, затаились в напряженном ожидании, и в безмолвии наступающей ночи отчетливо, как некий щемящий звук, присутствовали страх и подозрительность.

Когда город совершенно затих, погрузившись в тревожный, чуткий сон, Еламан, оставив Калена дома, пошел на окраину, к своему отряду. Едва найдя своих в темноте, он узнал, что Дьяков уже побывал у них и предупредил, чтобы выставили усиленное охранение. Еламан решил остаться в окопах. Джигиты его, вот уже несколько дней подряд жарившиеся под палящим солнцем, пользовались последними часами затишья и дремали, кто сидя, кто навалившись грудью на бруствер. Еламан осторожно прошелся по траншее, стараясь не нарушать короткий, чуткий сон. Он был уверен, что если не на рассвете, то к вечеру белые наверняка пойдут в наступление, завяжется невиданный в этих степях бой, и как знать, кому суждено тогда уцелеть и кому лечь костями на этой земле. Думать об этом было так горько, что Еламан поскорей отогнал невеселые мысли, как отгоняют от себя назойливую мошкарку.

Обойдя траншею, он остановился, присел на корточки возле какого-то джигита и тут же задремал, но скоро проснулся, будто его толкнул кто-то. Вокруг стояла напряженная тишина. Темнота была хоть глаз выколи, и только вдоль мрачно черневших окопов там и сям робко мерцали огоньки солдатских самокруток.

Ничего нельзя было разглядеть во тьме, но, поборов сон, Еламан все всматривался в ту сторону, где, сосредоточив огромные силы, грозно безмолвствовал враг. Он не заметил, как уронил голову на бруствер и поплыл в сон. И опять сон, как показалось ему, длился одно мгновение. Вскинулся он от беспорядочной пальбы. Ничего не соображая спросонок, он схватился за револьвер. Но в расположении его отряда было тихо, стрельба раздавалась на правом фланге. Проснувшиеся джигиты все были на ногах. В темноте хищно клацали затворы.

— Что случилось? Что такое, а?

— Не знаю.

— Наступают, что ли?

— А где командир?

Поблизости гулко забил пулемет и тут же умолк. Постепенно утихла и винтовочная стрельба, над окопами опять воцарилась тишина. Но теперь никому больше не хотелось спать, черная ночь казалась бойцам еще более тревожной и опасной. И хотя никто еще не знал, кому придется пасть первой жертвой предстоящего боя, но все вдруг явственно почувствовали пронесшееся мимо них и пока еще никого не коснувшееся дыхание смерти.

#### IV

Ротмистру Рошалю повезло — он привел «языка». Он стоял в окружении радостно возбужденных солдат и тяжело дышал, все еще не в силах прийти в себя. Пот обильно тек у него из-под фуражки, и он то и дело снимал фуражку и утирался рукавом. У него спрашивали о чем-то, но он, не отвечая, рылся в карманах доставая папиросы. Достал, спросил огня, прикурил дрожащей рукой и затянулся, вглядываясь в пленного, который стоял рядом. За короткое мгновение, пока светила спичка, Рошаль успел заметить длинные висячие усы, унылый длинный нос и невнятный блеск очков в проволочной оправе. Его поразил равнодушный вид пленного. Тому как будто хотелось спать, будто он недоволен был бесцеремонно прерванным сном и тем, что попал вдруг в толпу оживленных солдат, которые не дают ему ни лечь, ни прислониться к чему-нибудь поудобнее. Рошаль особенно поразило, что в лице пленного не увидел он ни тени страха.

Распорядившись доставить пленного к подполковнику Федорову, Рошаль пошел к своему коню, стреноженному и пущенному на выпас еще перед разведкой. Гнедой, почуввав хозяина, негромко радостно заржал. Рошаль по привычке потрепал гнедого по шее и провел ладонью по спине. Конь чутко вздрогнул, Рошаль тотчас вспомнил про ссадину на спине гнедого и решил завтра же с утра показать его полковому ветеринару.

Идти никуда ему не хотелось, и, постелив шинель, Рошаль улегся навзничь рядом с конем и стал смотреть на усеянное звездами аспидно-черное небо. Глаза у него саднили, будто песок под веками был насыпан, хотелось спать. Он закрывал глаза, но тут же опять широко раскрывал их, вспоминая ночную свою разведку. Нет, не думал он, когда начали стрелять, что удастся ему уйти живым. Но, видно, не кончился еще отпущенный ему судьбой вершок жизни. Как бы там ни было, а ни одна пуля не достала его. Под огнем волокли они пленного, и ничего, а солдата, которого он послал вперед предупредить свои дозоры, настигла пуля. Ну не чудо ли? Рошалю стало вдруг радостно и захотелось курить, но лень было шевелиться.

Перебирая в памяти события сегодняшней ночи, он снова подумал о пленном. Допрашивать его было некогда, удалось только дорогой бегло посмотреть документы, найденные при нем. 1860 года рождения, коммунист, командир роты Коммунистического полка... Рабочий Челкарского депо. Фамилия... как его, черт? Сквозняк? Нет... Озноб... А-а, Ознобин, вот как. Рошаль несколько раз повторил про себя эту ничего не значившую для него фамилию, закрыл глаза, перевернулся, завертываясь в шинель, и уснул. А проснувшись утром, опять вспомнил все подробности минувшей ночи и опять поразился, что остался жив. Увидев, что хозяин проснулся и сел, гнедой, напоминая о себе, тихонько заржал. «Пить хочет,— подумал Рошаль.— Надо бы напоить коня и самому умыться». У колодца толпились озлобленные солдаты. Ошалевший часовой сипло матерился и совал во все стороны штыком, никого не подпуская к колодцу. Рошаль поглядел на него и молча пошел прочь.

Ему опять вспомнился пленный, и он направился в штаб полка. Едва подошел он к большой палатке с приподнятым пологом, как услышал свист рассекаемого воздуха и шлепающие удары. Сердце его сжалось, он подошел ближе и, не решаясь войти, остановился.

— Заговоришь, сволочь? Будешь говорить?

И опять упругие, тугие звуки — жжик, жжик! — и шлепающие, как по тесту, удары. Рошаль сразу узнал голос подполковника Федорова, поразился бессилию и отчаянию, которые слышны были в этом голосе, и по-

злорадствовал: нашелся крепкий орешек и для этого палача!

— Говори, говори... Мать твою!..

Сморщившись, Рошаль вошел в палатку. Стол и стулья отодвинуты к стенкам, а посередине палатки на земляном полу ничком лежал пленный. Руки и ноги его были крепко привязаны к четырем кольям. Кроме кальсон, забрызганных кровью, вся одежда была с него сорвана, лицо разбито, очков не было. Два солдата с шомполами стояли по обе стороны. Потный, бледный Федоров бил пленного сапогом по ребрам. Увидев Рошалья, Федоров нахмурился, отвернулся, достал платок и стал вытирать лоб. Замешкавшиеся на минуту солдаты поглядели на Федорова, как бы спрашивая: «Что делать дальше?»

— Продолжать!— хрипло сказал Федоров.

Усталые солдаты опять начали, приседая, взмахивать по очереди руками, опять раздалось тугое жжик, жжик!.. На худой спине мгновенно вспухали лиловые рубцы, выступала кровь, лопалась кожа. Ознобин молчал. Лицо его почернело и исказилось, дышал он редко и прерывисто. Жарко покрасневший Рошаль искоса взглянул на Федорова. Тонкие губы того были плотно сжаты, ноздри дрожали, лицо посерело и лоснилось. Весь дрожа, он только приговаривал:

— Бей его, бей, еще... Я ему покажу!..

При каждом ударе распластанное на земле тело дергалось, а пальцы зарывались в землю. Большими пальцами ног Ознобин уже вырыл ямки.

— Пре-кра-титы!— вдруг визгливо закричал Рошаль.

Солдаты остановились, запыхавшись, и опять повернулись к Федорову, как бы спрашивая: «Перестать или добивать?»

— Бей его, бей сволочь!— не обращая внимания на Рошалья, хрипел Федоров.

Ознобин наконец вскрикнул и застонал. Растянутое тело его, как в агонии, зашлось крупной дрожью. Мученический пот залил ему глаза.

Дико вскрикнув, Рошаль оттолкнул солдат, выстрелил несколько раз Ознобину меж лопаток и отшвырнул револьвер. Федоров успел заметить, как ротмистр растегивал кобуру, и мгновенно решил, что удерживать его не нужно, что вся вина за смерть пленного будет на

Рошале. И только когда все было кончено, не поднимая на Рошала глаз, он кивнул солдатам и рявкнул:

— Арестовать! Погоны долой!

Бросив шомпола, солдаты кинулись к Рошалу, сняли с него шашку и портупею, сорвали погоны и, проведя по уже жаркой степи, заперли его в маленькой комнатушке единственного дома на 68-м разъезде. А Федоров отправился к командующему доложить о случившемся.

Час проходил за часом. Рошаль отказывался от еды, выпил только кружку воды и не отвечал ни на какие вопросы. С приятелями, зашедшими проведать его, он не стал разговаривать. Лежал на голом полу, отвернувшись к стене. В комнате было душно и пусто. На полу давно остыл котелок с супом, принесенный часовым. Единственным предметом в комнатушке были старые пыльные ходики на стене. Когда его привели и заперли здесь, ходики стояли. Он подтянул гирьку, качнул маятник, и с тех пор они без умолку тикали. Прислушиваясь к скрипучему, неотчетливому тиканью пыльных ходиков, Рошаль вспоминал, как медленно отсчитывали время большие стенные часы в гостиной за день до отъезда его в Южную армию, когда происходил у него решительный разговор с отцом.

После состоявшегося накануне банкета в честь союзных послов Рошаль проснулся, как всегда, от головной боли. Отец, по давнишней привычке встававший рано, уже покашливал у себя в кабинете. Надо было наконец поговорить, не откладывая, именно сегодня. Он вскочил, оделся и пошел к отцу.

Старый генерал был давно сердит на него и, будто не замечая присутствия сына, рассеянно искал что-то на своем большом столе.

— Доброе утро, папа,— начал Рошаль.— Очень хорошо, что ты еще не ушел. Дело в том, что я уезжаю...

Отец, продолжая искать что-то, только кашлянул. Помолчав, подождав ответа, сын опять сказал, уже тверже:

— Папа, я завтра уезжаю в армию генерала Чернова.

— Вот как?— Старик усмехнулся.— Это новость.

— Я говорю совершенно серьезно. С Черновым я уже договорился.

Легкая усмешка на лице старого генерала исчезла.

— Вот как?— уже строже повторил он.— Тогда присядь и послушай меня...

— Да все уж решено.

— Ну что ж, тогда с богом!

Ротмистр Рошаль смутился и неохотно сел в кресло, на которое показал глазами отец. Старый генерал искося поглядел на сына, который, не желая слушать никаких доводов, заранее принял упрямый, отчужденный вид.

— Чернов — хороший генерал. Ты знаешь, мы с ним давнишние приятели. Но ты, наверное, не знаешь, как обстоят дела в его армии.

— Тем более, в трудную минуту...

— Нет, милый мой, дела обстоят гораздо хуже, чем ты думаешь. Армия его у черта на куличках, мы теперь не в силах больше доставлять ему самое необходимое — боеприпасы и продовольствие.

— Знаю.

— А завтра будет еще хуже. Здесь у нас со дня на день может наступить такое время, когда каждый будет думать только о своем собственном спасении. Чернов со всей своей армией может застрять в пустыне. В пустыне же его ждет неминуемая гибель. Ты это понимаешь?

— Понимаю.

— Ничего ты не понимаешь!— Генерал поднялся и заходил из угла в угол. Надо припугнуть мальчика, думал он, а то он что-то совсем отбил от рук.— Все это несерьезно! И потом, о чем ты вообще думаешь? Где пропадаешь, кто твои друзья?

— Ах, папа, ничего я не знаю.

— Что?

— Я потому и решил уехать, что теперешней своей жизнью сыт уже по горло.

— Вот оно, ваше поколение. Все на одну колодку. Не успели родиться, уже состарились. Идти в армию только потому, что надоела здешняя беспутная жизнь!

Сын хмуро молчал. То, что он вопреки ожиданиям не спорил, не оправдывался, а молчал, потупив голову, пугало генерала. Чувствуя, что сын куда-то ускользает от него, что он не может его убедить, генерал остановился посреди кабинета.

— Какая блажь пришла тебе в голову!— сказал он с угрюмой тоской, решаясь на крайнее средство.— Все попойки, кутежи... А того не знаешь, что мы сейчас чуть не каждого второго приговариваем к смертной казни. К чему такие строгости, как ты думаешь?

Было видно, что того, что он говорил, говорить нельзя, и генерал хмурился. Набив трубку и примяв большим пальцем табак, он продолжал с усилием:

— Так вот, у приговоренных к смертной казни нет выбора. Или немедленная смерть, или идти в самое пекло, чтобы кровью своей заслужить помилование. И вот все приговоренные тотчас обращаются к Колчаку с просьбой отправить их на фронт. И мы отправляем.

— Это ужасно!

— Что же ты хочешь, война! Но не в этом дело, а я к тому это говорю, что всех этих смертников мы отправляем в армию Чернова. Надеюсь, теперь ты понимаешь, насколько плохи там дела?

Молодой Рошаль с удивлением посмотрел на отца. Удивительно! Его отец, этот милый, добрый, будто вовсе даже не военный старик, вместе с другими такими же стариками распоряжается жизнью и смертью людей. А генерал между тем снова принялся расхаживать по кабинету, с удовольствием ощущая под ногами мягкий ворс ковра. «Ты вынудил меня сказать тебе неприятные вещи, но теперь ты видишь, как глупо ехать на верную смерть!» — говорило его лицо.

Он вздохнул и поднялся.

— Завтра еду.

Генерал пожал плечами и обернулся. Потом подошел к сыну, взял за подбородок и повернул лицом к себе.

— Что случилось? Зачем ты упрямишься?

— Не сердись, папа...

— Не сердись! Или ты забыл, что у нас с матерью ты единственный сын?

— Как можно, папочка!

— Не вижу в этом причины для иронии. Негодный мальчишка!

— Папа,пусти, больно...

— Ладно, бог с тобой, поезжай куда хочешь. Видно, на тебе род Рошалей и кончится...

— Ах, папа, если уж род Романовых прекратился, то чего уж говорить о роде Рошалей?

Генерал опустил в кресло, закрыл глаза и обхватил ладонями горячий лоб. Молодой Рошаль тронул отца за плечо.

— За меня не беспокойся, папа, я буду осторожен. Не знаю, будет ли от меня там польза. Но я одно знаю, что сидеть в Омске и волочиться за юбками сейчас преступно. Россию мы должны спасти во что бы то ни стало. Ты же лучше других понимаешь, что если падет последняя наша надежда — я говорю о Колчаке, — то не только наш род, но и вообще ни один дворянский род не уцелеет. Все полетит к чертям, эти пролетарии все уничтожат.

В кабинете было тихо, генерал не отвечал и не шевелился. Только большие настенные часы мерно, без устали шли. В этом раздираемом братоубийственной войной мире одно только время никому не было подвластно. Вспомнив, что давно пора уже в ставку, генерал по-стариковски тяжело поднялся и, избегая глядеть на сына, который ждал от отца каких-то, может быть, бодрых слов, вышел, плотно притворив за собой дверь.

Долго еще морщился и осуждал себя ротмистр Рошаль, вспоминая свою жизнь в Омске. Как он там жил? С утра до ночи попойки, увиливание от службы, бессмысленное, постыдное времяпрепровождение. Похмелье, головная боль по утрам... Мучительно страдая, он клялся каждый раз: «Все! Баста. Нужно приниматься за дело!» Зарекаясь пить, он всякий раз чувствовал облегчение, веря, что именно с этого дня начнет новую жизнь. Уверив себя в необходимости «чистой перемены», он поднимался, заваривал и долго потом пил крепкий кофе. Мысли прояснялись, но тонкое худощавое лицо его оставалось опухшим, а под глазами серели мешки. В такие минуты он не любил бриться, не любил зеркала. С отворачиванием разглядывал он свое отражение, и, как живой укор, вспоминался ему отец. Однажды он обратил внимание на старый отцовский китель, висевший на спинке кресла. Китель показался ему неряшливым. А ведь отец, давно уже обходясь без денщика, каждое утро, перед тем как отправиться в ставку, тщательно чистил одежду, до блеска натирал суконкой пуговицы. И вот старость одолела...

С тех пор как ушел из верховной ставки Чернов, отношения с Колчаком у старого Рошаля окончательно



испортились. Это прекрасно видели штабисты, паркетные шаркуны, и третировали отца. Настоящих друзей у него и прежде было немного, а в последнее время он и вовсе стал одинок. Не с кем на старости лет поговорить по душам, и нет никого, кому бы можно было довериться. Единственный сын, и тот не в отца пошел — лежит вот в душной запыленной комнатухе.

В трезвые одинокие часы сын всегда очень остро, болезненно сочувствовал одиночеству отца. Вот и теперь даже дыхание у него стеснило от всех горьких мыслей — и об отце, и о родине, и о своей неудавшейся жизни. Запертая дверь и часовой за дверью приводили его в отчаяние.

На следующий день к обеду, постукивая колесами на стыках и отпыхиваясь паром, прибыл на станцию какой-то псезд и остановился напротив домика. Тут же к поезду бросились со всех сторон солдаты. Послышался плеск воды, по всему разъезду поднялся невообразимый гвалт: ругались и кричали солдаты, гремели ведра и котелки, нетерпеливо ржали кони. Не открывая глаз, Рошаль догадался, что на разъезд прибыли обещанные цистерны с питьевой водой. Он облизал потрескавшиеся губы и с надеждой подумал, что его товарищи, может быть, вспомнят и напоят и его коня.

Но не успел он так подумать, как где-то совсем рядом раскатисто грянул гром. Это было так неожиданно, что Рошаль вздрогнул и невольно вскочил. Тотчас зарокотало снова, и над маленьким станционным домом с воем пронеслись снаряды и начали гулко рваться в самой гуще собравшейся на разъезде толпы. Домик дрогнул, будто на него налег кто-то снаружи, оконные стекла разбились вдребезги, и штукатурка посыпалась с потолка. Снаряды стали рваться чаще. Солдат, собравшихся возле состава, будто ветром сдуло. Бросая баки, ведра, котелки, они побежали в степь, подальше от разъезда. Из пробитых цистерн хлестала вода, и вдоль всего состава мгновенно образовались непролазные лужи.

Через десять минут все было кончено, и армия опять осталась без воды. Генерал Чернов, рассчитывавший напоить людей и лошадей, чтобы после однодневного отдыха бросить их в наступление, теперь растерялся. Впервые за всю кампанию его охватила нерешительность и он не знал, что предпринять. Вот в этот тяжкий час

и прилетел с далеких берегов Каспия один из самых влиятельных военачальников английской экспедиционной армии в Средней Азии генерал Нокс.

И оттого, что прилетел он перед самым боем и как бы брал на себя часть ответственности, приезду его генерал Чернов очень обрадовался. Поздоровавшись с Черновым, крепко пожав ему руку и козырнув остальным, Нокс тут же попросил его отпустить офицеров. А оставшись с генералом наедине, немедленно приступил к делу, ради которого сюда прилетел.

Судьба Южной армии, говорил он, решается здесь, под Аральском. И если удастся в предстоящем бою разбить красных, сопротивление их в Средней Азии будет сломлено навсегда. Тогда до самого Красноводска Южная армия не испытает никаких трудностей, а там ее встретят английские войска, встретят с победой!

Чернов, внимательно выслушав представителя союзных войск, поколебавшись, задал ему один вопрос: что должен делать он в том случае, если не удастся прорвать оборону красных? Англичанин, прищурившись, оглядел русского генерала, потом нахмурился и терпеливо повторил: красных нужно во что бы то ни стало разбить под Аральском.

Южная армия хорошо подготовлена к наступлению, сказал Чернов, но если все же случится невозможное и у них просто не хватит сил разгромить красных, что их всех ждет? Англичанин достал сигару, раскурил ее и будто потерял всякий интерес к русскому генералу.

— Что ж,— сказал он, выпуская дым и глядя в степь,— если случится такое несчастье, если Южная армия не сможет прорвать оборону красных, тогда ничего не поделаешь, придется уходить по западному побережью Аральского моря в Каракалпакию. Тамошние места, правда, безлюдны и безводны, там Южную армию ожидают, вероятно, огромные трудности... Но русский командующий будет помнить, конечно, что союзники останутся верны своему долгу. На границе казахской и каракалпакской земель есть коса Улу-Кум, богатая пресной водой. У русского командующего, разумеется, будет время изучить на карте те места. Так вот, из городов Кунград, Чимбай, Ургенч, Учсай навстречу Южной армии выйдут отряды атамана Фелишева и офицеров Сафара, Серова и Елисеева. А аральские купцы Мар-

ков, Мокеев, Кисин и другие обеспечат армию всем необходимым. Более того, содействие Южной армии обещали хивинский хан и эмир бухарский.

Англичанин остановился, подождал, не спросит ли еще о чем-нибудь русский генерал, и продолжал уже другим тоном:

— Колчак, к сожалению, не оправдал наших надежд. Это конченная фигура. Союзники пришли к выводу, что дальнейшее снабжение его продовольствием и боеприпасами бесполезно. Сейчас весь свободный мир с надеждой взирает на барона Врангеля. И потом на вас, сэр.

Чтобы скрыть охватившее его вдруг волнение, генерал Чернов торопливо закурил и закашлялся. Вот, значит, как, думал он, дни Колчака сочтены. Кончилось его время. Теперь все от него побегут, как от зачумленного. А ведь какие почести воздавали, какие надежды на него возлагали! Но ставка на него оказалась бита, и вот он уже не нужен. Свободный мир теперь с надеждой взирает на Врангеля? А завтра? И где гарантия, что и его, генерала Чернова, после какой-нибудь неудачи не забудут тотчас, не сместят? Чернов, затягиваясь, исподлобья посмотрел на англичанина и поспешно отвел глаза. Длинное бескровное лицо, под светлыми короткими ресницами холодные глаза. На безымянном пальце поблескивает плоское золотое кольцо...

Немного на отлете держа сигару, англичанин, в свою очередь, тяжело посмотрел на русского генерала.

— Вы со своей армией присоединяетесь к Врангелю,— сказал он, как о деле давно решенном.

Генерал Чернов не возражал, так как понимал, что в данной ситуации ему ничего не остается, кроме как принимать к сведению наставления генерала Нокса.

— В Красноводске вашу армию погрузят на пароходы. Когда вас перебросят на противоположный берег Каспийского моря, добраться до Крыма вам не составит труда. Вы поведете свою армию по местам, где недовольство Советской властью особенно сильно.

— Что это за места? — спросил Чернов.

Генерал Нокс помолчал.

— Вы, конечно, устали, генерал. Кроме того, в силу своей оторванности вы настроены пессимистичней, чем хотелось бы... Я вас понимаю. К счастью, такие места

есть. Население Северного Кавказа, Кубани и Дона активно вооружается.

— Очень хорошо,— отозвался Чернов.— Я вас слушаю.

— Ваша армия по численности почти равна армии Врангеля. Оружия и продовольствия у Врангеля более чем достаточно. У него есть броневики и аэропланы. И если ваша армия соединится с армией Врангеля, наши силы для наступления на Москву удвоятся. Поэтому мы крайне заинтересованы в том, чтобы вы соединились с Врангелем как можно скорее. Прошу особенно учесть это обстоятельство. Затем позвольте проститься. Желаю успеха в предстоящем сражении, генерал! Слишком многое зависит от того, выиграете вы его или проиграете. С нами бог!

К своему удивлению, генерал Чернов обрадовался быстрому отъезду англичанина. Как ни сдерживался он, но наставительный тон Нокса приводил его в бешенство.

Едва улетел англичанин, Чернов с офицерами поехал на передовые позиции. В его свите находился и Танирберген, взятый в качестве проводника еще в Челкаре. Такой многочисленной армии Танирберген еще в жизни не видел и не мог даже представить себе, чтобы так много людей могло собраться в одном месте. О войске, под копытами которого гудит земля, Танирберген знал только из легенд. Захлебываясь, распевали, бывало, старые сказители — жырау у него в юрте о том, как в час, когда на казахскую землю вторгались полчища иноверцев, древние батыры собирали под зеленым знаменем пророка Мухаммеда всех правоверных и несметным войском шли на праведный бой, спасая честь ислама. Горлодеров жырау Танирберген не любил и не верил их хвастливым сказаниям. Все это брехня, думал он про себя, и когда доверчивые слушатели обливались слезами, молодой мурза только холодно улыбался. Всю ночь напролет пел, бывало, старый жырау свою нескончаемую кису<sup>1</sup>, а утром, когда охрипший певец, придя в окончательный экстаз, нахлестывал сухую деревяшку-домбру, мурза, не слушая больше, бесцеремонно вставал и шел спать.

---

<sup>1</sup> Сказание, эпическая поэма, часто религиозного содержания.

Теперь зато он был подавлен. Под Аральском он надеялся освободиться от унижительной для него обязанности проводника, но надежде его не суждено было сбыться. Просьба его об освобождении пришлась генералу Чернову не по душе. «Потерпите еще, мурза,— холодно сказал генерал.— Поговорим об этом после сражения».

По дороге из Челкара Танирберген оказался очевидцем многих стычек и боев. И хоть людей было потеряно немало, стычки эти больше напоминали ему конную игру «аударыспак», когда разгоряченные джигиты вышибают друг друга из седел. Теперь же, глядя на огромные армии, сходящиеся лоб в лоб, мурза рассудил, что сражение предстоит невиданное и неслыханное. От недоброго предчувствия ему было не по себе. Генерал Чернов готовился к этому сражению с самого выступления из Челкара. Свои лучшие полки он приберегал для боя под Аральском. Даже скупые до этого интенданты теперь вдруг расщедрились и стали вдоволь выдавать харчи солдатам.

Похудевшие солдаты загорели под знойным солнцем до черноты. Кони, измученные жаждой, отощали, запали боками, и было удивительно, как они еще не падают под своими всадниками. Одни верблюды, на которых везли и везли боеприпасы и продовольствие, равнодушно опускались на горячую рыжую пыль и, казалось, не испытывали ничего, кроме удовольствия.

Заметив большую группу офицеров, красные открыли по ней прицельный артиллерийский огонь. От первых же разрывов кони шарахнулись и заржали, дрожа и приседая. Изю всех сил удерживая коня, Танирберген с испугом оглядывался на офицеров. Но офицеры, казалось, не проявляли никакого беспокойства, а генерал Чернов, не давая испуганно храпевшему под ним аргамаку повода, направлял его все ближе и ближе к укреплениям красных.

После того как его армия осталась без воды, генерал изменил свой первоначальный план и решил начать сражение завтра же. Штаб одобрил его намерение, и ввиду предстоящего боя он отправился еще раз осмотреть позиции. Потом он намерен был провести сидящего под стражей сына своего старого друга и от него самого узнать обо всем случившемся. Федорову он не особенно

верил, и надо было сразу распорядиться освободить Рошалья, а теперь момент упущен и дело это принимает неприятный оборот...

Генерал Чернов, задумавшись, подъехал близко к расположению противника. Снаряды стали рваться ближе, космы пыли несло на всадников, и адъютанты уже начали нервно оглядываться. Один генерал Чернов оставался невозмутимым. Туго натянув повод белого аргамака, он с вышины бурого холма долго разглядывал расположение противника. И только когда снаряды стали ложиться слишком уж близко справа и слева, он тронул коня и поехал назад. По дороге он опять вспомнил о ротмистре Рошале и оглянулся, ища взглядом подполковника Федорова.

— Господин Федоров!

Федоров тотчас подъехал ближе.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Где ротмистр Рошаль?

— Под стражей, господин генерал,— ответил тотчас Федоров и удивленно взглянул на Чернова.

— Все там же?

— Так точно, на разъезде.

— Гм... хорошо,— сказал генерал и прибавил рыси.

Мундир его, который он не снимал все лето, выцвел и побледнел на спине от соли. Моложавое лицо генерала осунулось и потемнело. Аргамак его был замучен и все косил воспаленными глазами на валявшиеся там и сям порожние бочки и ведра.

Было безветренно, душно, не шевелилась ни одна травинка. Все кругом дрожало в знойном мареве. Изпод надвинутого на лоб козырька фуражки Чернов поглядывал по сторонам и с болью видел, как изнурены и подавлены солдаты. «Нет, довольно, больше ждать нельзя,— думал он.— Завтра же начнем!»

У разъезда он кивнул Федорову, и они спешили.

— Вот здесь,— предупредительно сказал Федоров, открывая перед командующим дверь.

В маленькой комнатухе, где находился арестованный Рошаль, было грязно и душно. Рошаль лежал на полу и, хоть тотчас узнал командующего, поднялся не сразу. Глаза его опухли, лицо было измято и обросло щетиной.

Чернов бегло взглянул на него и понял, что напрасно сюда пришел, что говорить сейчас ни о чем не нужно. Нахмурившись от жалости, он круто повернулся и вышел. Федоров замешкался и догнал командующего уже довольно далеко от разъезда.

— Как прикажете с ним поступить, ваше превосходительство?— осторожно осведомился он.

— А вы что предлагаете, подполковник?

— Я уважаю ротмистра, но, согласитесь, проступок тяжелый. В то время, когда мы совершенно лишены каких-либо сведений о противнике...

— Да, да...— рассеянно отозвался Чернов.— Я понимаю. Итак, ваше мнение?

— Я думаю, нужно примерно наказать.

— А? Да, да... Наказать.

— Мое мнение: разжаловать и завтра пустить в дело в первых рядах. Пусть кровью добывает себе погоны!

Генерал Чернов всем телом повернулся к Федорову. Он и раньше знал, что Федоров бывает жесток, но никогда не осуждал его за это. Войны без жестокости не бывает. Но теперь он даже оторопел несколько от того, с какой холодностью вынес Федоров этот жестокий, едва ли не смертный приговор. «Что ж, так тому и быть,— устало решил он.— У меня язык бы не повернулся, но раз они между собой все решили, так тому и быть!» Отвернувшись от Федорова, ни слова не сказав, он хлестнул своего аргамака и поехал один.

## ▼

— Ел-ага...

— Ел-ага, где вы?!

Еламан собирался завтракать, и его сразу встревожило, что джигиты, забыв свою обычную учтивость, кричали истошными голосами. Чувствуя, что тот час, которого они все так давно ждали, наконец пробил, Еламан нашел еще в себе силы проглотить несколько ложек и только после этого встал, одернул гимнастерку и пошел к бойцам.

Все возбужденно глядели в одну точку на горизонте. Поглядел туда и Еламан. На широкий бурый увал перед 68-м разъездом черной лавиной поднимался неприятель.

Поднявшись на хребет, всадники придерживали коней, сбиваясь плотной стеной. Подождав, пока подошли тянувшиеся бесконечной лентой новые и новые эскадроны, белые выждали какую-то одну им известную минуту и вдруг с диким ревом покатались вниз с холма. Только что безмятежно дремавшая утренняя степь внятно задрожала от далекого топота копыт. Пыль, поднимавшаяся на буром увале, заволокла все небо. Сквозь пыль тускло сверкали шашки, чернели над головами всадников пики. Гул от конских копыт все усиливался, широкая лавина кавалерии, будто селевой поток, текла уже по равнине.

Еламан взялся за винтовку, потом повернулся, оглядывая своих джигитов. По привычке он хотел крикнуть, чтобы все приготовились, но тут же убедился, что в командах нет нужды — все давно лежали на бруствере, и только затворы щелкали, да иногда слышались торопливые голоса:

— Где патроны? Давай сюда патроны!

— Пулемет проверили?

— Эй, приятель, дай-ка сюда пару гранат!..

Еламан повернулся к пулеметному расчету, вспомнив, что пулеметчик у них совсем мальчишка. Но пулемет был давно заправлен лентой, и тупое рыльце его тускло лоснилось на солнце, а пулеметчик лежал, удобно раскинув ноги и вцепившись в рукоятки. Еламан опять стал глядеть вперед. Теперь можно было уже различить каждую лошадь и каждого всадника в отдельности. Человек десять вырвались вперед, их догоняли поодиночке самые азартные рубаки. Еламан вспомнил про гранаты и выложил их на бруствер. Ему вдруг стало холодно, и руки задрожали. Он, как всегда перед боем, начал злиться на себя. Чтобы забыть свой страх, он стал с ненавистью смотреть на всадников, которые, обогнав всех, скакали впереди. Среди них выделялся мчавшийся особняком человек на гнедом коне. Солдат — не солдат, офицер — не офицер, он летел распяской, с расстегнутым воротом гимнастерки, без погон и без фуражки. Лицо его заросло густой щетиной, он не кричал что есть силы, как остальные, не крутил, будто камчой, шашкой над головой, не разъярял понапрасну ни себя, ни коня. И Еламан тут же решил, что это самый опытный наездник и боец, побывавший на своем веку в десятках подобных переделок, и что именно его первого и нужно брать на мушку.



Ударил красная артиллерия, и бойцы перевели дух. То там, то здесь белых вышибало из седел. Справа и слева от Еламана то дальше, то ближе захлопали винтовки, потом в дело вступили пулеметы, но Еламану показалось, что всадники, которые скакали прямо на его сотню, еще далеко, и он закричал, напрягаясь:

— Не стреля-ять! Подпустить бли-иже!

Но джигиты и без его окрика не стреляли, и даже мальчишка-пулеметчик лежал, казалось, все в той же удобной позе, будто не впервые ему было отбивать такие атаки. «Ай, джигит! Молодец!» — подумал о нем Еламан и тут же стал подводить мушку под всадника на гнедом коне. Гнедой, плотно прижав уши, распластываясь, птицей несся по ровной выгоревшей степи. Время от времени он помахивал куцым хвостом и далеко и легко выкидывал ноги. Еламан уже хорошо видел широко раздутые ноздри, видел небритое лицо над шеей коня, облепившую тело гимнастерку... Поймав момент, он выстрелил, но всадник на гнедом коне только припал к гриве, отыскал глазами Еламана и, приближаясь с ужасающей быстротой, уже медленно заносил над головой шашку. «Что это? Промазал!» — похолодел Еламан и с тошнотворным страхом понял, что слишком близко подпустил врага. Он выстрелил еще раз навскидку — опять мимо и тут же пригнулся, прилип к земле, беспомощно защищаясь рукой. Он уже ничего не мог сделать и только, зажмурившись, видел, как рубит его по шее шашка и откатывается в сторону голова.

Гулко забил пулемет, звонко зачастили винтовки, но Еламан в эти последние свои, как ему казалось, секунды ничего не видел и не слышал. Не видел он, как врага его в распоясанной гимнастерке обогнал какой-то казак и, перелетая через окоп, свесившись с седла, рубанул мальчишку-пулеметчика. Не видел он, как бежал по окопу и стрелял комиссар, как он выстрелил и во всадника на гнедом коне, как тот сразу, будто сломавшись, обмяк и, уже вываливаясь из седла, пытался в последнем бессознательном усилии вцепиться в гриву своего коня. И конь его, сразу почувствовав ослабевший повод, видя под собою зияющий окоп, поджал передние ноги, вытянул шею и зайцем скакнул через Еламана.

Робко воздев глаза, Еламан увидел над своей головой взмокшее брюхо гнедого, промелькнувшие копыта, услы-

шал, как что-то грузное ударилось о дно окопа, покоился в ту сторону. Неловко свернувшись, подобрав под себя правую руку, уже мертвый, лежал тот всадник, который только что дико скакал по степи и который хотел его зарубить. Только взглянул Еламан и тут же отвернулся и не узнал в убитом враге ротмистра Рошалья, с которым он так дружески беседовал под Актюбинском.

А Дьяков, пробегая мимо, кричал что есть силы:

— Гранаты! Грана-аты!..

Еламан вспомнил про свои гранаты, увидел кучку всадников, внезапно услышал грохот боя, крики и сам закричал что-то злобное, выпрямляясь над окопом, одну за другой швыряя гранаты далеко вперед. Взрывов он не слышал, увидел только, как впереди взметнулась пыль, мелькнуло два раза в этой пыли пламя и начали вздыматься на дыбы и опрокидываться кони.

— Так их, так! Молодцы!— хрипел Дьяков, не слыша своего голоса.

Потом подскочил к замолкшему пулемету, отвалил тело зарубленного пулеметчика и взялся за рукоятки.

— Вот так, вот так!— приговаривал Дьяков, сотрясаемый крупной мерной дрожью пулемета.

Несмотря на потери, белые все подкатывались волна за волной, хлеща коней и размахивая шашками. Будто пшеница на жаровне, трещали винтовки вдоль окопов, беспрерывно били пулеметы в нескольких местах, рвались гранаты, разбрасывая по сторонам осколки и пыль. Вновь и вновь кидалась конница на окопы, но попытки прорваться за оборонительную линию красных не удавались. Оставшиеся в живых поспешно поворачивали коней и сначала поодиночке, а затем и всей массой пустились назад.

Дьяков только теперь оторвался от пулемета и оглядел свои окопы. В окопах стонали и кричали раненые. Появились санитары с носилками. Густой клубящийся дым на месте недавнего боя, медленно рассеиваясь, стал уволакиваться в низину.

Солнце между тем поднялось уже высоко, наступал новый душный день, и нечем стало дышать. Задыхаясь, вытирая рукавом обильный пот, Дьяков дрожащими руками торопливо расстегнул ворот рубахи. Увидев подходящего Еламана, он устало улыбнулся.

— Ну как, брат? Кажется, живы остались?— с удовольствием выговорил он.

Еламан только кивнул в ответ. После боя загорелое лицо его осунулось и стало жестким.

— В атаку, теперь в атаку!— торопливо сказал Дьяков и поднялся.

— В атаку?— еще не опомнившись, удивленно переспросил Еламан.

— Да, приказ командующего!

Еламан быстро собрал своих джигитов. Кони их находились недалеко позади, в лощине. Там царила такая тишина, что непохоже было, будто несколько минут назад гремел над окопами бой. Толстобрюхий Еламанов вороной, позванивая удилами, мирно пощипывал полынь и мотал от удовольствия головой. Еламан первым вскочил в седло. После своего любимца, темно-рыжего со звездочкой на лбу, убитого в недавнем бою, он никак не мог привыкнуть к этому вороному. Чувствуя, что сытый вороной все норовит остановиться, Еламан разозлился и в сердцах огрел его камчой. Вороной екнул селезенкой и уронил несколько кругляков. Поднимаясь по склону на противоположный берег лощины, Еламан оглянулся и увидел, что джигиты догоняют его. Вдалеке виден был Кустанайский кавалерийский полк. Полк на двигался на него в клубах пыли плотными рядами, и Еламан понял, что его джигитам предстоит идти в атаку вместе с Кустанайским полком. Колотя ногами храпящего своего брюхастого коня, он крупной рысью выскочил на бугор. Как раз в это время прискакал адъютант из штаба с приказом временно остановиться. Остановились и кустанайцы. Джигиты Еламана спешили и стали терпеливо ждать под солнцем. Только после обеда адъютант привез новый приказ и все сели на коней.

Собрав свежие силы, белые между тем опять пошли в наступление. Кустанайский полк бросился в бой. Впереди скакали джигиты Еламана. Отряд, возглавляемый Али, на своих лихих конях сразу же вырвался далеко вперед. От пыли, поднятой отрядом Али, Еламан не мог продохнуть. Его вислобрюхий вороной сначала всегда отставал. Зная эту его повадку, Еламан на первых порах скакал, бывало, где-нибудь сбоку. Но сегодня сгоряча он вдруг позабыл об этом и очутился в самой гуще всадников, так что никуда не мог свернуть. Кони еще не

разошлись, не распластались в бешеном намете, скакали все кучно, ухо в ухо, касаясь друг друга боками.

Гнедой, очутившийся как раз перед мордой вороного, швырял в него копытами землю, будто горстями. Пыль, песок, комки высохшего за лето дерна секли лицо Еламана и вытянутую морду вороного. Наглотавшись пыли, забив ноздри, вороной начал уже задыхаться и тяжело водить боками. «Эх, сейчас бы мне темно-рыжего!» — думал Еламан, время от времени подаваясь вперед, вытягивая свободную руку и протирая ладонью глаза вороного. Несколько раз, стремясь отвернуть от гнедого, Еламан подавался то направо, то налево. Но, будто угадывая его мысли, гнедой, как назло, поворачивал каждый раз в ту же сторону, что и он. Скакал гнедой легко, топоча копытами, выбрасывая ноги, протяжно фыркая и время от времени резво взмахивая куцым хвостом. А вороной между тем выбивался из сил. Уши и морда его давно посерели от пыли, он надсадно екал, водил боками, будто не скакал, а тянул воз с тяжелой поклажей. Еламан чувствовал, как вороной роняет на ходу кругляки. «Обжирается, волчья сыть! Распустил брюхо, как баба на сносях!» — злился Еламан, охаживая вороного камчой.

Приподнимаясь на стременах, Еламан несколько раз принимался смотреть вперед, стараясь увидеть белых. Последний раз он видел, как они спускались по склону серого холма. Внезапно в разрывах пыльной завесы он увидел их совсем близко, так что можно было различить, если сосредоточиться, лица, погоны и масть коней, и Еламан тут же наметил себе одного всадника и старался уже не спускать с него глаз.

Белые неслись лавиной, вертя обнаженными шашками, вопя во всю глотку, и казалось, ничто не может их остановить. Но лавина их, такая грозная сначала, замедлила вдруг свое течение, поредела, разбилась на отдельные кучки и стала поворачивать назад. Через минуту белые скакали уже вверх по склону серого холма, а те, что замешкались и не сразу повернули, теперь отчаянно нахлестывали своих коней и в ужасе озирались назад.

Еламан и не заметил, как начал расходиться его вороной. Обходя одного джигита за другим, он скоро вырвался вперед и первым вынесся на вершину холма. Не

задержавшись ни на мгновение, не подождав своих, Еламан пустился вниз по склону, стараясь догнать всадника, которого он еще раньше выделил среди остальных. На секунду отведя глаза от намеченной цели, он быстро взглянул на своего вороного. Теперь вороной взмок от обильного пота, шея его была сильно вытянута, густая грива развевалась под ветром. «Ай, скотище любимое!»— подумал счастливый Еламан, забыв уже, как проклинал коня минуту назад.

Подняв глаза, он увидел, что настигает своего врага на черногривом соловом коне. Вороной начал заходить с правой стороны, откуда неудобно было рубить, и Еламан разозлился на себя, что не вовремя это заметил. Резко дернув повод, он повернул коня и стал обходить солового уже с левой стороны. Тыльной стороной руки, давно уже сжимавшей шашку, он вытер заливавший глаза пот и, напрягшись, подался вперед. Всадник, которого он догнал, оглянулся, и на мгновение взгляды их встретились. Глаза солдата были полны такого ужаса, что Еламан с отвращением отвел от него взгляд, будто ощущая уже запах трупa. В нем как-то погасла вдруг вся ярость, но, с недоумением глядя на скорчившееся в седле неживое тело, он все-таки взмахнул шашкой. Почувствовав за спиной взмах и свист шашки, солдат вдруг сам вывалился из седла и несколько раз, переворачиваясь, ударился о землю, поднимая пыль. Досадую на свой промах, Еламан, стиснув зубы, выпрямился в седле, ища взглядом, кого бы еще догнать и уже рубануть как следует, но в это время услышал далеко позади себя крики: «Стой! Стой! Назад! Назад!» Оглядевшись, Еламан только теперь увидел, что, разгорячившись, прискакал чуть не к самому 68-му разъезду. Тогда Еламан, а за ним и его джигиты круто осадил коней и поскакали назад.

## VI

Когда еще одна атака белых была отбита, Дьякова вдруг потянуло курить. Остатками воды из солдатской фляги он выполоскал рот, потом немного попил. Вода была такая теплая и так нехорошо пахла, что его чуть не стошнило. Он закашлялся, сразу ослабел и, чтобы

не ложиться, прислонился к стене окопа. Солнце клонилось к западу, но дневной удушливый зной не проходил. Время от времени, обдавая жаром, как из печки, налетал раскаленный ветер. По краям окопа, где буграми лежала желтая глина, взвихривались песчинки. Дым над полем боя рассеялся, пыль осела, и теперь то тут, то там темнели трупы.

Во время боя у Дьякова заложило уши, теперь слух медленно возвращался к нему, и он услышал далекое разноголосое ржание и стоны раненых в окопах. Скрипя колесами, стали подъезжать арбы и фуры, вдоль окопов и по степи бегали санитары с носилками...

Блаженная оглушительная тишина восстанавливалась там, где недавно кипел бой. Под редкой серой полынью вдоль окопа беззаботно сипели кузнечики. Потрепетав в вышине, опустился и сел между трупами жаворонок. Казалось, что и жаворонок отдыхает после боя, радуется, что и он уцелел, и восторженно делится своей радостью с огромным миром.

Дьяков растроганно улыбнулся. Когда же, подумал он, человечество поумнеет? Неужели никогда оно не будет наслаждаться вот этой благодатной тишиной, от которой так покойно и светло на душе? После каждого боя кажется, что больше уже никогда не возьмешь в руки оружие. Каждый раз думается, что именно этот бой и есть тот последний и решительный бой, о котором мы так самозабвенно поем. Вот и завтрашний бой, неужели он не станет самым решительным и последним на казахской земле? Сегодня атаки уже не будет, а вот завтра... Выстоим ли?

— Иду-ут!.. Опять идут!— разнеслось над окопами.

Сначала Дьяков подумал, что ему померещилось. Торопливо он приткнулся к биноклю. За рыжим перевалом слышался незнакомый гул и клубилась пыль. Потом на вершине холма одна за другой стали показываться зеленоватые туши. На этот раз в атаку первыми пошли броневики, а за ними с развевающимися знаменами пехота.

— Броневики!

— Гранаты!! Где гранаты?!

— Эй, гранат давайте-е...

— Броневики идут, гранаты-ы...

Измученным бойцам предстоял еще один бой сегодня.

Дьяков проснулся еще до зари. От постоянного недосыпания у него по утрам страшно болела голова. Посидев немного, крепко стиснув ладонями виски, Дьяков похлопал себя по шее и по темени и встал. Он знал, что головная боль скоро пройдет. Каждый день он просыпался больной и разбитый, но потом втягивался в дела, и головная боль проходила.

Дьяков долго зевал, прикрывая ладонью рот, оглядываясь и соображая, что сегодня нужно сделать в первую очередь. Кроме нескольких солдат, там и сям шевелившихся в окопе, все тяжело спали в этот ранний час. Дьяков прошелся по траншее, остановился возле Еламана, который дремал, уронив голову на грудь, устроившись возле пулеметного расчета. Вздохнув, Дьяков стал смотреть в сторону белых. Предутренние сумерки были в той стороне особенно густы, и тишина, которая ничем пока не нарушалась над 68-м разъездом, казалась особенно грозной. Дьяков понимал, что командование белой армии взбешено вчерашними неудачами и что сегодня может все случиться. Обреченным людям почти невозможно противостоять. Не оставляя никаких резервов, белые могут сегодня обрушиться на Аральск всеми силами, и сегодняшний бой будет не чета вчерашнему...

Медленно занималась летняя заря. Ветра не было, и весь этот необъятный мир с постепенно светлевшим и раздвигавшимся горизонтом был так свеж и чист, что вдвойне ужасно было воображать смерть, которая наступит для сотен людей не когда-нибудь, а сегодня. Неутомимые степные жаворонки завели спозаранок свои серебристые песни.

Один за другим начали просыпаться бойцы, и было слышно в утренней тишине, как они зевали и переговаривались по окопам. Сзади заскрипели арбы, и в окопы начали носить гранаты и ящики с патронами.

Солнце едва показалось над степью и залило все румяным светом, когда из окопов кто-то крикнул не своим голосом:

— Опять иду-ут!

Как и вчера, за рыжим перевалом снова поднялась пыль. Все в Дьякове заныло и задрожало, и, смущаясь, он посмотрел вокруг себя. Торопливо клацали затворы.



Многие бойцы с серьезными бледными лицами выкладывали перед собой на бруствер окопа гранаты. Длинный черный казах, сосед Али, наточив громадный нож о камень, сунул его за пояс.

Вскинув бинокль, Дьяков долго всматривался в приближавшуюся, мерно колыхавшуюся пехоту, потом задумался и неожиданно для всех крикнул:

— Не стрелять! Передать по цепи — не стрелять!

Поглядев опять в бинокль, он еще больше оживился и отправил бойца назад к батареям с тем же приказом — не стрелять. Белые приближались густыми цепями. В пыли щетинились и тускло поблескивали в неярком утреннем свете стальные штыки. Полковое знамя в руках знаменосца не развевалось, а тяжело висело вдоль древка.

Впереди цепей, прихрамывая, шел командир полка с обнаженной шашкой. Это был рослый худой офицер, и в бинокль хорошо были видны его рыжие усы. Как бы опасаясь, что идущие за ним отстанут, он поминутно оглядывался назад. Не убыстряя и не замедляя шага, цепи спустились к подножию рыжего перевала. Еще раз обернувшись к цепям, командир полка что-то крикнул и, подняв шашку, еще заметнее припадая на левую ногу, побежал вперед.

— Товарищ комиссар, куда ж еще ждать? Близко! В самый раз ударить! — жарко забормотал кто-то рядом.

Дьяков только повел плечом, не отрываясь от бинокля. Он еще издали узнал, что в атаку на них идет Пластунский полк. А если верить пленным, в этом полку несколько раз вспыхивало недовольство. Солдаты полка давно уже ненавидели казаков атамана Дутова, с которыми у них по всякому поводу вспыхивали драки. Настоящее брожение в полку началось после Орска. Солдаты были недовольны тем, что их завели в чужие земли класть головы за казачьи интересы. Военской дисциплине они подчинялись с трудом и воевать не хотели.

— Товарищ комиссар, когда же огонь-то открывать? Совсем подошли!..

Дьяков ничего не слышал. В голове его шумело пуще прежнего, уши заложило, на висках вздулись вены, все его слабое тело билось и трепетало от принятого решения. Неужели он обманулся и станет виновником гибели сотен своих бойцов? Неужели этот поток человеческих



тел, наполненных ненавистью, через минуту сомнет оборону красных? Он видел острые жала штыков, хмурые лица солдат. Топот тысячи солдатских сапог сотрясал землю. Но Дьяков видел также растерянное, осунувшееся лицо командира полка...

Дрожащей рукой смахнув со лба крупные капли пота, Дьяков неожиданно для всех выскочил из окопа, замахал над головой руками и закричал что есть силы:

— Солдаты!.. Братья!.. Остановитесь...

Обессиленный, задохнувшись от крика, он еще судорожно набирал воздух в легкие, а цепи Пластунского полка уже дрогнули. Что-то неуловимое пробежало по лицам солдат. Взмахивая шашкой, отчаянно закричал командир полка, прицелился в Дьякова какой-то офицер и тут же упал от выстрела, раздавшегося сзади. Солдаты замедлили шаг и начали останавливаться, беря винтовки под мышки и опуская вниз штыки. И тогда Дьяков, сотрясаемый восторгом победы, крикнул уже звонко, радостно:

— Солдаты! Переходите на сторону революционного народа-а!.. Ура!

— Ур-ра-а-а!.. — прокатился громовой крик по окопам красных бойцов и по цепям Пластунского полка.

## VIII

Приказав в этот день начать наступление на рассвете, генерал Чернов выехал на передовые позиции спозаранок — хотел сам наблюдать за боем. Сопровождала его большая свита, все чувствовали, что сегодня должна решиться судьба всего их наступления, и все хотели присутствовать при этом. В числе свиты находился и Танирберген.

На вершине черного холма командующий остановил коня. Адъютант подал ему бинокль. Как раз в это время первым начавший наступление Пластунский полк, преодолев рыжий перевал, быстро приближался к укреплениям красных. Красные молчали, хотя им давно пора было открыть огонь. Самое невероятное было в том, что и артиллерия красных не открывала огня.

— Что за черт, почему... — начал было Чернов и вдруг осекся и побледнел. Ему показалось, что запотели линзы

бинокля или... Он торопливо протер бинокль, опять посмотрел и выругался сквозь зубы: возле окопов красных все смешалось, полковое знамя исчезло — Пластунский полк брался с большевиками!

На холме воцарилась гробовая тишина. Никто не решался проронить ни слова, все будто оцепенели в двух шагах позади командующего. К вершине холма, на котором остановился штаб, во весь опор скакал какой-то офицер.

— Пластунский полк перешел к красным, ваше превосходительство! — задыхаясь, доложил офицер.

Генерал Чернов мрачно кивнул. Некоторое время он ни на кого не смотрел, потом подозвал к себе начальника штаба и приказал ему начинать наступление снова. Выслушав командующего, начальник штаба молча повернул коня и только было поднял плетку, как генерал окликнул его. Начальник штаба, сдерживая коня, опять подъехал вплотную к Чернову. Некоторое время оба молчали, потом генерал буркнул:

— О том, что полк изменил правому делу... Словом, чем меньше будут знать об этом, тем лучше.

Начальник штаба хмуро кивнул и в сопровождении двух офицеров поскакал к дивизиям.

«Нет, это я, один я виноват!» — сокрушенно думал генерал Чернов. Ведь он знал о неблагонадежности Пластунского полка. Когда накануне наступления он в числе других объезжал и этот полк, его поразили хмурый вид солдат. На приветствие они ответили вяло, вразнобой. Медленно проезжая вдоль фронта, он пытливо всматривался в лица. Солдаты старательно отводили взгляды. От этих холодных, откровенно враждебных лиц ему стало не по себе. «Стоит ли посылать их на прорыв?» — мрачно думал он, уже отъезжая и почти не слушая сбивчивый рапорт командира полка. И вот все-таки послал...

В последнее время он все явственнее ощущал свою старость. Раньше он хорошо знал своих солдат и чувствовал малейшую перемену в их настроении. Раньше он почти не совершал ошибок, потому что был решителен и тверд. И вот с некоторых пор он стал ошибаться на каждом шагу. И чем больше ошибался, тем становился неувереннее. Одним из серьезнейших его промахов, едва не стоивших Южной армии всей летней кампании,

был весенний приказ за № 249. Во время весенних полевых работ он отпустил по домам всех казаков старше сорока лет. После этого приказа и вспыхнула вражда между пехотой и казачьими кавалерийскими частями. «Да, да... Стар становлюсь!» — грустно подумал Чернов, опять поднимая к глазам бинокль.

Между тем два новых полка уже спускались с перевала, затопляя равнину перед окопами красных. Они еще далеко не дошли до окопов, когда красные батареи открыли огонь.

Бледный Танирберген напряженно оглядывался вокруг. От взрывов снарядов то спереди, то сзади поднимались клубы черного дыма, перемешанные с землей, и Танирберген с испугом решил, что сегодня они все подвергаются гораздо большему риску, чем вчера. Конь под Танирбергеном принимался плясать после каждого взрыва. Мурза чувствовал, как страх обдаёт его будто ледяной водой, и ему становилось не по себе. Единственно, на что он употреблял сейчас все свои силы, это чтобы хоть внешне казаться спокойным. Чтобы хоть немного побороть свой страх!

Сдерживая коня, вглядываясь в ту сторону, куда в бинокль смотрел генерал Чернов, он видел то же, что видели все офицеры на холме, но ничего не понимал. Глядя на крошечные издали фигурки солдат, бежавших в пыли в сторону красных окопов, он вспомнил, как проспавший зарю ленивый пастух торопливо гнал, бывало, на выпас покорно потрюхивавших овец.

Дым и пыль от взрывов то накрывали серые фигурки солдат, и тогда Танирбергену казалось, что они все легли, как ложится камыш под острым серпом, то поле боя вдруг открывалось. И хоть каждый раз все больше неподвижных тел темнело на равнине, оставшиеся в живых бежали вперед.

Мурза со страхом посматривал на генерала, не отрывавшегося от бинокля. Бледное, усталое от бессонницы лицо Чернова было тем не менее спокойно, и Танирберген тоже на время успокаивался.

Наступающие достигли наконец окопов красных, и началась рукопашная схватка. До холма донеслось отдаленное нестройное «ура». Артиллерия прекратила обстрел, пыль и дым немного развеялись, и стало видно, как навстречу солдатам бросаются из окопов красные

бойцы. Поблескивали на солнце штыки, видно было, как бойцы и солдаты замахиваются друг на друга, бьют, колют, падают, и хоть до холма, где стоял штаб, не доносилось ни звука, всем казалось, что им слышатся надсадное дыхание, хруст пропарываемых тел и предсмертные стоны.

Танирберген понял вдруг, что в сегодняшнем бою решается не только судьба белой армии, но и его судьба, судьба всей его будущей жизни. «Победят или отступят? Победят или отступят?» — лихорадочно думал он, и ему хотелось слезть с коня и стать на колени. «О аллах! О аллах,— говорил он про себя, но не шли на ум никакие молитвы.— Ай, отвернулась от нас удача! Не победим гяуров, не победим!» — горько решил вдруг Танирберген и с тоской оглянулся на офицеров. Все они были бледны, а всегда спокойный генерал Чернов хмурился и кусал губы.

— Прорвались! — радостно крикнул вдруг кто-то из офицеров.

Чернов моргнул и потер лоб, потом сильно прижал к глазам бинокль. Странное что-то творилось с ним сегодня! Он видел, конечно, что его полки добежали и начали с боем занимать окопы, но картина боя ничего не говорила ему и он не знал, не мог уловить, как раньше, по многочисленным незаметным деталям боя, на чью сторону клонится победа. Поэтому радостный возглас «Прорвались!» так взволновал и обрадовал его, что глаза его налились слезой и линзы бинокля запотели. «Да что это со мной сегодня, бог ты мой!» — смущенно думал он, незаметно вытирая платком глаза. Опять припав через минуту к биноклю, он увидел, что бой идет по-прежнему в окопах и красные не отступают. Тогда он распорядился послать из резерва свежие силы Каппелевского корпуса. Каппелевцы бегом начали спускаться с перевала.

Но и красные ввели в бой рабочие отряды из Казалинска, Жусалы и Ак-Мечети. Аральские железнодорожники, не успев снять своих замасленных курток, едва добежав до окопов, тут же бросились на офицеров Каппеля. Наступил момент, когда решался исход боя. Это хорошо понимали и белые, и красные.

Генерал Чернов повернулся к атаману Дутову.

— Не пора ли пустить ваши части, Александр Ильич?

После приезда английского генерала атаман Дутов был постоянно мрачен. Независимо от исхода сражения он решил увести свои части из армии Чернова. Он намеревался уйти сначала в Семиреченские края, а оттуда, снабдившись продовольствием, податься в Урумчи. Отступление вместе с армией Чернова в сторону Каспийского моря его не устраивало. Он знал, что, как только русские войска соединятся с частями английского экспедиционного корпуса, вольница его кончится и он потеряет все свое значение. А решив уйти, он уже потерял всякий интерес к исходу кампании, стал замкнут и высокомерен. Но то, что даже в такую критическую минуту генерал Чернов был по своему обыкновению вежлив и предупредителен и вместо того, чтобы приказать, как бы советовался с ним, польстило самолюбию атамана.

Повернув властное свое лицо к адъютанту, Дутов сказал только:

— Передай, чтоб начинали.

Адъютант поскакал. Не прошло и пяти минут, как из-за ближайшего холма с гиком вылетел казачий полк. Казаки атамана Дутова были сильны своей неожиданностью и стремительностью. Не было у них ни артиллерии, ни громоздкого обоза. Все это считалось лишней обузой. Они вступали в бой только тогда, когда исход был уже предрешен. Заходя с тыла, налетая, подобно смерчу, они рубили и топтали все живое на своем пути.

Поднимая за собой длинный хвост пыли, они и теперь помчались не прямо на окопы, а наискосок по равнине, цорювя обойти дерущихся и ударить сзади. И генерал Чернов, и атаман Дутов знали, что теперь с минуты на минуту должен произойти окончательный перелом, и ждали его с нетерпением.

Неожиданно наперерез казакам запылила конница красных. Генерал Чернов встревоженно взглянул на Дутова.

— Это еще что такое?

— А это, ваше превосходительство, я бы хотел у ваших разведчиков узнать. Черт его знает, что это еще на нашу голову! Дикари какие-то...

— Может быть, монголы?

— У монголов лошадки маленькие, чуть побольше осла...

— А что у них на головах?

— А черт их знает, прости господи.

Пораженные, оба стали напряженно следить за странными всадниками в полосатых чапанах и высоких бараньих шапках. Генерал с атаманом были кадровыми военными, с боями прошли многие сотни верст, но такую конницу видели впервые. Аргамаки с шеями тонкими и длинными, как у гусей, рвались вперед, просили повода, но их придерживали, и они не распластывались в намете, а шли каким-то неуклюжим волчьим скоком...

Зато Танирберген сразу узнал в них лихих туркмен. Он запомнил их еще с тех пор, когда басмачи хана Жонеута совершили набег на прибрежные казахские аулы. В седлах туркмены сидели, казалось, неловко, неуверенно, и кони их будто не слушались, заносили то влево, то вправо, но Танирберген знал, что эта кажущаяся неуверенность обернется потом атакой, неукротимой в своей дикой ярости. «О аллах!» — испуганно подумал он и опять решил, что все пропало.

Сблизившись с казаками на расстояние выстрела, только что неловко сидевшие в седлах поджарые смуглые джигиты мигом преобразились и припали к гривам коней. Кони их, будто чувствуя состояние всадников, плотно прижали уши, вытянули длинные шеи, будто гуси в полете, и раздули тонкие ноздри.

Таких отчаянных всадников генерал Чернов никогда не видел и то и дело встревоженно поглядывал на Дутова. Тень тревоги легла на самоуверенное лицо атамана. Казаки и туркмены стремительно приближались друг к другу. Сердце атамана дрогнуло. Он уже не обращал внимания на рукопашную в окопах, привстав на стременах, он видел теперь только своих казаков.

Казачьи пики, тонкие издали, как иглы, выставлены были теперь меж конских ушей, и сначала все произошло именно так, как и предполагал атаман Дутов. Длинные пики сразу же вышибли из седел первые ряды туркмен. Атаман ждал, что туркмены повернут вспять и рассыплются по степи, преследуемые казаками. Но случилось неожиданное — злобно скалившиеся загорелые джигиты вновь и вновь кидались на казаков. Отбивая казачьи пики, ловко увертываясь, они размахивали кривыми саблями, отчаянно визжали и наконец вклинились в плотные ряды казаков, навязав им ближний бой.

Остального уже толком не видел никто. Все перемешалось, завертелось, началась повальная рубка, и только кони, потерявшие ездовых, одичало выскакивали иногда из этой дьявольской круговерти.

Всего десять минут назад генерал Чернов уже не сомневался, что победа им обеспечена. Как только его солдаты ворвались в окопы красных, он решил, что оборона противника сломлена и что теперь нужно, как бывало, бросить в бой еще одну часть, еще две части, и силы врага растают, как тает льдина в половодье.

Но того, что происходило на его глазах, генерал Чернов не понимал. Что случилось? Как объяснить, что, хотя наступление и развивается как должно, враг не бежит? Разве его солдаты и на этот раз не старались из последних сил, чтобы выбить противника с занимаемых позиций? Разве они не так же яростны, не так же настойчивы, как и прежде? Разве они жалеют себя?

Или это роковое невезение? Чем же тогда объяснить все происходящее? Когда от тебя отворачивается судьба, что бы ты ни делал, все получается не так. Если бы не это необъяснимое, фатальное невезение, они должны были бы давно разбить красных. А получается все наоборот: к красным приходят все новые и новые отряды и отрядики из тыла и бросаются отбивать окопы. И знаменитые казаки атамана Дутова уже не могут сладить с какими-то степными дикарями...

— Что же делать, ваше превосходительство? — негромко спросил у него начальник штаба.

Генерал Чернов не ответил. Как и все его офицеры, молча толпившиеся на холме, он не знал, что делать.

Решив во что бы то ни стало захватить Аральск, генерал Чернов бросил в бой все имевшиеся под его рукой силы. Раньше он всегда был осторожен и любил обходиться малыми силами — пополнения ждать было неоткуда. Но теперь он был раздражен. Им овладел безрассудный азарт неудачливого игрока, ему не терпелось решить наконец исход сражения — выиграть или проиграть. Третий день его войска атаковали позиции противника, и, кроме потерь, эти атаки ничего ему не принесли. Обычное хладнокровие покинуло его, охватила ярость, и он в отчаянии бросал в бой часть за частью.

Красные стояли насмерть, и генерал Чернов все больше мрачнел. Он уже не думал о том, что еще можно сделать, потому что все возможное было сделано. Не только ему, но и остальным офицерам было ясно, что сражение проиграно и никакие меры уже не спасут.

Прожив столько лет на свете, думал ли он, что на закате жизни, несмотря на весь свой военный опыт, на надежды, взлелеянные в душе, несмотря, наконец, на кадровую, обученную армию, он так бесславно проиграет свое, может быть, последнее сражение? И, главное, кому? Каким-то рабочим отрядам, каким-то дикарям!

Один и тот же вопрос точил ему душу: что стало с отечеством, что стало с его сыновьями? Еще вчера Россия была могучей державой. Каким же образом выпустили из виду всех этих темных людей, эту ленивую скотину, не желающую работать, а желающую все разрушать? Теперь эта темная сила, как джинн, выпущенный из бутылки, все погубила — нет страны, нет государства, а есть сброд, сволочь. И завтра эта бесчисленная голь возьмет власть в свои руки, начнет править Россией! До чего же они доведут страну? Несчастливая Россия, какое будущее ждет тебя, что станет с тобой через двадцать-тридцать лет? Не один, так другой из этих негодяев, дорвавшись до власти, не успокоится до тех пор, пока не растреплет и не погубит тебя, как злой ребенок, отрывающий кукле руки и ноги и выкалывающий ей глаза.

Кому дано заглянуть в будущее? Но и сейчас ясно: от нашего уклада жизни камня на камне не останется. Не затем они затеяли свою революцию, чтобы беречь то, что им досталось от прошлого.

— Ваше превосходительство!

Чернов вздрогнул. Рядом с ним успокаивал взмокшую лошадь какой-то офицер. Генерал, ничего не видя, продолжал смотреть на развороченное поле боя.

— ...подбили два наших броневика.

«Да, да, все гибнет!— продолжал думать Чернов.— Но почему же этот мир, такой естественный, такой привычный, вдруг начал разваливаться на глазах? Или мы недостаточно любили свою страну? Ничего подобного!»

Чернов вспомнил, как он обрадовался, получив приглашение Колчака. За один день собрался домой! А в поезде он до самой границы не смыкал глаз, и серд-



це его радостно билось под перестук колес, отсчитывающих версты. А как он в первые дни по приезде в Омск упивался звуками дивной русской речи. Вся его усталая душа млела от счастья, будто слышал он самую любимую песню, так он измучился, изболелся сердцем за два года, проведенные вдали от отечества.

В любые времена ради процветания отчизны никто не щадил ни таланта, ни усердия, ни самой жизни. Сколько за всю русскую историю случилось лихих годин! Разве не такие же солдаты кровью своей добывали победу? Где же теперь храбрецы, что с ними стало?

— Ваше превосходительство... наши войска отступают...

Генерал Чернов равнодушно взглянул на бледного адъютанта, что-то еще говорившего ему. Он уже час назад понял, что его последнее сражение проиграно. Не говоря ни слова притихшей свите, генерал повернул своего аргамака и тем же следом, по которому поднялся на холм на рассвете, поехал назад.

— Смотри, бегут!

— Отступают! Ура-а!..

Радостный гомон поднялся над окопами. Измученные трехдневными боями бойцы обнимались, кидали вверх шапки, стреляли, не целясь, вдогонку отходившим солдатам.

В окопы пришел откуда-то Дьяков. Долго следил он в бинокль за отступающими к 68-му разъезду частями белых. Озабоченно почесывая небритый подбородок, он соображал: предпримут ли белые еще атаку, а если станут уходить из-под Аральска, то в каком направлении?

Позвав с собой Еламана, Дьяков поспешил в штаб, и после короткого секретного совещания Еламан получил новое задание. Прямо из штаба, не заходя в свой отряд и не говоря никому ни слова, Еламан пошел домой. Разбудив жену и детей, поторапливая их, он наспех собрался, сложил постели и одежду. Он и Кенжекей не сказал, куда собирается. Таща узлы с постелями и одеждой, ведя за собой детей, Еламан и Кенжекей по темным улицам добрались до пристани, где их уже ждал пароход. Еще до рассвета, когда все побережье было объято сном, они вошли в большой залив недалеко от

Уш-Шоки. Соблюдая все меры предосторожности, Еламан и Кенжекей высадили на берег. Пока матросы помогали Еламану устанавливать трехстворчатую юртчонку, на берег вывели также верблюдицу и коня.

## IX

В этих краях белых еще не видали. Казалось, никто даже не допускал мысли, что они могут вообще сюда прийти. В аулах было мирно. Никто и не думал прятать куда-нибудь скотину и домашний скарб. Сколько ни было аулов в этом краю, все равно, богатых или бедных, все они по традиционной беспечности казахов-скотоводов оставались на месте, не зная ни тревог, ни забот...

Не нарушил их безмятежного житья и приезд Еламана. Любопытным Еламан отвечал, что они из рода Жакаим и приехали сюда с побережья Сырдарьи, что его деды и прадеды обитали когда-то на западном побережье Аральского моря и вот теперь в поисках родичей в стороне Кок-Арала он с семьей потихоньку-полегоньку пробирается туда с верблюдицей и лошадью. Все бы хорошо, да попутал его нечистый кочевать с детьми в эдакую жару... Да и на одной верблюдице везти жену с детьми и всю поклажу тяжело, вот и приходится делать частые остановки. А верблюдица еще и брюхата, ее беречь надо, разве далеко уедешь? Поэтому, говорил Еламан, он и решил здесь передохнуть дней пять...

На другой день на море показался небольшой пароход с баржой на буксире. Кенжекей готовила в это время возле юрты чай. Увидев пароход, направлявшийся прямо к ним, она позвала:

— Эй, отец Ашимжана, выйди-ка погляди!..

Однако Еламан не вышел, только осторожно выглянул из-под полога. С парохода сошел Дьяков в сопровождении бойцов. Выйдя на берег, они долго осматривали степь. Убедившись, что степь пустынна и опасности нет, Дьяков с бойцами подошел к юрте Еламана.

— Ну, как устроился?— спросил комиссар у вышедшего ему навстречу Еламана.

Еламан принял сокрушенный вид.

— Ой, тамыр, не спрашивай! Совсем замучился. А и зачем это я кочую в такую жару?

— Что? Что ты говоришь?

— Ничего не говорю. Я бедный человек из рода Жакаим с побережья Сырдарьи. Вот к родичам в Кок-Арал добираюсь...

— А не врешь?

— Как можно, таксыр? Истинная правда! Аллахом клянусь!

— Ну-ну... А скажи-ка, любезный, ты красных видел?

— Красных?

— Вот именно. Красных. А?

— А-а, этих безбожников? Не приведи аллах видеть этих гяуров!

— А чего плохого они тебе сделали?

— А вот чего... Был у меня конь-скакун. Так они его у меня отняли, а взамен оставили вот эту толстобрюхую клячу.

— Клячу оставили? А что бы ты делал, если бы тебе ничего не оставили?

— Ай, не так сказал, тамыр, и за клячу спасибо! Да жалко только, уж больно хорош был у меня скакун...

Дьяков, посмеиваясь, любовался Еламаном. Какой у него был добродушный, невинный вид! Как ловко прикидывался он простаком, шаруа. На голове помятая войлочная шляпа, чапан подвязан ременными путами вислобрюхого коня, который пасся тут же, недалеко от юрты. Детишки его, мал мала меньше, поблескивая глазенками, со страхом и любопытством глядели сквозь прорехи юрты на незнакомых людей. Дьяков хотел раньше забрать детей в город, чтобы не подвергать их риску. Но теперь, разглядев их, отказался от этой мысли — благодаря этим малышам Еламан был вне всяких подозрений.

— О белых ничего не слышно?

— Нет, здесь пока никого не было.

— Ну что ж, тогда поедem посмотрим немного окрестности. И ты поезжай с нами.

С баржи быстро свели на берег коней, и вся группа поехала степью в сторону богатого аула. Еламану сегодня весь день нездоровилось — перегрелся на солнце, — и едва он отъехал от побережья и оказался в жаркой безветренной степи, как из носа у него пошла кровь. Запрокинув голову, прижимая к носу ладонь, Еламан остановил коня. Дьяков некоторое время сочувственно

глядел на Еламана, потом вдруг оживился и пробормотал:

— А что? А ведь хорошо будет...

И тут же велел:

— Размажь! Размажь хорошенько!

— Что?— не понял Еламан.

— Кровь, я говорю, размажь по лицу. Так... Теперь рубаху испачкай, утрись рубахой. Так... Ну вот, теперь совсем хорошо.

И засмеялся, очень уж Еламан стал похож на избитого до крови.

— Что, голубчик, получил по заслугам?— спрашивал весело он.— Будешь теперь Советскую власть хаять?

Вот так они и приехали в богатый степной аул. Дьяков с бойцами пошел в какую-то бедную юрту, стоявшую на краю аула. Окровавленный Еламан остался возле лошадей. Местные казахи, успевшие познакомиться с Еламаном, собрались возле него, жалели, вздыхали, советовали:

— Ты не перечь им. На кой они тебе черт сдались. А то еще пристрелят!

Кто-то из парней побежал, принес чайник воды. Кто-то вынес кумысу.

— А говорили, красные никого не обижают.

— А ты и поверил? Красные, белые, один черт, все чужаки, нечего им верить.

— Н-да, теперь только держись. Гляди, вон уже идут, дьяволы. Ну, родной, не перечь им, молчи и терпи. Что велят, то и делай. Храни тебя аллах!

Еламан поблагодарил их, сел на своего вороного и поехал вместе с отрядом. Они отъехали уже порядочно, когда на горизонте за клубилась пыль.

— Ого!— сказал Дьяков и, придерживав коня, взялся за бинокль. Посмотрев минут пять, он позвал:— Еламан!

— Да?

— К аулу идет какая-то большая часть. Плохо видно, но, кажется, есть и артиллерия. Поезжай назад в аул, торопись, чтобы успеть раньше белых. Постарайся узнать, что за часть и куда направляется. Понял?

— Понял.

— Может, это какая-то отдельная часть, а может, передовой отряд всей армии. Понял?

— Понял.

— Только, смотри, будь осторожней. Ругай нас в хвост и в гриву!

— Ладно.

— В час ночи я буду в твоей юрте. Постарайся к этому времени все узнать. Запомни, в час ночи. Ну, желаю удачи.

Еламан повернул вороного назад. Он рассчитал, что вернется в аул раньше, чем придут туда белые, и не спешил. Рысью въезжая в аул, он заметил, как во всех юртах начался переполох. Напуганные появлением в степи большого отряда, люди бестолково бежали от юрты к юрте. Джигиты, наспех отвязав стоявших у коновязи коней, опрометью ударились в степь. Девушки и молодые побежали вдоль оврага к прибрежным камышам.

Мрачный Еламан привязал коня у крайней юрты. Хозяин сидел среди перепуганных детей и жен и дрожал. Он только взглянул на вошедшего Еламана, но не сказал ни слова.

Не успели они опомниться, как передовой отряд белых уже въезжал в аул. Не сбавляя хода, конники поскакали дальше, чтобы окружить перепуганный аул.

Еламан с хозяином юрты выглядывали из-под порога. Пропыленные солдаты, едва войдя в аул, тут же начали расходиться по юртам.

К вечеру вернулась с выпаса скотина. Солдаты со смехом кинулись к овцам, согнали их в кучу и начали ловить самых молодых. Их тут же резали, обдирали и валили в котлы. Какой-то офицер, собрав не успевших спрятаться баб, заставил их доить коз. К этому времени прибыл еще один отряд белых.

Помогая солдатам резать овец, Еламан слишком поздно заметил проехавшего мимо него статного черноусого мурзу. Он замер, увидев Танирбергена, и холод колюче растекся у него по телу. Два офицера — справа и слева — ехали с мурзой. Танирберген был наряден, как всегда. Серый, из верблюжьей шерсти чапан был небрежно накинут на плечи поверх черного заморского бешмета. На голове щегольская плюшевая шляпа с пером. Шагом проехал он на прекрасном сивом коне, как будто и не заметил Еламана, который поспешно отвернулся от него. Побледнев, Еламан долго смотрел ему вслед, напряженно размышляя: заметил или нет? Узнал или нет?

Танирберген подъехал к самой лучшей в ауле белой юрте, слез с коня, кинул повод подбежавшему услужливому джигиту и вместе с офицерами вошел в юрту. Заметил или нет? Узнал или нет?.. Если при входе, думал Еламан, он обернется, хотя бы мельком посмотрит в его сторону, значит, узнал. Танирберген, высоко и прямо держа свою красивую породистую голову, не оглянулся. Но нехорошее предчувствие уже поселилось в сердце Еламана. Незаметно выбравшись из толпившихся возле казанов людей, он пошел к овцам, согнанным в кучу на краю аула. Там он подсел к пожилой бабе, доившей овцу.

— Женеше, помочь вам?— спросил Еламан.

— Да зачем это тебе, деверек?— неохотно ответила баба.

— Трудно, наверно, столько овец подоить, помогу немножко...

— Какой там трудно! Ничуть не трудно. А только пусть лучше ягнята пососут, чем этим сандатам<sup>1</sup> молоко давать. Это я просто так, для отвода глаз сижу и овцам сосцы мну.

Но Еламан не уходит от котана<sup>2</sup>. Хоть он навязался помочь подводить ягнят-сосунков к маткам, но каких именно ягнят нужно было отпускать с привязи, он не знал. И Еламан начал отпускать тех, которые изо всех сил рвались к маткам и блеяли. Руки его были заняты ягнятами, но мысли были прикованы к двери большой белой юрты, куда вошел Танирберген. Он все ждал, что сейчас выйдет кто-нибудь из юрты, оглядевшись, заметит его и поманит пальцем... Если мурза не видел или не узнал его, думал Еламан, ни в коем случае нельзя больше попадаться ему на глаза. Обязательно выдаст!

К бабам, доившим овец, подошел офицер. Молока показалось ему подозрительно мало, и он нахмурился. Выматерив баб, он взглянул на Еламана и подмигнул ему. Видно было, что этот простоватый казах, который так усердно помогал бабам и возился с ягнятами, пришелся офицеру по душе. Еламан искательно улыбнулся ему в ответ. Кто знает, может быть, этот офицер еще пригодится, заступится когда-нибудь или еще какая в нем окажется нужда?

<sup>1</sup> Искаженное «солдатам».

<sup>2</sup> Загон для овец.

К юрте, где остановился Танирберген, Еламан осторожно подошел, когда уже начинало смеркаться. Возле двери толпился народ. Через головы впереди стоявших людей Еламан заглянул в юрту, полог которой был приподнят. И сразу же узнал подполковника, сидевшего рядом с Танирбергеном на почетном месте. Вылитый был отец, Тентек-Шодыр! И длинный, с горбинкой нос, и маленькие пронзительные серые глаза — все было точь-в-точь, как у его отца. И усы он брил, как отец, только рыжую густую бороду отпустил по грудь.

Подполковник Федоров был оживлен и разговаривал с сидевшим чуть пониже толмачом.

— Спроси-ка у него, — сказал он, кивая на хозяина юрты, мешавшего в большой раскрашенной чаше кумыс. — Спроси-ка, подходят ли сюда пароходы красных?

Толмач, подобострастно выслушав подполковника, тотчас заговорил с хозяином юрты. О чем говорили толмач с хозяином, Еламан не слышал, он только видел, как хозяин часто закивал тюбетейкой.

Толмач снова повернулся к Федорову.

— Он говорит, красный пароход последние дни несколько раз заходил сюда.

— Спроси, есть ли на нем орудия.

— Он говорит, не обращал внимания, но, по слухам, есть.

— Так... Подходит ли он к самому берегу?

— Господин подполковник спрашивает, подходит ли пароход красных к берегу?

— Подходит, таксыр, подходит.

— В каком именно месте?

— В Уш-Шоки. А потом и к нашему берегу подходит. Там, где поставили недавно одинокую юрту.

— Юрта? Мне говорили, никакой тут юрты нет.

— Да, да, таксыр, юрта. Юрtesка небольшая. Вы разве не видели, когда ехали к нам? На самом берегу моря стоит, одна-одинешенька.

— А что это за прокаженный, который один на отшибе живет? — спросил Танирберген.

Еламан похолодел. Руки его, которые лежали на плечах стоявших впереди, задрожали, и он поспешно сунул их в карманы. На смуглом холеном лице мурзы бродила странная усмешка. «Ай, ойбай-ау, все-таки заметил он меня, — с тоской подумал Еламан. — Но тогда почему

он молчит? Почему не говорит белым, чтобы те меня схватили?»

— А с какого места удобнее обстреливать красный пароход? — переводил между тем толмач очередной вопрос Федорова.

— Э, любезный, откуда нам это знать? Мы ведь не военные. Если бы таксыр спрашивал о скотине, о пастбищах, тогда другое дело, а пушки...

— И-и, алла! Разве от этих бестолковых казахов чего-нибудь добьешься? — разводя руками, сказал толмач Федорову.

Танирберген нахмурился. Слова толмача задели его за живое.

— А чего тебе еще нужно? — сердито по-казахски сказал он. — Куда подходит пароход, сказали. Значит, самое удобное место для пушек — Уш-Шоки. Лучше всего стрелять от Уш-Шоки, — уже по-русски повторил он Федорову.

— А сколько до этого Уш-Шоки верст?

— Да верст семнадцать будет, пожалуй. Я не ошибаюсь, джигиты? — обратился Танирберген к толпившимся у двери аульчанам.

Те утвердительно загудели.

— Так. Значит, в Уш-Шоки и поставим шестидюймовки, — решил Федоров.

В юрту вошел молодой офицер и доложил, что проводника-киргиза требует к себе командующий. Еламану даже понравилось, что мурза не вскочил, не засуетился, а, словно желая показать людям этого аула, что он не какой-нибудь низкородный казах, с достоинством поднялся, не торопясь, надел шляпу, накинул на плечи серый чапан и, ни на кого не взглянув, спокойно пошел из юрты. Следом за ним поднялся и пошел Федоров.

Еламан отступил в темноту. Танирберген и Федоров прошли совсем близко от него, и Еламан решил, что задерживаться ему здесь нельзя ни минуты. Оказывается, и генерал Чернов здесь, а значит, и его свита, в которой чуть не все его знают, и созвездие Плеяды уже вошло, и, должно быть, близок уже условленный час, когда должен подойти к его юрте пароход. Слава аллаху, что он побывал здесь! Нужно прежде всего предупредить Дьякова, чтобы пароходы даже близко не подходили к Уш-Шоки.



Теперь ему предстояло самое главное — благополучно выбраться из этого аула. С наступлением темноты вокруг аула выставили ночные дозоры, и теперь никому нельзя было выходить в степь. Едва только Танирберген с Федоровым ушли, Еламан пробрался в юрту. Подойдя к офицеру, который приходил давеча к бабам смотреть, сколько надоили молока, Еламан прижал обе руки к груди и попросил разрешить ему вернуться домой.

— А где твой дом?

— Недалеко отсюда, совсем рядом. Баба моя, марджа<sup>1</sup>, болеет. А я вот помогал доить овец и задержался.

— А почему ты живешь один?

— Да вот кочую с побережья Сырдарьи...

Офицер некоторое время разглядывал стоявшего перед ним с покорным видом рослого казаха. Еламан опять начал твердить, что жена больна и детишки-несмышленыши, мал мала меньше, без присмотра остались. Тут поддержал его и хозяин юрты:

— Таксыр, он истинную правду говорит.

Соседи, до сих пор толпившиеся у двери, заговорили все разом:

— Его, несчастного, перед вашим приходом красные чуть не до смерти избили.

— Весь в крови был, бедняга...

— Отпустите его, таксыр... Он правду говорит.

Все так же пристально разглядывая Еламана, рыжий офицер стал у него спрашивать о том, что уже знал со слов хозяина юрты: были ли в этих местах красные, подходят ли их пароходы к берегу? Чтобы не вызвать подозрений, Еламан повторил слово в слово то, что говорил хозяин: да, красные уже наведывались сюда, а пароходы их заходят к Уш-Шоки. Удовлетворенный офицер вызвал солдата и приказал выпустить казаха из аула.

Еламан, приложив руку к груди, поблагодарил офицера и только повернулся было, чтобы уйти, как тот вновь окликнул его:

— Эй! Что у тебя за шрам на лице?

Еламан, стараясь унять дрожь, погладил ладонью шрам, помедлив, сказал:

---

<sup>1</sup> Женщина. Искаженное «Мария».

— Этот, что ли? Это лошадка лягнула.

Люди будто только теперь заметили на его лице шрам. Боясь при офицере говорить громко, удивленно зашептались.

— Апыр-ай, крепко копытцем задела!

— Еще повезло. Бог спас.

— Видно, молодая лошадка. Стригунок, может. А то бы тут же мозги вылетели.

Рыжий офицер немигающими глазами недоверчиво смотрел на Еламана. Еламану стало не по себе. Вдруг этот рыжий начнет проверять его и отведет к Федорову? Он стоял в тяжелом раздумье, смутно соображая, как же ему быть.

И тут совершенно неожиданно рыжий офицер безглаголиво махнул рукой, буркнул:

— Убирайся!

Из юрты Еламан вышел заметно повеселевшим. Идя по темной степи, он ног под собой не чувствовал от радости, что не попался на глаза ни Танирбергену, ни офицерам из свиты Чернова. Юрту свою он еле нашел в безлунную ночь. Онемевшая от страха Кенжекей сидела, обхватив колени, у ног мирно спящих детей. Она вскочила, едва заслышав шаги Еламана, и не успел он войти в юрту, как она бросилась ему на шею, спрятала лицо у него на груди и заплакала, вздрагивая плечами, задыхаясь от слез.

— Давай уедем... Уедем отсюда...— выговаривала она. Голос ее прерывался.

— Ну, ну... Кенжеш! Успокойся... Ты же у меня молодец!

— Не могу я... Не могу больше!

— Да что с тобой такое?

— Боюсь.

— Чего еще выдумала!

— Нет, боюсь, боюсь.

— Тише, детей разбудишь. Давай-ка лучше сядем...

Кенжекей покорно села, но как только рядом присел Еламан, она опять уткнулась ему в плечо. Крепко обняв располневшее, тугое тело Кенжекей, Еламан стал молча гладить ее по голове.

За тонким войлоком юрты сонно ворчало море, мелкие волны с шипением взбегали на песчаный берег. Звенели стенные сверчки. Вернувшись из аула, Еламан снял

с коня седло, стреножил его посвободнее и отпустил на выпас. Но трава возле юрты не понравилась вороному и он сразу направился туда, где пасся днем. Было слышно, как он прыгал, удаляясь. Вслушиваясь в ночные звуки, Еламан с нежностью и участием думал о жене. Он думал, как она измучилась, наверное, как надоела ей его беспокойная солдатская жизнь, как она тревожится за его судьбу?.. Чтобы хоть немного развеселить и успокоить ее, он сказал посмеиваясь:

— Ну чего же ты боишься, глупая? Помнишь, бабушки наши нам рассказывали о железных батырах, которые в огне не горят и в воде не тонут? Вот и я такой же.

— Ах, оставь, мне не до шуток.

Возле юрты послышался шорох, и Кенжекей испуганно вскрикнула — кто-то большой неуклюже протискивался в маленькую юрту. При свете подслеповатой коптилки Едаман не сразу разглядел ночного гостя, а узнав, обрадовался и быстро поднялся.

— Кален-ага!

Кален сначала поздоровался с Кенжекей, смущенно строящей за спиной мужа, потом загадочно подмигнул Еламану и буркнул:

— А ну пойдем выйдем.

Еламан молча вышел с ним в степь. Недалеко от юрты сбилось вокруг несколько верховых. Еламан даже не удивился. Он уже привык к таинственным появлениям друга. В самую глухую ночь Кален безошибочно находил дорогу. И все-таки странно было, как Кален ночью нашел его затерянную в беспредельной степи одинокую юрту и как смог так бесшумно подъехать.

— Да будет вам во всем благополучие! — обратился Еламан к джигитам.

— Аминь! Пусть сбудутся твои слова.

— Что это вы ночью по гостям разъезжаете?

— Э, дорогой, — с удовольствием засмеялся Кален. — Когда это твой ага просто так по гостям разъезжал, а? У меня ведь всегда дело. Вот и сейчас по делу едем.

— Ну? Какое же дело?

— Вот у тебя приятель есть...

— Какой приятель?

— Ну, этот чахоточный комиссар твой.

— Дьяков, что ли?

— Он самый. Вчера вызывает меня и говорит: «Бери, тамыр,— говорит,— своих джигитов и отправляйся по берегу моря, по пути беляков. Понял?» — «Ладно,— говорю,— отправляюсь». — «Поезжай,— говорит,— впереди беляков и предупреждай все аулы, чтобы уходили, а колодцы по дороге закопайте. Понял?» — «Это что,— спрашиваю,— приказ такой?» А он, хитрый пес, улыбается. «Нет,— говорит,— не приказ, а просьба Советской власти, а?» — «Ну раз просьба,— говорю,— тогда выполняю, сделаю все, как ты говорил».

Еламан рассмеялся над простодушием своего друга. Кален засопел в темноте.

— Чего смеешься?— обидчиво спросил он.— Еще этот твой приятель сказал: «Если все исполнишь, станешь таким батыром, который один стоит сотни врагов». А что, неправильно я сделал, что согласился?

— Очень даже правильно!

— У, мать твою!.. То-то!— по привычке добродушно выругался Кален.— Не зря, должно быть, в народе говорят, что ты душу продал красным. Небось не подумал, уцелеет ли твой Кален-ага, а подумал, выполнит ли он просьбу этого твоего дохляка. Что, не угадал я? Ну ладно, рад, что ты жив-здоров. Прощай!

— Удачного вам пути!

Кален вскочил на коня. Еламан пошел проводить его по степи. Он шел, держась за стремя, и рассказывал Калену о том, что передовой отряд белых уже прибыл сегодня в эти края и что он видел Танирбергена. Кален даже коня остановил.

— Ну?! А он-то чего с ними болтается?

— Он проводником у них. Поведет через богатые аулы, по тем местам, где есть колодцы.

— Вон оно что.

— Да, вот так-то. Он ведь берега Арала не хуже тебя знает.

— Так, так...— грозно повторил Кален. Подоткнув под себя полы чапана, он ударил по сапогу доиром. Потом, будто давая обет, глухо проговорил:— Да сгинет мое имя Кален, если я им в этой степи оставлю хоть каплю воды!

И, яростно ударив каблуками грызущего удила коня, пропал в черной степи. За ним пустились и тут же исчезли и остальные всадники. Копыта их коней были креп-

ко обмотаны кошмой, и ночь поглотила их без единого звука.

Ускакали Кален и его джигиты. Ускакали добывать равенство и свободу. Не так давно, когда всколыхнулась казахская степь, не желая отдавать своих сынов на службу белому царю, и повстанцы повсюду оседлали коней, у всех на устах тоже было «равенство». Равенство... И предки, бывало, не слезали с коней, рыскали по степи, искали. Чего? Равенства? Редко когда приходилось им сидеть, сняв походные пояса, у очага с детьми и женами.

Батыра Тайкожу, знаменитого предка Еламана в седьмом поколении, говорят, в сражении с джунгарами ранило в ногу. Стрела пронзила бедро. Но чтобы не возликовал враг, торжествуя победу, он привязал раненую ногу к тороке и продолжал бой. И только потом, опасаясь заражения, приказал костоправу отнять ногу. С тех пор прозвали его в народе Хромым Волком. Ради чего сражался Хромой Волк, батыр Тайкожа? Какая мечта влекла и водила его бесстрашного предка в бой? Какая цель заставила его отказаться от всех земных радостей и рыскать, не слезая с коня, днем и ночью по степи? Может, бесшабашный батыр просто куражился над слабыми и совершал безумные набеги на соседей?

И последующие поколения предков, хотя и не отличались отменной храбростью, как батыр Тайкожа, однако тоже провели жизнь в бесконечных набегах и грабежах. Случалось ли, чтобы хоть один из них задумался когда-нибудь о делах своих сородичей, призвал к равенству? Правда, отцы и деды свято чтили память и незыблемые законы предков. Они строго следовали по их стопам. Джигиты, возмужав и оседлав коней, даже подумать не смели о том, чтобы искать неведомые пути, и покорно следовали за кочевьем, которое возглавляли старейшины, послушно потрухивали у них на поводу. Но что выгадал, чего добился народ, из поколения в поколение покорно почитавший путь предков? Какие мечты его осуществились?

Еламан остановился, уставясь в ночную мглу. Потом, осторожно ступая, медленно пошел дальше. В ночной тиши особенно слышно потрескивала сухая трава под его ногами. Да-а... Кто знает, чего мы добились, а чего лишились на своем веку... Если бы нынешнее поколение

тоже покорно пошло по проторенному пути предков, неизвестно, взялось ли бы оно за оружие и стало ли бы рука об руку с этим восставшим народом, чужим по языку и вере, добывать себе свободу и равенство. Да, неизвестно.

По чуткому редкому камышу Еламан возвращался к себе в юрту. По-прежнему было безветренно. Даже камыш не шевелился. Страх Кенжекей передался Еламану, и на душе у него было тревожно. Слава богу, повезло еще, что на глаза Танирбергону, кажется, не попался. Но рыжий офицер подозрительно на него посматривал. Глаза у дьявола, у-у-у, как у бешеной кошки, насквозь тебя пронизывают.

Пищали комары. Вокруг стояла душная ночь. Озорной ветерок побережья, как всегда к ночи, умирился, утих. Старый Арал вместе с рыбаками, измотанными за день волнами, тоже успокоился, на ночь забылся в коротком тяжелом сне. Но уж завтра спозаранок, дай только срок, проснется старик. И вновь схлестнется в яростной схватке с забиякой ветром. Трудно приходится рыбаку в ревущем море. Тут сетей не проверишь. Волны, как щепку, швыряют утлую лодчонку. И если она, не дай бог, вдруг потеряет равновесие, накренится набок, э-э, не одна, так другая одичалая белопенная волна набросится, тогда... помолись скорей в последний раз своему ангелу-хранителю.

А вообще-то человек со временем привыкает к норову моря так же, как и к собственной дойной скотине. Как же иначе, если с малых лет живешь с ним бок о бок, душа в душу и всю жизнь кормишься им. А теперь, что ни говори, оторвался от моря. В те годы, когда мотался по волнам, тянул сети, он, словно провидец-знахарь, по малейшим приметам наперед угадывал настроение моря.

Еламан чутко вглядывался в темень. Моря не было видно. Только по шипению наката можно было понять, что оно где-то рядом. Еламан прибавил шаг. Вдруг впереди в безмолвном черном мире раздался сильный всплеск, будто кто-то веслом шлепнул по воде. «Должно быть, рыба резвится», — подумал Еламан.

Неожиданно проснувшись в душной, безветренной ночи, зашевелились верхушки прибрежного молодого курака. С моря дохнуло свежестью, и Еламан с удоволь-

ствием повернулся лицом к влажному ветерку. «Теперь уже скоро и пароход причалит»,— решил он. Из аула, в котором расположились белые, доносились то блеяние овец, рев коров, то человеческие голоса. Вдруг пьяный солдат загорланил хриплым басом. Его нестройно поддерживали. Несколько голосов все же набрали на мелодию, и песня полилась тихо, спокойно, постепенно угасая, обрываясь, словно заглушаемая мраком душной южной ночи. Еламан не шелохнулся, прислушиваясь к долетавшей из степи песне. В летние месяцы, когда, бывало, обе стороны выдыхались и бои прекращались, все вокруг мгновенно погружалось в непривычную оглушительную тишину. Солдаты устало опускались на землю. Одни тут же засыпали, прислонившись к стенке окопа спиной, другие дремали в обнимку с винтовкой. И вдруг в этой тишине кто-то заводил тихим голосом песню. Иногда и с той, вражеской, стороны доносился грустный напев. Все слушали замирая. И хотя порой нельзя было различить слов, но печальная мелодия проникала в самое сердце, будоражила, томила душу. Оборвется вдруг песня, и бойцы грустно вздыхают. Иные нашаривают на дне карманов махорку, свертывают козьи ножки, с наслаждением, жадно затянутся едким дымком и, задохнувшись, глухо откашливаются. И опять наступит полная тишина. Но Еламан догадывался, что никто уже не спит. Как и ему, всем надоела, осточертела эта затянувшаяся война. Задень только случайно любого из бойцов за больное, и каждый начнет изливать свою душу, свою тоску, заговорит о сокровенном. При любой передышке, в перерывах между боями все думают о детях, женах, родном крае. Еламан не раз видел и слышал, как русские парни, его ратные товарищи, грустили в окопах в пору сева, сенокоса, уборки и вспоминали родной дом и семьи. И тогда к Еламану приходили странные мысли. Многое, что творилось в этом мире, было для него непонятно и непостижимо...

Пароход подошел в условленный час. Дьяков на шлюпке съехал на берег. Еламан рассказал обо всем, что видел и слышал. Потом Дьяков, попрощавшись, сел опять в шлюпку, а Еламан вернулся в юрту и лег рядом с женой и детьми. Он так сильно устал и переволновался

за день, что уснул, едва коснувшись головой подушки. За стеной юрты перхнула верблюдица, и Еламан проснулся. Сев на постели, он вдруг почувствовал такую сильную головную боль, что, сжав виски, долго раскачивался, потом снова прилег. Но сна не было. Уже прошла короткая летняя ночь, уже начинало светать, а он все еще ворочался, и сон не шел к нему.

Одна и та же мысль не давала ему покоя: узнал ли его Танирберген? Он с грустью думал, что в последнее время все чаще стала навещать его бессонница. Раньше он засыпал мгновенно и спал крепко. Или это уже сказывается возраст? Ах, как быстро все-таки пролетела жизнь! А в жизни этой не только не было покоя, но, казалось, он сам только и делал, что искал в ней и находил всяческие тревоги. Так, где бегом, где шагом идя сквозь огонь и воду, он и не заметил, как дожил до сорока лет. А за этой межой уж и до старости недалеко. Еще десять—двадцать лет, и старость станет твоим уделом, и как бы ты ни брыкался, а придется ей покориться.

На постели, прижимаясь тугим горячим телом к его боку, спала Кенжекей. Он прислушался к ее ровному тихому дыханию. «Да, тело старится, но старится ли душа?» — думал Еламан. Пожил, пожил, и годы уже немалые, а душа, если судить по себе, молода все-таки, как у мальчишки. Он чувствовал себя все еще таким, как в давние времена, когда он женился на Акбале. Сила его еще не убывала. Он мог по-прежнему подняться бегом вверх по склону холма и не задохнуться. Вот разве в одном только стала проявляться его слабость — он не мог думать без слез о своих родных и друзьях, которых больше никогда не увидит.

Ушли из жизни Итжемес, рыжий Андрей, Култума, Мунке, Ализа, Есбол-кария, Рай... Закрыв навеки глаза и, может быть, не похоронен даже неумный Судр Ахмет. А скольких еще других незабвенных людей уже нет в живых! Одних он любил, других недолюбливал, с одними жил, как с братьями, с другими враждовал... Почему, из-за чего? Или им земли под солнцем не хватало? Или в нашей проклятой черствой душе не хватает человеческого тепла? Господи боже мой, как в своей куцей жизни люди не ищут мира, покоя, как чернят, уни-



жают друг друга, ссорятся и враждуют! И вот почти никого из тех, с кем ты собачился за свою недолгую, если оглянуться, жизнь, нет на свете. Жестокая судьба торопится выкосить сначала тех, кого ты любил или ненавидел, а потом берется и за тебя. И главное, что все твои друзья и недруги не только сами уходили из жизни, а каждый раз забирали с собой некую драгоценную частицу и твоей души, невозвратимые мгновенья твоего детства, молодости и зрелых лет.

Еламан лежал неподвижно, даже дыхание его иногда замирало. Сквозь прорехи кошмы на него смотрели далекие мерцающие звезды. Сон окончательно прошел. Видно, так уж создан человек, что со смертью близких в его душу каждый раз вселяются тоска и печаль и все чаще посещают его грустные думы. И тогда даже дома, рядом с женой и детьми, все равно чувствуешь себя одиноким и сиротливым перед лицом неминуемой смерти. Наверное, все это оттого, что близится старость... Что там говорить, вон даже Кален, неутомимый, железный Кален, заговорил однажды об усталости. Как он тогда сказал? Ах да... Там, где в детстве ударили асыком или ущипнула девушка, все в старости отзовется, все будет болеть. Рано или поздно каждый это чувствует.

На широкой постели вольно разметались четверо малышей. Вот кто-то из них заворочался, захныкал спроне. Боясь, что проснется чуткая Кенжекей, Еламан осторожно потянулся через нее, ласково потрепал малыша по плечу, и тот сразу успокоился.

Конечно, нелегко приходится ей растить этих троих от разных матерей. Только доброта и душевная щедрость помогают Кенжекей без обид разделить поровну ничтожные крохи бедного дома. Хорошо, если эти пострелята потом, когда встанут на ноги, помянут ее добрым словом.

Еламан еще раз искоса взглянул на детей, лежавших за женой. «Интересно все же, какими они станут?— вдруг подумалось ему.— Будут на нас похожи или нет?» Кто знает, откуда Дьякову ведомо, но он утверждает, что в будущем все люди на земле будут другими, самое главное, равными. Что ж... можно, конечно, допустить, что все будут одинаково одеты, обуты, сыты. Никто не будет обделен. Но если всех бог создал разными? Ведь

даже между родными, что живут под одной крышей, греются у одного очага, и то не всегда бывает равенство. Ведь и там один верховодит, на резвом коне разъезжает. А другой с утра до вечера в жару и стужу за отарой плетется. Ну хорошо, разобьем врагов, будет все по-нашему, и жизнь изменится, и все люди будут равны, но сумеют ли они обуздать ненасытные свои желания, свою корысть? Возможно ли это? Не раз приходилось ему укрощать необузданных лошадей. Бывало, самая строптивая, норовистая, оказавшись под железными шенкелями наездника, становилась как шелковая уже через день-другой. Более того, она угадывала и исполняла малейшее желание всадника и послушно следовала капризу повода. А как же быть со строптивым, своеправным человеком? Неужели и его нужно, как лошадь, обуздывать? А? А? Нет, не понимаю. Все же, пока жива в человеке корысть, видно, и в будущем среди этих сорванцов кто-то будет в почете, кто-то у порога.

Жена и дети его спали, и им было хорошо, но невеселые думы будто собрались в юрту, и воздух в ней был напоен печалью. Еламану вспомнилась старая бабушка. Незадолго до кончины бедная совсем почти оглохла и, когда к ней обращались, каждый раз из-под кимешека высвобождала ухо. Болезни одолевали, а она продолжала отчаянно бороться со смертью. Нет, не о себе, не о своей жизни она тогда думала. Все думы ее были о внуках, Еламане и Рае: кто о них после нее позаботится, кто для них разведет огонь, сготовит пищу, когда они, усталые, замерзшие насквозь, придут домой с моря? О, бедная добрая бабушка, пусть тебе спокойно спится в этой земле! Господи, в кои веки вспомнил он вдруг ее! До чего же черств человек, до чего забывчив, до чего не думает о том, что и ему придется в свой час уйти в могилу. Едва умрет человек, как живые забывают его, будто ушедший и не жил никогда, как будто между живыми и мертвыми сразу же образуется и с каждым днем все больше расширяется тусклая пропасть. Едва навсегда исчезнут милые черты, как в душе твоей уже гаснет пламя любви, и даже самые близкие люди, отец или мать, забываются, забываются...

Еламана вдруг пронзила щемящая боль от мысли, что и он такой же, что и он ничем не лучше проклятых людишек, как вши, ползающих по этой земле и думаю-

щих только об одном — как бы наплатить ненасытное свое брюхо.

Вот и Рай... Апыр-ай, как скоро забыл он своего братишку! Старая бабушка, бывало, души в нем не чаяла. Он как бы задержался для нее в своем детстве. Он уж и вырос, и уходил вместе с рыбаками в море на промысел, а бабушка по-прежнему ласково называла его: «Мой ягненочек!» И Еламан внезапно так явственно представил себе дорогое, изрезанное сухими морщинами лицо бабушки, что даже дыхание затаил. Она так любила их, его и Рая, что, даже браня, не в силах была скрыть теплоту и нежность своего старого сердца.

Звезды давно скрылись, и небо поглубело и засияло, когда Еламан вскочил, уловив далекий топот копыт. Сердце его заколотилось.

— Кто это?— тихо спросила проснувшаяся Кенжекей, тоже прислушиваясь к приближавшемуся топоту копыт.

— Да что ты просыпаешься от каждого звука!

— Это белые, да?

— Какие там белые, чего им тут надо? Лежи, ради бога, я выйду узнаю...

— Еламан! Это белые!

— Вот выдумала.

— Я тебя не пущу!

Кенжекей кинулась к нему и так крепко обняла его, так прижалась, так бурно застучало ее сердце, что Еламану стало тоскливо, и он подумал, что вот пришла и за ним судьба.

Заря все разгоралась, даже в юрте с опущенным тундуком посветлело. Топот копыт приближался так стремительно, что казалось, еще мгновение — и всадники растопчут юрту. И вдруг у самой двери все оборвалось.

— Эй, безбожник, выходи!

Еламан узнал голос толмача. Осторожно приподняв полог, он увидел ноги трех нервно переступавших лошадей. Оттолкнув Кенжекей на постель, он кинулся вон из юрты. Парохода, подходящего к берегу, он не заметил. Вскинув глаза, он первым узнал Танирбергена. Равнодушно посмотрев поверх Еламана, мурза повернул свое спокойное черноусое лицо к Федорову и слегка кивнул. «Да, он самый!»— означал этот кивок. Толмач с противным металлическим свистом вытащил шашку.

— А ну скажи, безбожник, сколько наших ты погубил, а?!— закричал он.

Еламан выхватил наган и выстрелил. Толмач, так и не успевший взмахнуть шашкой, дернулся, вытаращил глаза и начал валиться из седла.

Из юрты с диким воплем выскочила Кенжекей. Она только мешала Еламану, и он опять оттолкнул ее. Тотчас дружно заревели ребятишки. Побледневший Еламан отскочил, и прямо перед его глазами молнией вспыхнула с силой опущенная шашка Федорова. Конь Танирбергена, всхрапнув, понес, и мурза вдруг очутился далеко в стороне от юрты. Он видел, как, в бешенстве отхлестав ребром шашки своего жеребца, поднявшегося на дыбы, Федоров опять кинулся к Еламану. Глухотявкнул выстрел в степи, в то же мгновение блеснула шашка. По спине Танирбергена пробежали мурашки, будто шашка полоснула не Еламана, а его. Он моргнул, отвернулся, а когда опять поглядел в сторону юрты, увидел, что Федоров остервенело заворачивает норовящегося унести в степь жеребца, а Еламан, залитый кровью, бьется на земле, и тело его, содрогаясь, то сжимается, то опять вытягивается.

Кенжекей бросилась к мужу. Он корчился в пыли, порывался встать. Но левая рука была неестественно подвернута и чудом держалась на одной жилке. Еламан хрипло дышал. Его била лихорадка. На мертвенно-бледном лице безумно горели глаза. Он истекал кровью. Кенжекей сорвала с головы платок.

— О боже... боже... помоги! — твердила она, пытаясь перевязать мужу рану и успокаивая себя тем, что он жив.

В это время с парохода ударили из орудия, черный смерч разрыва поднялся недалеко от крутившегося на коне Федорова, и обезумевший от страха жеребец понес окончательно. Танирберген, недолго думая, хлестнул своего коня и пустился вдогонку за Федоровым.

## Х

С момента отступления Южной армии из-под Аральска с Танирбергеном стало твориться что-то странное. Он начал сомневаться решительно во всем. «Что же это со мной? И неужели это я?» — думал он, как бы со сто-



роны приглядываясь с недоумением к себе, к своему незнакомому двойнику.

То и дело возвращался он мысленно назад. Разве прежде жизнь его была столь уж легка? При всем богатстве и удачливости, бывало, и ему не все сходило с рук, были и у него неприятности, были враги, завистники, и с ними нужно было бороться. И все-таки в самых тяжелых испытаниях, когда, казалось, и жизнь ви-



села на волоске, он не терял ни самообладания, ни ясности ума. Когда после смерти брата, волостного, власть над краем перешла в его руки, разве редко приходилось ему биться в ожесточенных родовых распрях у самого устья жизни и чувствовать мертвую хватку врагов? Но каждый раз молодой мурза оказывался дальновиднее, хитрее и расчетливее своих врагов. Уверенный, что все получится именно так, как он рассчитал, он уже не мог не торжествовать. Но торжествующая улыбка редко про-

ступала на его красивом, самоуверенном и бесстрастном лице, и никто, даже самые близкие ему люди, никогда не знали, что таится в душе у мурзы.

А теперь его словно подменили. Неудача за неудачей преследовала его. Но ужасней всего было то, что сам мурза, по-видимому, ничуть не изменился. По-прежнему был он находчив и изворотлив и все свои поступки загодя взвешивал и обдумывал. Но если раньше, когда дорога его шла в гору, достаточно было малейшего усилия с его стороны, чтобы самое запутанное или вовсе неразрешимое дело вдруг разрешалось будто само по себе, то теперь он диву давался: чем осторожнее делал он каждый шаг, тем настойчивее преследовала его беда за бедой.

Разве поверил бы кто-нибудь раньше в его нынешнюю участь? Быть у кого-то в услужении, быть чьим-то проводником, мотаться по степи, трепля полы чапана, разве это не удел людей мелких и презренных? Нет, нет, мир погиб, все погибло, весь порядок, весь тысячелетний уклад жизни.

Что ж, было время, ублажали его, прислуживали ему. Теперь, должно быть, настал его черед прислуживать. Но не эта перемена в судьбе удручала его. Страшно было другое — что бы он ни задумал за последнее время, все срывалось, все оборачивалось по-иному.

Водя дружбу с русскими и татарскими купцами, молодой мурза был хорошо посвящен в их дела. И чем пристальнее наблюдал он этих предприимчивых людей, тем сильнее росла в нем неприязнь к беспечным и ленивым по природе казахским баям со всеми их несметными табунами и неоглядными пастбищами. Но, хоть он и презирал образ жизни своих сородичей, он понимал, что не может свернуть в сторону с привычной, древней, дедовской дороги. Тем не менее все его старания были направлены на то, чтобы как можно меньше походить на тех, кто всю жизнь надеялся на счастье, ничего для этого счастья не делая.

С тех пор как он оседлал коня, он не довольствовался подобно другим баям тем только, что ниспошлет ему всевышний, и не ждал смиренно от слепой судьбы крохотной милостыни. Всю жизнь проводил он в оживленной деятельности. И тем более не мог отлеживаться и спокойно ждать завтрашнего дня теперь, когда какие-то



небывалые времена неотвратимо надвигались на его вечно дремлющую землю. И конечно же, не мог он поэтому не отправиться в Челкар, чтобы не увидеть и не узнать все самому.

Думал ли он тогда, отправляясь в город, что эта поездка так плохо для него обернется? И почти наверняка не обошлось тут без Темирке. Именно купец указал на него генералу Чернову. Мурза хорошо запомнил свою последнюю встречу с Темирке. Столкнулся с ним на улице, когда мрачный возвращался от генерала. Он ни словом не обмолвился ни о том, что его назначили проводником, ни о том, что вообще был у генерала, но сразу понял, что тому решительно все уже известно. Догадку его подтверждало еще и то, что Темирке не лебезил, не расшаркивался перед ним, как бывало прежде, не расспрашивал о благополучии скота, семьи, аула и родных, не стискивал по-дружески обеими руками его руки, а сразу съежился, будто опаленная шкурка. Знакомая повадка — холодеть душой к тому, в ком отпала нужда, поспешно отводить глаза и делать вид, что тебе очень некогда. Так и тут, минуты не поговорили, а Темирке уже стал озабочен и рассеян, все поглядывал по сторонам, переминался с ноги на ногу, будто спешил по весьма неотложным делам и мурза только задерживал его.

Ах, какая досада взяла тогда мурзу, что был он когда-то с этим прохвостом в приятельских отношениях, и как после этой встречи расхотелось ему видеть еще кого-нибудь из многочисленных своих городских знакомых! И как, вынужденный сдерживаться, задыхался он на первых порах от обиды и ярости. Правда, сначала он в глубине души надеялся, что будет проводником лишь до Алты-Кудука<sup>1</sup>, а уж там по людной степи армия Чернова и без него найдет дорогу. Постепенно уверив себя, что выйдет все так, как он задумал, он до самого Алты-Кудука служил с усердием, честно и преданно.

Все свое влияние на местных жителей он употребил на то, чтобы угодить генералу Чернову. Всю эту огромную армию, под тяжестью которой будто прогибалась казахская степь, вел он по самым богатым аулам, густо расположившимся в урочищах Улу-Кум и Киши-Кум, и

---

<sup>1</sup> Буквально: «Шесть колодцев». Когда-то, в момент основания Аральска, там будто бы было шесть колодцев.



только благодаря его усердию войска не испытывали ни в чем нужды. В своем старании он дошел до того, что собрал однажды знатных людей со всех аулов в Кара-Шокате и своим испытанным красноречием так зажег их, что те добровольно заменили чуть не всех выдохшихся за долгий путь солдатских коней.

Теперь он раскаивался, все его старания пошли ему же во вред. Красным стало известно, как он верой и правдой служит белым. А генерал Чернов, в свою очередь, был так доволен стараниями молодого мурзы, что уже не собирался его отпускать.

Только теперь мурза понял, в какой попал просак. Из всех казахских баев он оказался единственным, который, бросив свой скот и свою семью, открыто стал служить тем, от кого явно отвернулась судьба. Ведь хозяевами этого рушащегося мира, несомненно, станут завтра красные. Если уж сам Колчак со всеми своими войсками не смог одолеть красных, то что же может сделать им какой-то несчастный мурза? Как бы ни боролся ты с ними, твой гнев для них все равно что барахтанье немощного котенка. Ну чего ты добился, указав сыну свирепого Шодыра на Еламана? Никого иного, как тебя же ожидает и расплата. Еламан погиб, но осталась его жена, свидетельница... Известное дело, как бы ни измывался русский над казахом, в грех ему это не ставится. Зато казах казаху не прощает и за смерть всегда будет мстить смертью же. Ну да что говорить, если уж не повезет, ни в чем не повезет.

— Ну!? Скоро колодец?

Танирберген быстро подобрал выпавший из рук повод. Конь понес было его вперед, но мурза натянул поводья, медленно повернулся и спокойно взглянул на рыжего офицера с кошачьими глазами. Отведя взгляд, он слегка ударил каблуком своего иноходца и, по-прежнему равнодушно сидя в отделанном серебром седле, стал глядеть вперед.

Не оглядываясь, он еще некоторое время чувствовал спиной ледяной кошачий взгляд разъяренного офицера и с печалью думал о том, как все-таки неблагоприятны люди. С тех пор как потерпев поражение под Аральском, белая армия начала свое отступление по пустыне, сын Шодыра и этот рыжий офицер возненавидели его, как будто он один был во всем виноват. Да и другие

смотрели на него враждебно, и только благосклонность генерала Чернова сдерживала их. Его терпели еще потому, что без него им было не выбраться из этой пустыни.

Сначала мурза побаивался их и старался держаться поближе к генералу, потом ожесточился и затаил на всех злобу. Теперь же он стал ко всему равнодушен — и к злобе офицеров, и к отвернувшемуся от него счастьем, и к своим несметным табунам на выпасах, и к ласкам жен на супружеском ложе, и к нещадно палившему солнцу, и к этому выгоревшему небу, ко всему белому свету. И жизнь свою он готов был теперь проклясть, и все был готов отвергнуть и отринуть. Измученная душа его жаждала покоя. Исстрадавшаяся плоть молила о глотке воды. Его преследовала навязчивая мысль о бадье с ледяной водой, только что поднятой со дна глубокого колодца, и он морщился, сглатывая горькую слюну.

В последнее время он совсем перестал думать о хозяйстве. Даже о своем ауле, который, отправляясь в Челкар, он оставил на новой летовке возле Карала-Копы, он вспоминал мельком. Расставаясь с братом — софы, он предупредил его, чтобы они не трогались с места, пока не получат от него вестей. Теперь он с мимолетной досадой подумал, что аул слишком долго находится на одном месте и что всю траву вокруг уже, наверное, вытоптала скотина. Людный, богатый скотом аул утопает теперь, должно быть, в пыли... Да и вообще нынче лето выдалось жаркое, засушливое, поэтому земля скудна, трава на покосах выросла редкая, чахлая. Нелегкая зима ожидает скотоводов.

Но думал обо всем этом мурза вскользь. Не до хозяйственных забот ему теперь было, не это его занимало. Сегодня весь день он почему-то жалел изнуренных коней, с трудом переставлявших ноги в раскаленном песке. Думал он и о генерале Чернове, с которым вот уже столько дней ехал бок о бок, и до боли жалко ему было этого старого человека.

От самого Челкара Танирберген следил за Черновым. Нравился ему умный, сдержанный, немногословный генерал. Какая жалость, что познакомились они в недобрый час. Казалось, все беды на этом свете разом обрушились на голову генерала. Власть, которая поставила

его над этими людьми, уже не существовала больше. Войско разбито. Вот это отребье — остатки его армии. Разве можно верить этим людям? Ха!

Очнувшись, Танирберген спохватился, что усмехается вслух, и ему стало неловко перед офицерами, ехавшими рядом. Пустив коня рысью, он поравнялся с генералом. Чернов с надеждой посмотрел на мурзу, ожидая, не скажет ли тот ему что-нибудь утешительное. Угадав мысли генерала, Танирберген поспешно отвел глаза.

Они уже оставили позади места, где им должны были встретиться аулы и, по предположениям Танирбергена, им сегодня вряд ли суждено было добраться до колодца. А завтра, наверное, начнут падать кони. Они и сейчас так взмокли, так запали мыльными животами, что мурза старался уже не замечать ни людей, ни коней, а смотрел прямо перед собой, в степь, в марево.

Безмолвна была дрожащая от жары степь. Безмолвны были и люди. И только измотанные кони время от времени фыркали и чихали, очищая забитые пылью ноздри. Все чаще и чаще спотыкались они то о кочки, то о корявые, обнаженные ветром корни полыни. Проваливаясь в сурчиные норки, они были уже бессильны вытащить ногу и припадали на колени, а всадники, понуро мотавшиеся в седлах, едва не вылетали через головы лошадей. Даже Танирберген, казалось, родившийся в седле, и тот сегодня еле-еле держался. То его кидало вдруг в сон, чего с ним в жизни прежде не случилось, то он расслаблял шенкеля, то начинал страшно мучиться от жажды.

Изболевшийся душой и телом, он то впадал в тупое оцепенение, то приходил в отчаянье. «Боже, боже, есть ли смысл во всех наших жизнях, стоит ли наша жизнь всех этих лишений и жертв? Нет, если вдуматься, чем дорожить? Небом над собою, или этим солнцем, или землей? Может быть, вот этой скрягой пустыней, в которой, как в обворованном доме, умирающий от жажды путник не может найти даже глотка воды? Великая правда в словах: «Лживый, обманчивый мир». Когда ты в отчаянье, во всем этом мире не остается ничего, за что ты мог бы уцепиться хоть ногтями. А когда для тебя иссякли его соблазны, ты уже не хочешь этого мира, но тебе от него так же трудно избавиться, как от опостылевшей старой жены в постели».

Танирберген так устал, что ему было все безразлично. Для него теперь было все равно — белые, красные... Даже к своему кровному врагу, которого он преследовал всю жизнь, он не чувствовал теперь никакой ненависти. Захотел бы он теперь его смерти? «Мне все равно!» — мог бы он сказать. Да что говорить, даже тогда, когда привел он сына свирепого Шодыра к одинокой лачуге на берегу моря, бог свидетель, не крови он жаждал. Ему хотелось увидеть, как его враг, никогда не смирявшийся перед ним гордец, будет трусливо молить о пощаде под обнаженным клинком, валяться в пыли у его ног. О, как насладился бы он его позором! Но и в свой роковой час не захотел покориться ему этот упрямец. В одно мгновение был убит толмач и вспыхнула отчаянная схватка. Что же произошло в следующие короткие мгновения? Побледневший до пота Еламан под сверкнувшей над его головой голой шашкой, дикий блеск его огромных глаз... Безумный, истошный вопль Кенжекей, выскочившей из лачуги и кинувшейся на помощь мужу... И пароход красных, приближавшийся к берегу, гулкий удар орудия с палубы, визг и разрыв снаряда, испуганно присевший его иноходец... Уже решив уходить, он повернул коня и хотел поскакать, а сын Шодыра, вне себя от ярости, нещадно хлеща ребром шашки дрожащего своего коня, оставляя на пыльном его крупе темные полосы, оскалившись, бросился на Еламана, размахнулся... Заслонившись рукой, вытянув другую руку с револьвером навстречу Шодыру, Еламан отступил назад и потом...

Сивый иноходец мурзы, шедший ровной мелкой своей иноходью, вдруг всхрапнул и вздернул голову, собираясь шарахнуться в сторону. Очнувшись, Танирберген подался вперед, взглянул через голову коня и увидал прямо на своем пути под одиноким кустом красного тузгена тускло белевшие обглоданные кости, должно быть, недавно задранной волком крупной скотины. «Где-то поблизости расположен аул», — решил мурза. Привстав на стремянах, он напряженно оглянулся окрест.

«Да что же это? Должны же здесь быть аулы!» — в отчаянии думал мурза. Он так долго вглядывался в раскаленный зыбкий горизонт, что глаза его заслезились.

Кружилась голова. «Перегрелся!»— решил мурза. Опустив плечи, склонив голову, он дотронулся рукою до виска. Вздущаяся на виске жила трепетно билась под пальцами, и мурзе почудилось, что он вот-вот свалится с коня. Он качнулся в седле. Собрав все силы, он тряхнул головой и выпрямился. Потом долго растирал и поглаживал лицо. Головная боль немного утихла, осунувшееся лицо постепенно приняло свой обычный невозмутимый вид. Воспаленными глазами мурза опять обвел горизонт.

Выгоревшие бурые холмы, словно бурые волны, вал за валом уходили вдаль, растворяясь в дымке горизонта. Куда ни посмотришь, всюду однообразный бескрайний мир. Да полно, есть ли предел этому миру? И если есть, то где? Испокон веков эта унылая степь навевала только тоску на человека. А может быть, с самого сотворения мира в это безмолвное пространство не заглядывал ни один смертный? Может быть, даже имени этой пустыни нет на человеческом языке? Или это как раз и есть та самая пустыня Кер-бала, в которой погибли все потомки могущественного Азрет-Али<sup>1</sup>? Именно, пустыня Кер-бала, воистину так! Как это говорится в киссе? Прежде он наизусть ее знал... Эй, правоверные, вспомните повести печальной Кер-балы... Повести печальной Кер-балы... А дальше? Как же дальше-то было? Вот и память иссякла, высохла в этом пекле. Несчастный Хусаин, самый несчастный из всех, с головой опустившийся в горести...

«Вот и наш генерал такой же горемыка, как и Хусаин. Черная отравка разлилась по его жилам, а он молчит. Душу его собаки терзают, а он виду не подает, непроницаем, как камень. Что же это такое? Избитые долгой дорогой люди без конца ерзают в седлах, а генерал день-деньской не шелохнется. Сколько ни смотри на него, ни разу не увидишь, чтобы он изменил позу, сидит будто аршин проглотил. В какую бы минуту ни взглянул на него, все он маячит далеко впереди еле волочащегося за ним войска».

Долго, не отрываясь, смотрел мурза на вылинявшую от соленого пота спинку кителя, на седые виски генера-

---

<sup>1</sup> Зять пророка Магомета, полководец его армии.

ла, на тонкую, старчески сухую его шею, на ямку на затылке величиной с большой палец, на залоснившийся воротник. И, слабея от острой жалости, опять думал, что та арабская пустыня, где погибло от жажды все войско Хусаина, должно быть, была такой же, как и эти аральские степи. Что и там пылало знойное солнце, и там были бурая пыль, бурые чахлые колючки, бурая безбрежная пустыня. И там не было ни глотка воды. Целый месяц шло обреченное на гибель войско Хусаина, а лик безжалостной пустыни был равнодушен. Разве не так же глуха и эта унылая скряга степь, по которой они бредут уже третий день? И опять подумалось: «Может быть, это все-таки и есть пустыня Кер-бала?» Потому что и этот раскаленный ветер, и дремотный блеск солнца, и зыбкое, призрачное степное марево были ему совсем неведомы. Это были чужие, другого мира ветер и миражи. И огненное солнце над их головами — чужое, арабское...

«Нет, перегрелся, перегрелся», — опять подумал мурза. И тут же уши коня, на которые он глядел, задумавшись, стали вдруг куда-то удаляться, уплывать вперед и уменьшаться, исчезая за багровым туманом. Да, да, солнце нагрело, это уже бред, попить бы... Вот и этого бедного старого генерала тоже, наверное, хватит скоро солнечный удар. И Хусаина в пустыне Кер-бала убила жара.

Танирберген пытался отделаться от этих навязчивых, преследовавших его мыслей, хотел думать о другом, но в его воспаленном мозгу вновь и вновь возникали одни и те же видения. И он снова принимался думать, что Хусаин — жертва того древнего мира, жестокость и насилие которого как бы возродились вновь, — был похож, наверное, на этого русского генерала. Похож был не только участью своей, гибелью, но и телом, и душою. И, наверное, слезы навертывались на глаза нукеров, когда видели они неотвратимую гибель своего войска и смотрели на такие же, как и у этого русского генерала, потрескавшиеся серые губы, на тонкую сухую шею, торчавшую из грязной рубахи, на маленькую, с палец, ямку на затылке измученного жаждой Хусаина. Видно, в людях одинаковых судеб, будь то иноверцы или мусульмане, все равно, всегда бывает много общего, много схожего.

Почувствовав, что опять погружается в полузабытье, Танирберген встряхнулся и огляделся вокруг. Ничего не переменилось, все та же удручающе унылая степь, куда ни кинь взгляд, нигде ни единого кустика. Душа ныла от одного ее вида, будто смотришь на человека, изнуренного долгой неизлечимой болезнью. Мурза поспешно отвел глаза от безбрежных далей, повернулся, посмотрел назад. Позади до самого горизонта растянулось еле подвигавшееся войско. Понурые, исхудалые, обросшие солдаты, сняв с себя оружие, переложив его в повозки или повесив на седла, покачивались на истощенных конях, как какие-нибудь выходцы с того света. Никто уже не соблюдал строя, как прежде, все двигались как попало, подобно стаду, которое бродит по степи без пастуха.

Много было среди солдат раненых с перевязанными головами и руками. Повязки их почернели и запеклись от пота и пыли. Армия была сломлена, никто не хотел воевать, одна мысль была у всех — выйти поскорее из этого пекла. Обессиленные кони, тащившие орудия, шатались, останавливались, широко расставив дрожащие ноги, и никакими силами нельзя было сдвинуть их с места. Они дышали как в агонии, и из ноздрей их шла кровь. Артиллеристам было уже не до орудий, они давно бы бросили их в степи, но генерал Чернов оставался непреклонен. Когда тяжелые, как валуны, орудия глубоко увязали колесами в песке, генерал гнал солдат на помощь артиллеристам и коням.

Озлобленные солдаты теперь никого уже не боялись, матерились или не обращали внимания на приказы офицеров. Танирберген делал вид, что ничего не замечает, Разговаривал он только с генералом. Как ни устал он, крепился изо всех сил. По всегдашней привычке в пути он замечал и запоминал каждый куст, каждую кочку.

Начали попадаться солончаки, и тогда мукóй взвивалась белая рыхлая пыль и клубилась под ногами коней. Вдали на горизонте играло и маняще зыбилось море. Миражи эти разливались голубыми озерами, и в воспаленном воображении людей на мгновение вспыхивала надежда. Обманутые миражами, стремясь скорее добраться до воды, иные начинали колотить каблуками по натертым бокам шатавшихся от слабости коней.



Танирберген чувствовал себя виноватым перед этими обреченными на муку людьми. После отступления от Аральска подполковник Федоров предлагал идти побережьем, но мурза воспротивился этому плану. Кроме редких, малочисленных рыбацких аулов, летом на побережье живой души не встретишь. Многолюдные богатые аулы, спасаясь от комаров и слепней Приморья, еще с весны перебирались в степи. Узнав от Танирбергена, что аулы эти располагаются возле колодцев, в которых вдоволь пресной холодной воды, генерал Чернов поддержал мурзу и решил отступать степью.

И вот теперь в этой хваленной степи не встретилось им ни одного аула и ни одного колодца. Масса людей обречена была на гибель в безводной и безлюдной пустыне, да и роковой час мурзы, казалось, был близок. Он все чаще стал думать, что они заблудились. Иначе откуда же тут эта пустынная степь, которую он сроду, с тех пор как научился сидеть в седле, не видел? Ему и раньше приходилось сбиваться с пути, но он каждый раз по почве, по растительности легко находил дорогу. Он и теперь, низко наклонясь с седла, принимался внимательно рассматривать травы и кустарники и ничего не понимал...

Все последнее время он чувствовал себя как бы между сном и явью. Он ехал, ехал, смотрел, слушал и порою не знал, верить или не верить всей этой кутерьме событий, происходивших у него на глазах, и тогда он как потерянный застывал на коне, выронив из рук поводья. Слишком много было непостижимых, необъяснимых событий! Белый царь, божий помазанник, всесильный владыка, оказался до позорного бессильным. Неужели он был столь ничтожным? Или уж слишком слабой была его опора во всех подчиненных ему землях?

Танирберген вспомнил всех известных ему, далеких и близких казахских баев, биев, аткаминеров — правителей этих степей. Вот этот Жузбай, вот тот Мынбай, Жылкыбай, Итбай... и самый пронырливый Рамберды. Потом перед его глазами вереницей прошли богачи каракшепены, черносюртучники, со своими промыслами на берегу моря — свирепый Шодыр, Хромой Жагор, Курнос Иван, Темирке. Думали ли они о крепости государства? Нет, когда мощна их была туга, а в руках сила, никто из них не думал ни о чем на свете, кроме как о



своей корысти, о наживе, о том, как бы приумножить свои табуны, свое состояние, и только хапали и рвали друг у друга своими алчными, загребущими руками. Да и сам он был не лучше их. При жизни брата, волостного, только и знал, что наряжаться да красоваться на резвом коне по аулам да гонять по степи лисиц. А потом, когда сам пришел к власти, о чем он думал? Вместо того чтобы заниматься благосостоянием края, он всецело был поглощен своими женами, своим скотом, ублажением и почитанием памяти каких-то древних предков, чьи кости давно уже истлели в чреве земли.

Чего же он добился, чего достиг, кого облагодетельствовал? А теперь загляни-ка вперед. Кого послушает и почтет эта саранча, эти дикие обормоты, вчера свергшие своего царя, сегодня разбившие Колчака? Есть ли такая сила на земле, которая могла бы противостоять им? Кто знает, кого и как насытят и облагодетельствуют эти голоштанники в будущем, зато уж, как только вся власть придет к ним, первые, кого они искоренят, будут богачи. Мурза вздохнул: верно говорят, мир переменчив... Благодатный мир, в котором еще вчера жилось так вольготно, теперь катастрофически сужался. Последней надеждой его был Аральск. Разбей они красных под Аральском, думал он, в казахских степях воцарились бы мир и благоденствие. Эту надежду лелеял и генерал Чернов, и солдаты были уверены в победе... Но, как говорится, не конь скачет, а удача. Иначе чем объяснить их разгром? Ведь и солдат, и оружия было у них гораздо больше, чем у красных. У них даже броневики и аэропланы были! И вот вместо победы полный разгром. Скольких солдат лишились, сколько оружия оставили! И бредут теперь уцелевшие солдаты, будто побитые льдом рыбешки в половодье. Глаза провалились, губы запеклись, и слабые кони их еле перебирают ногами, и на конских потных боках ходуном ходят, играют под кожей ребра. Кроме сивого иноходца Танирбергена, белого аргамака генерала да жеребца в яблоках Федорова, все остальные уж и на лошадей не походили.

Не зная, на какой удобнее примоститься ягодице, мурза поерзал в седле и опять уперся глазами в уши иноходца. Он не понимал, что с ним творилось. Стоило чуть отвлечься от одних мыслей, как тут же приходили, не давая передышки утомленной его душе, новые неве-

селе мысли. Опять пришел на ум Еламан, опять начал он перебирать в памяти все годы вражды с ним и вдруг с досадой оборвал воспоминания. «А чего это я убиваюсь? Чего, собственно, мучаюсь?» — спросил он сам себя. Почему, в самом деле, не может он избавиться от этих дум о нем? Или нет других забот и печалей на этом свете? Или его совесть замучила? Чувствует он вину перед ним, и оправдывается, и вымаливает прощение? Нет, он не злодей, нет! Он только злом отвечал на зло. Око за око, зуб за зуб, воистину так! Где и когда переступил он черту этой священной заповеди? И если суждено когда-нибудь родиться справедливому судье, способному расцечь мечом волосок вдоль<sup>1</sup> и взвесить человеческие деяния, будущие потомки убедятся, что мы не были злодеями. Нет, это время, как волков, натравливало человека на человека. Но если время — лютый волк, может ли он быть овечкой на привязи? «Нет! Нет! Не хочу!» — чуть не крикнул мурза вслух. Мгновенно яд и ненависть переполнили его, сердце едва не разорвалось от чувств, молчком накопленных за долгие годы. Нет, трудно быть сдержанным, трудно. Загорелое лицо его вспыхнуло, пошло пятнами, и горячая кровь ударила в виски. Но уже через минуту он справился с собой, злоба и ненависть ко всему на свете улеглись, и равнодушие опять овладело его душой.

Так же, как и всех изможденных солдат, его давно уже мучила жажда. На зубах скрипел песок. Он облизывал потрескавшиеся, с белым налетом губы. Во рту было сухо, чувствовался прогорклый солончаковый привкус, клейкая слюна не глоталась, и он морщился, сясь ее проглотить. Опять он ко всему охладел и был в таком отрешенном состоянии, что не сопротивлялся бы ничуть, если бы его даже стали резать на куски. «Может, это и есть смерть? Может, именно так умирают?» — вяло думал он. Видно, путь человеческой жизни всегда оканчивается вот так — разочарованием и досадой. Как это пел акын? В те годы, когда на земле царили еще покой и благополучие, один из назойливых певцов — жырау, которые вечно околачивались со своими почерневшими от времени домбрами в его ауле, сравнивал

---

<sup>1</sup> Фразеологическое казахское выражение, означающее высшую меру справедливости.

человеческую жизнь с кокпаром — козлодранием. Танир-берген терпеть не мог этих певцов, поэтому тогда он только посмеялся в усы над таким сравнением. Он и в мыслях тогда допустить не мог, чтобы он — мурза! — стал когда-нибудь козлиной тушкой для забавы сытых и праздных джигитов. Нет, думал он, если и похожа человеческая жизнь на кокпар, то уж он-то не тушка, предназначенная для кокпара, а ловкий, сильный, удачливый кокпарщик на крепком и быстром коне.

Зато теперь он думал иначе. Каждый, кто пришел однажды в этот мир, будь то хан или раб, все равно в тот день, когда от него отвернется счастье, окажется под ногой более удачливого соперника. Такой конец был у его брата, волостного. Кусая локти, один за другим покинули мир, казалось бы, всемогущие его предки. Да как же ему в голову не пришло в свое время, что именно так кончит в будущем и он? Неужели не знал? Да нет, знал, знал, только храбрился, только хотел на других страху нагнать...

— Ну, скоро колодец?

Мурза даже не обернулся, он по голосу узнал рыжего офицера с кошачьими глазами. Между тем к рыжему подъехало еще несколько офицеров, и на мурзу посыпались вопросы:

— Где колодец?

— Когда приедем в аул, черт побери?

— Отвечай, сукин сын, долго еще нам мучиться?

— Ха! Ты думаешь, он тебе правду скажет? Попомните мое слово, он нас заведет... Все околеем!

— Что и говорить! А ему ничего не сделается...

— Надо доложить генералу. Этим азиатам нельзя верить!

— Ну, скажешь, когда колодец?

— Ишь молчит! Изрубить бы его в куски, как собаку!

Мурза только побледнел, и ноздри красивого его носа нервно сузились. Стиснув зубы, замкнувшись, он защищался от грязной солдатской ругани одним лишь своим презрением степного аристократа. Озверевшее офицерье изрядно опротивело ему, и не хотелось тратить слова на разговоры с этими собаками, не понимающими, что такое достоинство человека. Да и к чему, в самом деле, все разговоры? Повернулась к нему судьба

спиной, вот в чем главная причина. Ведь все эти места, аулы и колодцы были прекрасно известны ему. Каждый год не однажды по разным делам приходилось ему приезжать в Алты-Кудук. И зимой, и летом он ездил по этим степям. Зимой, бывало, закутанный в волчью шубу, садился он в легкие козовые санки и не шевелился до тех пор, пока не выбегали ему навстречу с лаем собаки какого-нибудь аула, в котором он намеревался обедать или ночевать. Разгоряченный конь его, опущенный инеем, дымился, пофыркивал, вжикал подковами по крепкому снежному насту. На полном скаку круто осаживал бойкий кучер коня у какого-нибудь дома, хозяева которого хорошо знали Танирбергена, хотя сам он и не всегда узнавал их.

Просыпались хозяева, рано улегшиеся после сытного ужина. В слепом окошке желтым язычком вспыхивал огонек светильника. Вскоре с хрипом и пискотворением отворилась настывшая наружная дверь, из дома, натягивая на ходу чапан на плечи, спеша и спотыкаясь, выбегал хозяин и, цыкнув на отчаянно лаявших собак, отогнав их широкими полами чапана, подбегал к саням. И пока он, сложив на груди руки и низко кланяясь, не начинал подобострастно молить: «Милости просим! Добро пожаловать, мурза! Будьте дорогим гостем!» — Танирберген даже не шевелился. О времена, времена!..

А летом, когда раскаленное солнце подолгу застревало в зените, мурза трогаться в путь днем не любил. Он предпочитал ехать ночью, по прохладе и, не доверяя никому из сопровождавшей его свиты, сам ехал впереди и сам находил дорогу, какая бы темень ни была. Нигде ни на минуту не останавливаясь, не размышляя, не сбиваясь, он ехал ровной шибкой рысью и непременно приезжал в намеченное место. Для всадника между Акбауром и Алты-Кудуком пять дней езды. И на этом расстоянии Танирбергену было известно решительно все: где самая вкусная вода, где богатые сочной травой пастбища, где, в каком прохладном овраге, возле какого колодца расположился тот или иной аул, какие люди к какому роду принадлежат, кто среди них именит, знатен, богат и кто самый почтенный старец.

И вот теперь с ним явно что-то случилось. Истощенному, черной тучей волочившемуся за ним войску он не мог найти ни глотка воды. Он вел армию от одного вы-

ложенного камнем колодца к другому. Он прекрасно помнил, как, бывало, не раз поил возле этих колодцев студеной водой своих коней в прежних ночных походах. Но сейчас какие-то неизвестные люди неизменно опережали его, разбирали каменную облицовку и засыпали колодцы землей. И богатые аулы, недавно густо располагавшиеся со своим несметным скотом в этих местах, поспешно разобрав юрты, куда-то исчезали. Иногда на месте стоянки аула в рытых очагах еще тлела теплая зола.

Мурза понимал, что это неспроста. Несомненно, от самого Аральска за ними следил кто-то, знавший, по каким именно местам они решили идти. Мурза думал иногда суеверно, уж не дьявол ли их преследует? Он знал, что офицеры и солдаты имели право ему не верить, ведь он обещал им аулы и воду. На их месте и он бы, пожалуй, не поверил. Единственной пока опорой его был генерал Чернов, но и тот, похоже, начал к нему охлаждать. Иногда и он, придерживав своего аргамака и подождав, пока поравняется с ним мурза, прокашливался и спрашивал пытливо:

— Долго еще ехать, мурза?

Танирберген ерзал в седле. Куда подевались аулы и колодцы в этой безбрежной, ни разу за все эти дни не менявшей своего унылого облика степи, мурза сейчас и сам не понимал.

— Гляди, гляди... Видел?

— Что такое?

— Да вон, гляди, над головой кружатся...

— А-а!..

— А я их давно уже заметил.

— Раньше таких не видать было.

— Я за ними давно слежу. Как в барханы зашли да как кони падать стали, так эти стервы тут как тут! Сначала один был, теперь два...

— Во-он и еще один показался...

— Не бойсь, их, сволочей, тут скоро соберется по нашу душу!

— Это не орлы?

— Какой тебе черт орлы! Орел — птица благородная.

— А эти кто?

— А хрен их знает! Стервятники какие-то...

— Не по душе они мне что-то, братцы...

— А чего тебе в них?

— Они хоть на землю-то опускаются?

— А ты думал, воздухом кормятся?

— Бросьте трепаться! Сейчас бы водички глоток...

— Да-а, водица! Такой бы, чтоб в затылке заломило, а?!

— А я, братцы, за всю жизнь ни разу студеной воды не пил, матушка с батюшкой не разрешали. У меня горло слабое было: боялись, простужу.

— А ты слушался?

— А что ж исделаешь?

— Ну и дурак!

— Знамо, дурак. Теперя бы я напи-ился!..

— А эти так и будут теперь над нами кружиться?

— Погоди, сядут.

— Сколь уж гляжу, а все парят и крылами совсем не махают, а?

— Они на пададь садятся.

— Ну, этого добра им тут хватит после нас.

— Эй, будет тебе!

— А что, боишься?

— Да нет, к смерти-то я попривык, а вот как представлю, что эти стервы будут потом мои глазыньки выдирать... Прямо мурашки по коже бегают.

— О господи! Чем так-то в пустыне этой загибаться, уж лучше пуля бы под Аральском.

— Тьфу тебе черт! Пуля! Не бойся, и от пули не уйдем, каркаешь тут...

— Гляди, гляди! Вон один вниз пошел!

Солдаты, разинув рты, уставились в небо.

Танирберген тоже посмотрел вверх. В вышине, в безоблачном небе, раскинув громадные крылья, парили два черных стервятника. Третий, оторвавшись от них, стремительно снижался. Зоркими глазами выследив что-то с высоты, на лету складывая крылья, он камнем падал все ниже, ниже и с каждым мгновением становился все крупнее, и все отчетливее были видны его голова, омерзительная шея и лапы. С шелестящим звуком пронесаясь над головами замерших солдат, он скрылся за пыльными облаками, висящими над хвостом армии.

«Видно, еще один конь пал. А может, и солдат...» — решил мурза. Многие, должно быть, подумали об этом же. На некоторое время стихли все разговоры. Солдаты даже коней не понукали вслух, а только с остервенением колотили их сапогами по бокам. С тех пор как начались пески, мурза все чаще нахлестывал своего иноходца камчой. Все-таки в степи коням было легче идти по твердому суглинку. После полудня, когда солнце стало накреняться к западу, пошли вдруг бурые пески с редкими и рослыми кустами рыжего бурьяна. При виде песков отчаявшиеся солдаты окаменели от ужаса.

А позади мурзы слышался громкий разговор между двумя офицерами:

— Вот увидите, он подослан красными! Уверяю вас!

— Да нет, он, говорят, бай, очень богатый...

— Ну знаете, бай или не бай, а только верить им нельзя.

— Да, они все нас ненавидят.

— И все генерал виноват! Не послушал, старый дурак, Федорова, поверил этой азиатской сволочи!

— Да, да, вы правы, совсем выжил старик из ума...

Танирберген посмотрел на генерала. Обычно командующего в походах сопровождала многочисленная свита. Теперь же возле него не было никого, кроме молодого адъютанта. И мурза понял, что генерал сейчас так же одинок, как и он. И еще мурза понял, что жить ему осталось недолго. Как бы ни были беспомощны теперь офицеры и солдаты, но, если он скоро не выведет их к воде, к аулам, ему не у кого будет искать защиты. Танирберген с тревогой огляделся вокруг. Господи, куда же это их занесло? Ведь подобных песков он никогда не видел. Даже пески Ак-Чили никогда не бывали столь убоги. Это другие места. Совсем другие, незнакомые!

Растерянно глядел он на начинавший змеиться под ногами песок. Хоть было уже далеко за полдень, солнце палило по-прежнему. Дул суховей, из-под конских копыт вздымалась пыль, песок сек лица, назойливо лез в глаза, в рот, в ноздри. Танирберген обвязал лицо шелковым платком. Стоило чуть приподнять голову, раскаленный ветер обжигал лицо, как пламя. Мурза хотел выплюнуть песок, но не было слюны.

Кони начали задыхаться. Танирбергену казалось, что они вряд ли сумеют преодолеть барханы даже на узком перешейке. В вязкий сыпучий песок кони проваливались выше бабки и останавливались, вода боками. Солдаты колотили их коваными сапогами, и кони опять трогались, чтобы через несколько шагов остановиться. Многие падали на ходу как подкошенные. Один молодой солдат на глазах Танирбергена сошел с ума. Весь последний день он молчал. Безразлично и отрешенно сидел он на еле тащившем ноги коне. Плечи его обмякли, голова опустилась, будто он крепко о чем-то задумался. Но было видно, что не думал он ни о чем и что его не мучила даже жажда, от которой изнывали другие. Солнце, нестерпимо пылавшее над головой, было ему нипочем. Он не понимал, куда едет и зачем, кто едет с ним рядом. Своими потухшими глазами он покорно глядел вперед. Спускаясь по песчаному бугру, конь его споткнулся и припал на колени. Вяло сидевший в седле молодой солдат перелетел через голову коня и ударился о песок. Конь, дрожа, поднялся на ослабевшие ноги и повесил голову. Но солдат даже не взглянул на своего коня. Резво вскочив, он вдруг завопил что есть силы: «Вода! Вода!» — и, размахивая руками, помчался вперед.

Изматывающий душу суховей в это время улегся. Подул обычный озорной степной ветерок. Всегда он налетал вихрем и, натворив разных мелких шалостей, мгновенно исчезал. Вот и сейчас как угорелый накинута он на измученных людей, подразнил их, потрепал и унесся прочь, будто его и не было.

Мурза об одном молил бога — скорей бы окончились пески! Обессиленные кони отставали один за другим. Мурза оглянулся. Отстал где-то и его враг — рыжий офицер. Облегченно вздохнув, мурза хотел погнать коня дальше, чтобы еще больше оторваться от рыжего, но ослабла подпруга, и седло стало ерзать по хребту. На спусках с барханов он едва не сваливался вместе с седлом, каждый раз с трудом удерживаясь, упираясь руками в холку.

Вконец измученный такой ездой, он остановился возле двух раскоряченных кустов бурьяна. От самого Уш-Шоки он редко слезал с коня и теперь, едва ступив на землю, почувствовал, как кружится голова. Сивый иноходец с облегчением несколько раз кряду встряхнулся,



позванивая стремянами. Он весь потемнел от пота и тяжело водил боками, не в силах унять крупную дрожь.

Вид замученного коня огорчил мурзу. Да и его самого, как ему показалось, покидали последние силы. Мучимый жаждой, он все пытался набрать слюны и проглотить, но сухой, шершавый, как брусок, язык уже не ворочался во рту. Его неодолимо тянуло лечь в тень под брюхом коня, и немалых усилий стоило ему убедить себя, что нужно ехать дальше.

Подтянув подпругу рукой, в которой был зажат повод, он ухватился за холку и только было сунул ногу в стремя, как заметил краем глаза, что кто-то подъехал к нему вплотную. Всадник круто остановился, мокрая морда тяжело сопевшего под ним коня уперлась в хвост иноходца.

— Слезай!

Танирберген почувствовал, как у него холодеют ноги и начинает ныть в животе. Выдержка все-таки не изменила ему, и, не снимая со стремени ноги, он спокойно повернулся к подъехавшему.

— Что угодно, господин офицер?

— Слезай с коня, предатель!

— Зачем?

— А вот сейчас узнаешь, сволочь, зачем!..

Подъехало и остановилось еще несколько человек. «Ах, далеко, должно быть, уехал генерал!» — с отчаянием подумал мурза. Он не успел снять со стремени ногу, как рыжий офицер соскочил с коня и, оскалившись, ударил мурзу. Танирберген еще удержался, еще успел ухватиться разжавшимися было пальцами за гриву иноходца. Шляпа его отлетела в сторону. Офицер опять ударил его в висок. В глазах мурзы поплыли оранжевые круги, и он упал. Он не почувствовал боли и не успел ни о чем подумать, будто какая-то завеса накрыла его. Через секунду придя в себя, он повел глазами и увидел, что лежит на песке под мордой испуганного иноходца. Офицер сидел у него на груди, придавив коленями руки. Остальные торопливо спешили и окружали их.

Не желая видеть лютые глаза и заросшие щетиной лица озверевших людей, мурза с тоской посмотрел вверх и увидел маленький, с ладонь, кусочек неба. Оно было

выгоревшим и казалось серым. Мурза попытался сказать что-то, крикнуть о чем-то и не мог. Потные пальцы рыжего офицера, сжимавшие ему горло, вызывали в нем отвращение. Мурза понял, что пришла смерть, хотел забыться, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Только в груди еще еле-еле трепетал последний вздох. Проклятые пальцы, сжимаясь, по капле выдавливали из него остатки жизни.

Мурза опять на мгновение потерял сознание, а когда открыл глаза, увидел между сдвинувшимися и наклонившимися над ним людьми все тот же грязноватый, как ему казалось, клочок неба, которое чем-то напоминало ему зареванное бабье лицо, по которому размазаны слезы. Вот все, что остается человеку в его предсмертный час, это все, что уносит он с собой из этого грешного мира, в котором он столько бился, боролся, враждовал с такими же, как и он, маленькими людьми. Полные слез глаза мурзы медленно потухали. Судорога пробежала по всему телу, и горький комок, пронзивший его последней болью, колом застрял в горле под цепкими пальцами душившего его офицера. О лживый, проклятый мир! Лживый! Обманчивый! Никчемный! Теряя в последний раз сознание и чувствуя, как глухота закладывает уши, он все-таки услышал какой-то слабый короткий звук, но не успел понять его смысла — звук оборвался, будто потухшее на ветру пламя свечи. И сразу же все, что он нес с собою целую жизнь, что составляло его самого — сознание, чувства, вся его сущность, — вместе с этим слабым коротким звуком вдруг провалилось в глухую черную бездну и оборвалось...

Придя в себя, Танирберген долго смотрел из-под ресниц в одну точку. Перед ним все зыбилось и было как в тумане. Он ощущал, что возле него суетились, хлопотали какие-то люди, но их лиц он еще долго не мог разглядеть. И ничего не слышал — уши были заложены. Он по-прежнему не мог двинуть ни руками, ни ногами, но тяжесть с груди как будто сняли, и дышалось легко. Горло, намятое пальцами, болело. Мурза приподнял было голову, но тут же опять закрыл глаза. Он решил, что полежит еще немного, наберется сил и потом уже встанет. И он продолжал с наслаждением, не шевелясь, лежать на раскаленном песке. Он чувствовал себя только что вернувшимся с того света, и, наслаждаясь этим

возвращением к жизни, ничего не желая и ни о чем не думая, он вспоминал только давнишний (теперь ему все казалось давнишним) отрывистый далекий звук, который, по-видимому, и спас его от верной смерти. «Что бы это могло быть?» — никак не мог решить мурза.

Почувствовав, что уже может подняться, он зашевелился. Из ушей его будто вынули пробки, он услышал чей-то разговор, и тут же, подхватив с двух сторон, его начали поднимать. Его поднимали бережно, как долгопролежавшего больного, и, все еще не открывая глаз, мурза понял, что его мучителей больше не было возле него.

— Посадите его на коня, — сказал кто-то знакомым голосом.

— Ваше превосходительство, он еще...

— Ничего. Нам некогда ждать. Посадите и поддерживайте с обеих сторон.

Оставив с Танирбергеном двух солдат, генерал Чернов с небольшой свитой поехал вперед. Возле него было всего несколько человек, самых преданных ему теперь, из остатков Каппелевского полка, вооруженных с головы до ног. В поводу вели еще лошадь, навьюченную пулеметом.

Некоторое время, тоскливо глядя вслед уехавшим, мурза собирался с силами. Потом, опираясь на камчу, поднялся на ноги. На иноходца он взобрался с помощью солдат, но, очутившись в седле, приободрился и с радостью ощутил в разбитом теле привычную ловкость. Упираясь в стремяна, он уселся в седле поудобней и покрепче. Конь его стоял понурясь. Мурза ударил его каблуками и направился по следам тенями бредущих среди песков конных и пеших. Едва они тронулись, как мурза заметил, что иноходец ступает неохотно и пугливо косится по сторонам. На песке то здесь, то там чернели трупы загнанных лошадей, тянулись неровные следы оставшихся без коней, валялось оружие. Танирберген низко надвинул на лоб шляпу. Долго ехал он, понуро опустив голову на грудь, не в силах видеть гибель солдат. Потом поднял голову и взглянул вперед.

Солнце шло на закат и теперь ослепительно било в глаза мурзе. Мурза заморгал, слегка отвернул лицо в

сторону, увидел небо и уже не мог оторваться от огромного синего свода. При виде неба он преобразился как истый мусульманин в ночь лейля-уль-кадр—в ночь свершения всех желаний. О боже всемогущий! Что видел он до сих пор? Или ходил по свету с завязанными глазами? Какое это непостижимое, таинственное чудо — бездонное, безбрежно простершееся синее небо над таким же громадным миром, над землей, по которой неприкаянно бредут они уже столько дней! Какая ширь! Без начала и без края. Но ведь все на свете должно иметь предел? И радости, и горести тоже имеют свой предел. Разве человеческий ум может себе представить нечто беспредельное? И не кощунственна ли сама эта мысль? Будь ты хоть семи пядей во лбу, хоть трижды мудрым, тебе дано постигнуть лишь доступный человеку мир. Все остальное загадка, священная тайна всемогущего творца. И это безбрежное синее небо над головой — только знак могущества создателя. Положим, ты и прежде знал, что это великое чудо, но задумывался ли ты о смысле этого могущества?

Мурза невесело усмехнулся. Где уж там! Прежде все твои мысли вертелись вокруг скота на пастбищах да жалкого скарба в доме. На большее тебя не хватало. А в остальное время, гонимый похотью, ты кобелем бегал за подолами разных бабенок. Ах, если бы человек хоть изредка задумывался, что, помимо земных забот, есть еще и иной мир, в котором, может быть, придется платить дорогой ценой за каждый миг прожитой жизни. Если бы он хоть изредка ублажал душу свою смирением, то, может быть, за куцый вершок своей земной жизни и не погряз бы так глубоко в грехах.

Подумать только! Ведь земли под ногами не чуешь, когда похваляешься, что среди твоих предков были и знаменитые благочестивые ишаны, и святые, и мудрые провидцы. Но ни один из твоих предков так же, как и ты, не являлся с утешением к страждущим и никогда не отдавал всего себя людям, как вот это бескорыстное небо. И потом, разве не сужаем мы безрассудно и не затеняем божий свет, когда, как кроты, выкапываем себе каждый по норке, отгораживаемся друг от друга стенами, а вот это прекрасное небо так и не успеваем рассмотреть благоговейно?

Ты только погляди на это диво, до чего же оно вы-

соко, недосыгаемо и чисто! Его не оскверняло еще человеческое дыхание. И не дай бог добратся когда-нибудь человеку до неба, он и его непременно опоганит. А какое оно прозрачное, бесконечное и синее! О создатель, владыка вселенной, ведь для меня недавно было оно совсем не таким! Только клочок его я видел, и было оно серым, будто присыпанным пеплом. Каким ничтожно малым и грязным клочком увидел я огромный мир, когда умирал в лапах этого офицера...

Так что же, может быть, это и есть вся причитающаяся нам доля, которую, умирая, мы уносим с собой? Куда? Когда человек появляется из материнской утробы на белый свет, быть может, всевышним ему заранее определена роковая доля — клочок серого неба как смысл всей нашей жизни на земле? И будь ты даже ходжой или муллой, доволен ты этим смыслом жизни или не доволен, все равно только этим и исчерпывается вся твоя земная юдоль. Ничем, ничем больше... Как страшно!

Должно быть, потому и называют этот мир лживым! Лживый! Мурза, еле шевеля потрескавшимися губами, несколько раз повторил это слово: «Лживый, лживый, лживый». Но если тот мир, в который пришел ты не по своей воле, лжив, разве можешь ты его изменить? Даже если бы очень захотел, и то бы не смог. Ведь горе и насилие, как мор, расползающийся во все четыре стороны света, выдумал не человек, а дал ему всевышний в наказание за первородный грех. Господи, да ведь ты повторяешь слова брата — софы! Когда-то, когда мурза был еще мальчиком, плешивый мулла, которого держал богатый аул, тоже проповедовал нечто похожее. Кстати, мулла этот никогда не снимал с головы чалму, и то, что он был плешив, впервые открыл маленький Танирберген.

Однажды, когда взрослые уселись вокруг достархана, он по стенке прокрался незаметно за спину муллы. Все дружно принялись за мясо. Мулла, как всегда, показывая себя благочестивейшим, дотрагивался до еды лишь кончиками пальцев и благоговейно шептал: «Писмил-ла...» Танирберген незаметно привязал к кончику чалмы за спиной муллы тоненькую пряжу. Другой конец пряжи он привязал к ножке зеленого крашеного сундука, на котором были сложены тюки вровень со

стенкой юрты. Управившись с бешбармаком, взрослые стали вытирать руки. Мулла прочел благодарственную молитву и, будто с облегчением расставаясь с низменными заботами еще одного дня, важно поднялся. Вот тут-то и свалилась с его головы никогда не снимаемая чалма! «О господи, а наш почтенный мулла-то плешив!» — не удержалась тут одна из баб и от удивления ущипнула себя за вспыхнувшую щеку. Танирберген в эту минуту как ни в чем не бывало сидел где-то возле двери. Его душил смех, но он только скромно опускал глаза, как и подобает благовоспитанному ученику перед своим наставником.

Вот этот самый плешивый мулла, бывало, подолгу рассказывал в доме Кудайменде собравшимся на ужин гостям о том свете, будто на этом свете не тревожили его уже никакие заботы. Точно так же, как и старший брат — софы, плешивый мулла, не глядя на тех, кто ловил каждое его слово, щуря слезящиеся глазки, сонно перебирая четки, время от времени указывал рукой куда-то вдаль, и все то хорошее, которое каждый из живущих надеялся вкусить еще при жизни, он неизменно отодвигал на тот свет. И все уже казалось недоступным, все мудрое существовало только на том свете, а наша жизнь представлялась бессмысленной и безнадежной суею сует. О чем бы ни заговаривал мулла, сворачивал он, в конце концов, на одно и то же: первородный грех, хождение по мукам, юдоль скорби, узкий мост, по которому должны пройти все грешники, рай и ад...

А еще любил мулла поговорить о двух страшных ангелах, приходящих перед смертью за душой грешника, — об Азраиле и Жабраиле. Но заводил разговор о них он каждый раз после сытного ужина, когда пребывал в благодушном настроении, и, должно быть, потому эти страшные ангелы, которые должны были когда-нибудь прийти и за его душой, ничуть не тревожили маленького Танирбергена. Более того, частые разговоры о них стали настолько привычными, что он иногда с любопытством думал: а интересно, на кого похожи эти ангелы? Но как ни силился маленький мурза, он так и не мог вообразить ни Азраила, ни Жабраила.

А сейчас он вдруг подумал, что эти ангелы очень похожи, наверное, на рыжего офицера, который его душил.

Вспомнив об офицере, мурза опять почувствовал холодок ужаса в животе и тут же злорадно спросил себя: «Что, поджилки затряслись, голубчик? Не по душе небось умирать-то... Тогда, если можешь, не подыхай раньше срока, цепляйся за жизнь, старайся продлить ее хоть на день, хоть на час!»

Об этом же настойчиво твердили, напоминали мурзе и синее небо, и яркое лучистое солнце: не умирай, живи. И он вдруг с облегчением бросил думать о том, что ждет его впереди, и перестал волноваться о будущем этого помутившегося мира. Чем жаднее вглядывался он в чистое небо, тем острее и радостней чувствовал, что на время вырвался из когтей смерти, что еще может наслаждаться жизнью, что он еще не до конца изведаль отпущенное ему судьбой. К чему терзать себя прошлыми и будущими муками, пока в груди еще теплится душа. Забудь, забудь все! Забудь!

И уже совсем повеселел мурза, спасительная умиротворенность овладела им, как вдруг будто какой-то вещий голос явственно произнес рядом с ним: «Да пошлет тебе бог погибель!» Откуда явился этот голос? Он ли когда-нибудь сказал кому-то эти страшные слова? Нет, никогда он никому этого не говорил. Это *ему* были сказаны когда-то такие слова.

«Да пошлет тебе бог погибель!» Мурза весь похолодел, и рука его с камчой задрожала, будто только сейчас бросили ему в лицо это проклятие. Но кто его проклял? Старик Суйеу? Нет! Красноглазый упрямый старик, крепко обидевшись однажды, навсегда решительно отвернулся не только от него, но и от единственной дочери. Для старика ни он, ни она, преступившие родительское благословение, не существовали более, он их не видел больше никогда. Сколько раз пытались смягчить окаменевшее сердце старика, но все напрасно.

Тогда кто же? Может быть, Акбала? Нет, и не она тоже... Но кто же тогда его так страшно проклял? Или это ему приснилось? Говорят, сон — помет лисиц. А он слышал эти слова наяву. Ему даже помнится, что и тогда, когда услышал он эти слова впервые, он тоже похолодел, как сейчас, но не подал виду. «Да пошлет тебе бог погибель!»



Взволновавшись, мурза начал нахлестывать своего вялого иноходца и на песчаное угорье поднялся волчьей рысью. Впереди, на расстоянии крика, в окружении небольшой свиты ехал генерал Чернов. Танирбергену казалось, что он вот-вот его догонит, но генерал со своей свитой оказался уже на склоне следующего холма, и было хорошо видно, как мелко перебирают ногами истощенные кони, карабкаясь вверх. Ах, что ни говори, а белому аргамачу цены нет! Как живо, несмотря на измотанность, преодолел он подъем. Нет, это не какая-нибудь кляча, которая, обливаясь потом, все-таки бережет на всякий случай силенки. И стать, и норы у аргамача другие. Сколько ни скачи на нем, он никогда не покажет своей усталости. Раздувая тонкие ноздри, он будет мчаться птицей до тех пор, пока на всем скаку не рухнет замертво как подкошенный. «Да пошлет тебе бог гибель!» Кто же ему это сказал?..

Появившись на хребте песчаного холма и тут же перевалив его, генерал Чернов опять скрылся с глаз. Те, что не поспевали за ним, все еще карабкались по склону. У адъютанта генерала, совсем еще юного офицера, конь вдруг стал. Адъютант торопливо спешился, потянул за повод, но утомленный конь не двигался с места. Раздосадованный адъютант снова влез в седло и стал с остервенением хлестать коня по взмыленному крупу. Конь стоял, не в силах вытащить ног из вязкого песка. Бедное животное дрожало, и видно было, как мучительно хочет оно идти дальше и не может. «Да пошлет тебе бог гибель!», «Да пошлет тебе бог гибель!» Нет, доконает его это проклятие! Как капля долбит камень, так и слова эти точили мозг. «Да пошлет тебе бог гибель...»

Танирберген чуть не зажал уши руками. Юный адъютант в бессильной ярости продолжал избивать своего коня. «Не надо!» — хотел крикнуть ему мурза, но, посмотрев на потное безумное лицо адъютанта, промолчал. Мурза как раз подъезжал к адъютанту, когда конь того повалился и уже не пытался встать. Надвинув на лоб шляпу, стараясь не глядеть на адъютанта, беспрестанно понукая иноходца, мурза поторопился проехать мимо. Иноходец его настороженно вдруг поднял голову. Танирберген тоже посмотрел вверх и вздрогнул — огромный черный стервятник кружился над его головой. Ред-



ко и грузно помахивая крыльями, хищно вытянув шею, он зорко следил за двигавшимися внизу пешими и конными. Мурза больше не глядел вверх, но все время чувствовал над своей головой то удалявшуюся, то вновь приближавшуюся тень черной птицы.

Понурившись, Танирберген некоторое время бессмысленно рассматривал отделанную серебром луку седла. «Кто же мне делал седло?» — думал он, стараясь вспомнить имя мастера, но так и не вспомнил. Позади раздался выстрел. «Адьютант?» — безучастно подумал мурза и вдруг поднял голову, услышав впереди какой-то возбужденный гул. Утерев залитые потом глаза, он подался вперед. Те, кто ехал впереди, уже достигли конца бархан. За последними невысокими дюнами начиналась широкая, опаленная зноем бурая степь. Измученные, оборванные, обросшие солдаты оживленно показывали друг другу на степь, кричали что-то хриплыми голосами и торопливо подбадривали коней. Мурза не слышал слов, которые выкрикивали солдаты, но при виде одинокой черной джиды на краю пустыни глаза его вдруг вспыхнули.

О создатель, верить ли своим глазам? Это же... Это... От волнения он не мог вспомнить названия местности и, как потерянный, только бормотал:

— Да! Да, это оно!

Конечно, это то самое место! Где же генерал? А, вон он где едет... Надо догнать его, сказать... Мурза пытался закричать, привлечь к себе внимание, но, как ни напрягался, он мог только слабо хрипеть. Тогда он начал лупить своего иноходца, пока не догнал Чернова.

— Генерал! Генерал, вот это... Это...

Генерал посмотрел на возбужденного Танирбергена, на его черное от солнца и усталости лицо, увидел глаза, налитые слезами, увидел его волнение, его трясущиеся губы и тоже расчувствовался.

— Что, мурза, знакомые места?

— Да, да! Это вот...

— Лично я никогда не сомневался в вашей преданности и честности. Спасибо, мурза!

Танирберген все оглядывался на оставшуюся позади черную джиду. Потом переводил глаза под ноги коня, смотрел по сторонам, и чем больше он всматривался в

почву и травы, тем все вокруг казалось ему роднее, милее, и внутренний ликующий голос нашептывал: «Смотри! Смотри, это начались родные места!» Теперь недолго ждать, скоро степь преобразится. Начнется мягкий грунт, не бьющий копыта коней. В иные, добрые годы, когда снега выпадало особенно много, ах, как покрывалось это поле весною лиловой кудрявой полынью, красным изенем и как тогда утопала вся степь в густом, сочном разнотравье. Где-то в этих краях, если он не ошибается, вон на той равнине, кажется, растет чий. Те места прямо задыхались, бывало, от густого белого, поющего под ветром чия. Видно, потому и край этот называли Ак-Чили...

Это лето выдалось засушливое, все травы выгорели. Полынь с оголенными суховеем корнями валилась набок. Но повеселевший мурза не мог уже думать о плохом. С каждым шагом иноходца он углублялся в знакомые с детства долины и угорья и никак не мог опомниться от охватившего его восторга. От нетерпения он беспокойно ерзал в седле, приподнимался в стремях и весело колотил по бокам шатавшегося коня. Должно быть, потому, что встретился он с родным краем в самый окаянный час своей жизни, все его сейчас волновало. Каждый камень, каждая пядь земли — все живо напоминало ему далекое, давно прошедшее. Вон впереди, за тем перевалом, тянется овраг Ак-Чили. В тот год, когда он украл Акбалу, их аул стоял здесь. Когда в степи под знойным солнцем увядали травы, в овраге Ак-Чили чуть не до конца лета сохранялась весенняя влага и между кустами лисохвоста вперемежку с пыреем благоухали серая полынь, лютики и мятник. О, какой аромат источали с утра до вечера, как щекотали ноздри буйные запахи полыни с мятником! И все-таки плохо мне, плохо, сомлел я на этом солнце, кровь в жилах запеклась... Но ничего, к счастью, теперь уж добрались до Ак-Чили. Уж чего-чего, а воды в Ак-Чили вдоволь, все напьемся! В знойное лето табуны богатого аула паслись всюду, далеко рассыпавшись по оврагам, лощинам и склонам холмов, но когда, бывало, табуны эти косяк за косяком нескончаемо текли на водопой, ведь и тогда хватало воды в колодцах меж зарослей чия. Надо непременно предупредить генерала: измученным

жаждой людям и коням пить надо сначала умеренно, понемногу...

«Что это? Уши иноходца? Два, три, четыре... Разве бывает у коня четыре уха? Доконало все-таки меня солнце, кружится голова». Верховые вокруг мурзы зыбились, как в тумане, он не мог даже различить, у кого какой конь. Сивые, серые, вороные — все масти сливались. Земля под копытами иноходца качалась, будто море, и, чтобы не свалиться, мурза поспешно закрыл глаза. Негромко переговаривавшиеся до сих пор солдаты вдруг опять закричали, стали погонять коней. Мурза, боясь головокружения, не открывал глаз. Иноходец его шел шагом, а он, уронив голову на грудь, погружаясь в забытие, вспоминал тот первый год их жизни с Акбалой.

По желанию мурзы юрту поставили в некотором отдалении от большого аула, на самом краю оврага Ак-Чили. В том году даже в самые знойные месяцы густые травы в недоступном никакой жаре овраге до поздней осени сохраняли весеннюю сочность и аромат. Все лето Акбала не закрывала полог белой юрты, обращенный к оврагу. Никому не позволялось топтать траву возле юрты. Только самые почетные гости могли подъезжать верхом к юрте молодых. Многочисленные праздные путники, днем и ночью осаждавшие байский аул, как правило, спешили где-нибудь подальше и к юрте добирались пешком. Дойный скот держали тоже далеко за аулом. Тундук белой юрты был неизменно опущен, кошма снизу слегка приподнята, и в юрте сохранялся постоянно приятный сумрак, а из-под низу поддувал бодрящий степной ветерок, настоящий на разнотравье. Иногда теплый ветер, носящийся над джайляу, неожиданно становился свеж и даже холоден к утру, и тогда, чтобы молодые под легким шелковым одеялом не продрогли, женщины-служанки осторожно подходили к юрте и тихо прикрывали дверцу. Акбала просыпалась всегда раньше, на заре, накидывала легкий чапан на свое горячее, истомленное мужниными объятиями тело. Выходя из юрты, она широко распахивала обе створки дверцы, и тогда снаружи, прямо из оврага, врывался в юрту густой пряный аромат степных трав. И эта легкая утренняя свежесть приятно бодрила разморенного на перине молодого мурзу.

И на другой год, едва пришла весна, байский аул снова собрался в Ак-Чили. Зима в том году выдалась суровая. Весеннее солнце долго не могло пробить ледяной наст, заковавший всю степь. Когда с первыми же теплыми деньками зимовавшие у побережья аулы стали перекочевывать в степь, зима еще не унималась, и на хребтах увалов, над которыми гулял холодный ветер, все еще темными ноздреватыми пластами лежал снег. Растянувшееся на многие версты байское неторопливое кочевье едва достигло всю зиму отдыхавшего джайляу, как вдруг хлынул весенний дождь. Жидкие серые тучки, давно уже несущиеся по небу, быстро сгустились и плотно обложили небо. Ветер утих, и с гулом полил тяжелый ливень. Пришлось поспешно, на ходу ставить юрты. Под проливным дождем вся степь мгновенно превратилась в грязное море, по балкам и оврагам за аулом забурлила талая вода. Но скоро ливень унялся и небо прояснилось. Яркий безветренный день был совсем по-летнему ласков и тепл. Напитавшаяся влагой, разбухшая земля курилась, исходила паром под теплым солнцем. Едва успел аул раскинуть свои юрты вдоль Ак-Чили, как начали ягниться овцы. Южные склоны увалов и оттаявшие бугры покрылись первой нежной зеленью. Особенно быстро пошла в рост пушистая трава в окрестностях Ак-Чили, и густо разросшиеся побеги туго налились, будто набухшее вымя.

В тот год люди не уставали дивиться мурзе. Все лето он ни на шаг не отходил от молодой жены, а когда уезжал куда-нибудь по неотложным делам, то весь изнывал душой по дому. Возвращаясь, еще задолго до аула он нетерпеливо приподнимался на стременах, высматривая среди белых юрт отау<sup>1</sup> Акбалы. А Акбала в тот год была особенно красива и нарядна. Сколько бы девушек и молодых женщин в ярких, пестрых одеждах ни толпилось возле юрт, Акбала все равно выделялась среди всех своим нарядом. Когда она в зеленом камзоле поверх белого платья с оборками, в высокой саукеле в серебряных подвесках, со звонкими чолпами в косах, грациозно ступая, выходила из юрты, даже старый софы, неохочий до женского пола, и тот при виде Акбалы поспешно отворачивал свое тяжелое, заросшее щетиной

---

<sup>1</sup> Юрта младшей жены.

лицо и бормотал, отплевываясь: «Астафыралла! Эта греховодница кого угодно совратит!»

Прежде, возвращаясь из поездки, мурза неизменно останавливался в юрте старшей жены. К этому привыкли и байбише, и весь аул. Но с тех пор как взял он себе в жены еще и Акбалу и поставил ей отдельную юрту, Танирберген изменил этому правилу. Правда, первое время он чувствовал некоторую неловкость и смущался, въезжая в аул. Смуглая надменная байбише, подчеркивая, что именно она хранительница очага, доставшегося ей от свекра и свекрови, высокомерно восседала в своей юрте на пути мужа, как бы говоря: «А ну-ка попробуй, голубчик, проехать мимо!» Танирберген знал об этом. Знал он также и то, что думала она в такие минуты. А думала она о богатом и влиятельном роде, откуда мурза взял ее замуж, внушала себе, что она дочь богатых родителей, что отец ее ни в чем не уступает свекру, а мать — свекрови и что она может потягаться знатностью со своим муженьком. Все это было хорошо известно Танирбергену. И хотя она поджидала мужа с уверенностью в себе, обида и тревога все-таки гнездились у нее в сердце, и чутко прислушивалась она к каждому шороху за стенкой. Когда топот копыт проплывал мимо и начинал удаляться, завистливая и ревнивая байбише не выдерживала, живо вскакивала с места и выглядывала в щель. Молодой мурза спиной чувствовал ее пронзительный взгляд. Никуда не сворачивая и не останавливаясь, он не торопясь подъезжал по нежной, как плюш, невытопанной зеленой травке прямо к юрте Акбалы. Так же, как и байбише, молодая жена нетерпеливо дожидалась мужа и чутко прислушивалась, высвободив из-под саукеле ухо, и как только доносился до нее шорох шагов спешившегося мужа, быстро поднималась и, приветливо позванивая чолпами, бросалась к двери. Не успевал Танирберген переступить порог, как она, красивая, молодая, улыбаясь от радости и счастья, сияя черными глазами, выбегала из белой юрты. Зная, что весь аул от мала до велика наблюдает сейчас за ним, мурза испытывал легкую неловкость, и румянец выступал на смуглых его щеках. Но Акбала, ничуть не смущаясь, держа мужа за руку, под звон чолп, идя несколько впереди мужа, учтиво распахивала перед ним дверцу юрты. А потом...

«Э, да что это, в самом деле, стряслось, почему так кричат?» — подумал мурза и открыл глаза. Нахлестывая своих заморенных кляч, солдаты с веселыми криками все скакали и скакали вперед, обгоняя его. Передние давно уже добрались до пасшихся в низине многочисленных стреноженных лошадей. Одни, расседлав и бросив своих коней, торопливо седлали свежих, другие, спотыкаясь и оступаясь на затекших от долгой езды ногах, гонялись за пугливыми лошадьми.

«Что же это? Выходит, и теперь в Ак-Чили стоит аул?» — думал Танирберген, заражаясь общим волнением и колотя каблуками своего иноходца. Интересно, чей же это аул? А вдруг какого-нибудь знакомого почтенного человека, а он привел к нему разорение? Не приведи господь! Как ужасно все-таки, что здесь оказался аул... Чей бы он ни был, а кому-то на беду привел он этих оборванных, грязных и озлобленных солдат.

— Ну вот, мурза, вы оказались правы. Вы видите аул за перевалом?

— А? — растерянно откликнулся мурза.

— Аул, говорю. Вон, видите?..

— А-а! Да, да, аул...

— И юрты все белые. Богатый, вероятно, аул, как вы думаете? — оживленно спрашивал генерал Чернов, но мурза его уже не слышал.

Во все глаза глядел он на лошадей, которых ловили и седлали солдаты. Как ни старался он уверить себя, что обманывается, на ляжках коней, которых ловили солдаты, отчетливо было видно тавро величиной с копытце стригунка. Танирбергена прошиб холодный пот. Что же это?! Господи... О господи... Сердце его заколотилось, тошнотворная слабость овладела им. Он хотел крикнуть что-то генералу, весело заторопившемуся вперед, но не мог разжать губ.

У самого въезда в аул Танирбергену показалось, что иноходец его совсем не двигается. Спрыгнув с седла, хлестнув коня камчой, он в бешенстве побежал к аулу. Над аулом поднимался, перекатываясь из конца в конец, невообразимый шум. Мурза обезумел, пот, струившийся из-под шляпы, заливал ему глаза. «О господи, за что меня караешь?» — молился он.

В глазах у него потемнело, и он упал. Он тут же попытался встать, но мог только опереться на дрожащие руки. И опять будто кто-то совсем рядом произнес: «Да пошлет тебе бог гибель, Танирберген!» И он все вспомнил. Вспомнил, как возвратились джигиты, посланные им к туркменам, чтобы угнать лошадей. Все в черном, в глухую безлунную ночь, уже перед рассветом, неслышно, потому что копыта коней были обмотаны кошмой, тихо, крадучись, подъехали они к аулу, но в ауле, будто бы охваченном глубоким сном, их сразу слышали и повысыпали из землянок. Черные джигиты, спешившись, вели под уздцы черных, как ночь, коней. Покойник, завернутый в кошму, окостенело вытянув руки и ноги, лежал поперек седла на вороном коне. Припав к покойнику, не дав даже спустить его на землю, старуха мать закричала так, что вопль ее, казалось, поднялся к самым звездам. Все молчали кругом, и никто не осмеливался подойти к ней. Вышедший из своей юрты Танирберген тоже застыл в нерешительности, и чапан, накинутый наспех, соскользнул с его плеча. Вот тогда и крикнула ему старуха, перестав на минуту рыдать: «Ты лишил меня единственного сына, на старости лет отнял мою надежду, осиротил меня... Да пошлет тебе бог гибель!»

Прежде мурза любил степного жаворонка. Бывало, когда едешь один верхом по необозримой степи, один только жаворонок и ублажает душу путника. Как восторгался он этой голосистой крохотной, величиной всего лишь с детский кулачок, птичкой, упоенно заливавшейся в вышине от зари до заката, наполняя глухую степь бойкой трелью, которая ни на мгновение не давала скучать одинокому путнику.

Вот и теперь трепетал над ним, то взмывая, то опускаясь, жаворонок, но мурза больше не слышал его неугомонного трезвона. Пот, смешанный со слезами, крупными каплями струился у него по подбородку и, как дробинками, пробивал серую горячую пыль. Постепенно овладев собой, уняв слезы, он некоторое время еще сидел, опираясь на руки, потом с усилием поднялся и еле удержался на ногах.

И пока он уже равнодушно тащился к аулу, его обгоняли, обтекали, как какой-нибудь пень, пешие и конные солдаты, бесконечно наплывавшие сзади. возбу-



жденные, словно хищник, наметивший себе жертву, волна за волной врывались они, понукая коней, в безмятежный богатый аул на широкой равнине за черным холмом. Крик и плач стояли над аулом. Между белыми юртами с визгом металась обезумевшая от страха девушка. Хлопали винтовочные выстрелы, отчаянно скуля и волоча окровавленные зады, расползались по юртам собаки. Вне себя от ужаса, вопили бабы, зовя потерявшихся, только что игравших возле юрт детей. И равнодушно смотрел на все это мурза...

Когда он пришел в аул, солдаты уже волокли из юрт бокастые бурдюки с айраном и кумысом. Особенно многолюдно и шумно было возле колодца посередине аула. Издалека слышны были разноголосые крики и брань солдат, звон и лязг ведер и бачков, ржанье лошадей. Там уже находился и наводил порядок генерал Чернов. Туда же, волоча по земле подол чапана, сползавшего с плеча, пришел и Танирберген. Никого и ничего не замечая вокруг, он бросился к ведру с водой, припал к нему, и кадык его задергался. Он успел сделать всего несколько жадных глотков, как генерал Чернов кивнул одному из офицеров. Тот подошел и потянул к себе ведро.

— Хватит, хватит, мурза... Вредно!

Но Танирберген не мог оторваться от воды, и офицеру пришлось силой вырывать ведро из его рук. После первого же глотка крупный пот выступил на лбу у мурзы, но он не вытирал его и по-прежнему не обращал ни на что внимания, с тупой жадностью уставившись на ведро с водой в руках офицера. Генерал Чернов подошел к нему и некоторое время молча смотрел на него.

— Что, мурза, коня потеряли?

— Не знаю...

— Хороший был конь, редкий. Ну ничего, я уже послал солдат, чтобы гнали сюда всех коней, каких найдут. Выберете себе лучшего.

Танирберген промолчал.

— А аул нам встретился очень богатый, мурза. Нам повезло. Вон и старейшины стоят, нужно поговорить с ними и объяснить, кто мы...

Танирберген посмотрел туда, куда показывал генерал, и увидел возле большой белой юрты застывшую



в страхе толпу. Люди были перепуганы насмерть, от былой их гордости не осталось и следа. Танирберген отвернулся и презрительно скривился. Генерал заметил его гримасу.

— Что, знакомые?

— Да.

— Тем лучше... Кто же они такие?

— Мои родственники.

— Что?

— Это мой аул...

— Н-да... Вот как?— сказал генерал неопределенно, стараясь не смотреть больше в глаза мурзы.

Постояв несколько мгновений в нерешительности, он пожал плечами и молча отошел со своей свитой к колодцу. Едва отошел генерал, как к Танирбергену, переговариваясь шепотом, всей гурьбой потянулись его односельчане. Среди них были и байбише, и старший брат — софы... Подойдя поближе, смуглая байбише вскрикнула, бросилась к мурзе, обняла его и заголосила, уже не сдерживаясь:

— Что с нами теперь бу-удет? Ойбай!..

— Эй, сноха, успокойся, будет тебе...— подал голос Алдаберген-софы и покашлял, глядя с изумлением на мурзу.

— Ойбай-ау, ата-еке-ау!..— не унималась байбише.— Как же мне быть спокойной-то...

— Ну хватит, хватит... Не вой! Эй, Танирберген, это ты, что ли, привел их сюда?

— Я...

— Ай-яй-яй! Ну и наделал же ты делов, ничего не скажешь... Вон гляди теперь, любуйся, как твои волосатые гяуры, как бешеные волки, грабят наш аул. Гляди!

Танирберген молчал, смотря себе под ноги.

— Уведи их отсюда. Не дай им грабить наш аул! Слышишь?

Тут и смуглая байбише, и близкие и дальние родственники, окружившие мурзу, заныли, загалдели, поддакивая старому софы.

— Таниржан!.. Милый, душа моя, внемли мольбе нашей...

— Так, так, родной, уведи их. Не накликай беду на нашу голову!

— Ведь ты не то, что мы, тебя они послушают...

- Они же нас разграбят вконец!
- Не отдавай нас на поругание...
- Если ты их не уймешь, они, как пожар, всех нас сметут...

Танирберген с трудом держался на ногах. Голоса родственников тупо били ему в голову. От жажды, ему казалось, кровь запеклась в жилах. Но он не просил ни воды, ни кумысу. Чем сильнее мучила его плоть, тем большее удовлетворение испытывала душа. «Хорошо, хорошо! Так мне и надо!» — говорил он сам себе.

— Эй ты! — гаркнул старый софы. — Ты что, оглох? Не слышишь, что тебе говорят? Ты уведешь гяуров или нет? Почему ты привел этих сучьих выроdkов в наш аул? Ты над кем издеваешься, а?

Танирберген все не поднимал головы, будто о чем-то сосредоточенно размышлял. Лицо его ничего не выражало. Аксакалы в страхе и недоумении переглянулись. В толпе пополз шепот:

- Господи, да что же это с ним случилось?
- Может, свихнулся?
- Неспроста это... неспроста...

Богомольные старики начали поспешно бормотать молитву. Байбише, не отрываясь, глядела на мужа, и чем больше она в него вглядывалась, тем страшнее ей становилось.

Один Алдаберген-софы ничего не замечал. Самолюбие его вечно страдало от постоянного равнодушия к нему младшего брата. Молодой мурза никогда не принимал его всерьез. Старый софы решил, что и теперь, в эту страшную минуту, младший брат нарочно не отвечает ему, срамя его перед аульчанами.

— Ах так?! — гневно закричал софы и вдруг простер волосатые руки к заходящему багровому солнцу.

Догадавшись, что старый софы хочет проклясть брата в предзакатный час, когда любые желания доходят до всевышнего, все пришли в ужас.

— Ата-еке-ау, что это вы надумали? — завопила байбише, хватая Алдабергена за руки. — Разве недостаточно нас бог покарал?!

Оттолкнув невестку, старый софы опять решительно воздел руки.

— О господи, в этот предвечерний час, в час рока и возмездия, пошли ему...

Танирберген вдруг очнулся, вздрогнул и крикнул изо всех сил:

— Убирайтесь! Убирайтесь все с моих глаз!

Безумно крича что-то, он стал бросаться на перепуганных родственников. Таким мурзу еще никто не видал. Теперь и старый софы понял, что дело неладно, и испугался не на шутку. Не смея больше рта раскрыть, он попятился от брата. Боязливо оглядываясь, родственники пустились кто куда.

А над аулом стоял гул. Солдаты хватали все, что попадало под руку, не задумываясь, пригодится им это потом или нет. Девушки и молодые женщины, не успевшие спрятаться, мелькая подолами платьев, бежали от юрты к юрте. Совсем молоденькая девушка, за которой погнался солдат, не помня себя от ужаса, бросилась в степь за аулом. Растопырив руки, солдат бежал за ней, как за курицей. За солдатом мчалась мать. Жаулык слетел у нее с головы. Простоволосая, она вопила:

— Да есть ли мужчина в этом ауле?! Заступитесь, заступитесь, ой-бай!

Танирберген пошатнулся. Перед глазами у него шли черные круги. Что-то сделалось у него со слухом — сплошной невнятный гул накатывался на него волнами. Потом ему показалось, что кто-то теребит его за рукав. Танирберген тупо повел глазами. Перед ним стоял молоденький джигит, почти мальчик, и говорил что-то.

— Что? — крикнул Танирберген.

— Агажан-ай... такой позор!..

— А? Да, да... позор...

— Там младшую жену софы-ага...

— Софы?

— Да! Жену софы-ага...

— Ну?

— Белоликую токал... там один солдат...

Больше Танирберген ничего не помнил. Он очнулся на другой день после обеда с таким чувством, будто у него переломаны все кости. Не в силах оторвать тяжелой головы от подушки, он долго лежал в прохладной затемненной юрте, то открывая, то закрывая глаза. Он силился вспомнить, что случилось вчера, но только какие-то отдельные бессвязные обрывки остались в памяти.

ти. Он помнил только, что побежал к той юрте, на которую указал ему юноша. Кто-то стоял у входа в юрту — русский или кто-то из своих? — и пытался было остановить его, но мурза ворвался в юрту. Опущены были и тундук, и кошма по низу юрты. После ярких красных лучей заходящего солнца сумрак в юрте казался особенно плотным. Переступив порог, Танирберген сначала не мог ничего разглядеть. Только слышно было, как в глубине юрты, там, где мрак был особенно густ, раздавалось учащенное дыхание. Потом молодая токал, кажется, заметила, что кто-то вошел, потому что сказала вдруг прерывистым голосом:

— Эй, эй, бесстыжий... Что он делает, а? А ну вставай!

В глубине юрты, где были сложены тюки, одеяла и постель и где старый софы совершал обычно свои моления, что-то темнело, возилось, покряхтывало. Мурза вдруг сообразил, что он прибежал сюда без ничего, с пустыми руками, и, освоившись с темнотой, он огляделся и схватил что-то тяжелое. Он даже не понял, что взял в руку, а только обрадовался, что увесистое, и пошел в глубину юрты. Солдат ничего не слышал, между тюками он и сам был как тюк, только судорожно держащийся зад его — единственное место на его теле, которого не коснулось солнце, белел в сумраке. Мурзе представилось вдруг, что это рыжий офицер, который душил его. Размахнувшись, он ударил солдата по затылку. Молодая токал взвизгнула. Темная струйка крови залила ей лицо и грудь, и, брезгливо отвернув голову, она выгнулась, сваливая с себя тяжелое, обмякшее тело. Узнав Танирбергена, она быстро подобралась, прикрыла подолом белые полные ляжки и хихикнула.

— Здравствуй, деверек!

— Прочь, шлюха! — прохрипел мурза.

Молодая токал живо выскочила из юрты, а мурза сел на пол и опять уже ничего не помнил.

Теперь он лежал и старался вспомнить, как попал к себе домой. Видно, байбише и родственники привели его или принесли, раздели и уложили в постель. На широкой никелированной кровати лежать было покойно. Просторная байская юрта была, как и прежде, хорошо обставлена и убрана: вокруг на стенках висели дорогие ковры, на полу расстелены текеметы с узорами и на-

шивками. Тундук был опущен, и жара на улице совсем не чувствовалась. Кошму снизу чуть приподняли с теневой стороны, и мурза видел, как легкий ветерок тербил бледную невзрачную травку, росшую вдоль стенки. Из-за стенки с улицы был слышен робкий разговор. Мурза догадался, что возле его юрты собрались люди и ждут, когда он очнется. Говорили негромко, боясь обеспокоить его. Кто-то — мурза не узнал кто — говорил азартнее других, то и дело смачно сплевывая, видно, заложил за губу насыбай.

— Ну и Кален, а? Чтоб он в гробу шакалом был! — доносился возбужденный голос. — Как только мы ему поверили, этому псу?

Остальные, тяжело вздыхая, поддакивали ему.

— Ума не приложу... Видно, бес попутал, а?

— Сидеть бы и сидеть нам на месте, в Карала-Копе...

— Н-да, что теперь делать?

— Вот мурза придет в себя, скажет...

— Что ж, значит, видно, судьба наша такая. Пойдем-ка к Таниржану, может, проснулся...

За юртой начали подниматься и отряхиваться. Танирберген нахмурился и повернулся лицом к стене. Тихо открылась едва скрипнувшая дверь, и в юрту вошли на цыпочках, осторожно покашливая, родные и близкие. На бледном, изнуренном лице Танирбергена появилось всегдашнее неприступно-холодное выражение. Старый софы вместе со смуглой байбише, как самые близкие, выдвинулись вперед и подошли к изголовью высокой кровати, на которой лежал мурза.

— Таниржан... твой старший брат к тебе пришел, — нерешительно сказала байбише.

Алдаберген-софы начал крякать и кхекать, прочищая горло. Сегодня он присмирел против вчерашнего. Густомясое лицо его, заросшее сивой щетиной, осунулось за одну ночь.

— Таниржан, дорогой, подними голову... — робко начал старый софы. — Твои сандаты, слава аллаху, собираются в путь, коней седлают. Отпросись у них, если можно... Мы им вместо тебя другого проводника подыщем.

— Мы уже говорили через толмача с твоим жанаралом, — бойко подхватила байбише. — Он не возражает. Пускай, говорит, если хочет, остается.

Танирберген не отвечал. Он лежал, по-прежнему от-вернувшись к стенке. Старый софы стоял, переминаясь с ноги на ногу, и ждал. Потом, чувствуя, что брат его не намерен отвечать ему, начал смущенно озираться во-круг. Родственники, набившиеся в юрту, растерянно пе-реглядывались. В это время на улице слышалось оживление — к юрте подъезжали верховые. Собаки, еще вчера перепуганные насмерть, не осмеливались даже лаять, поскуливая, жались к юртам. Рыжая гончая, лю-бимая сучка Танирбергена, зажав меж ног хвост, во-рвалась в юрту, заметалась, повизгивая, между гостями, а когда в юрту, брэнча оружием, вошел солдат, заби-лась под кровать.

— Ну как, мурза, едешь или нет? Если едешь, оде-вайся, сейчас выступаем,— сказал небрежно солдат и тотчас вышел вон.

Мурза с усилием поднялся с постели. Не глядя на растерявшихся родственников, он молча стал натягивать на себя новую одежду, заранее приготовленную байби-ше. Потом умылся и напился кумысу. И, по-прежнему ни на кого не глядя, снял с гвоздя камчу с таволжьей ручкой, глухо буркнул:

— Оставайтесь с миром! — и вышел.

У входа его ждал саврасый конь с черной гривой и пышным черным хвостом. Мурза вскочил в седло и на-правил коня в широкий поток всадников, уже высту-павших из аула. Из юрты выбежала байбише, догнала мурзу и схватилась за стремя. Ей хотелось по-вдовьи завывать во весь голос, чтобы все видели, какая она не-счастливая, но, боясь гнева мужа, она сдерживала злые слезы и только повторяла, задыхаясь от бега:

— Мурза... Мурза-ау...

Наступая на подол длинного своего платья, тяжело дыша, байбише потела, и на нее было неприятно смот-реть. Ударив каблуками черногривого саврасого, Танир-берген пустил его рысью, и петличка стремени вырвалась из рук байбише. Она пробежала по инерции еще не-сколько шагов и упала. Позади поднялся многоголосый вой, будто провожали мурзу в последний путь. Пустив саврасого галопом, мурза съехал по склону бурого хол-ма и тогда только оглянулся назад. Богатый аул, при-вольно раскинувшийся на широкой равнине Ак-Чили, был теперь опустошен и печален, будто после налетев-



шей черной степной бури. До мурзы долго еще доносились вопли неутешных баб. И не было вокруг аула ни тучных отар овец, ни конских табунов... Куда ни кинуть взгляд, всюду, по всей равнине медленно бродили или стояли изнуренные, тощие, с подрезанными хвостами клячи. Все они еле держались на ногах, не в силах даже дотронуться до травы.



К обеду стало припекать. Дымчатые тени, с утра прыгавшие с кочки на кочку далеко по степи, постепенно стали укорачиваться, чернеть и наконец, как бы испугавшись застрявшего в зените солнца, убрались под брюха коней. Шальной ветер знойного лета крепчал, посвистывал в сухих стеблях. Он подхватывал поднятую копытами коней бурую пыль, как джин, взвивался



вверх и вдруг набрасывался на людей, обжигая лица своим огненным дыханием. Танирбергену казалось тогда, что к щекам его прикладывают раскаленное железо, и он старался сесть в седле боком и отворачивал лицо.

Кроме медленно едущих и бредущих солдат, во всей степи, куда ни погляди, не было видно ни единого живого существа. Птицы и звери попрятались, спасаясь от страшной жары. За весь путь от Ак-Чили мурза только однажды увидел жаворонка, очумевшего от жажды. Обессиленная крохотная пташка притаилась под пучком ковыля и, раскрыв маленький клювик, завела глаза. Услышав приближающегося всадника, жаворонок открыл глаза, но не взлетел, а только отполз немного, прижимаясь к земле брюхом.

Танирберген обвязал рот белым ситцевым платком. Далеко-далеко впереди из-за голубеющей на горизонте дымки марева проступили дрожащие очертания гор. Горы эти стояли одиноко среди безграничной плоской равнины, сиротливо возвышаясь отдельными своими хребтами. Вон Боташ, вон Бел-Аран и Бес-Шоки... А вот тот, поменьше, смутно выступающий из мгlistых миражей, Жетым-Кара — одиночка-сирота. Извечная земля предков! Все эти вершины и равнины — немые свидетели бесследно исчезнувших за многие-многие века жизней и надежд...

Горы Бес-Шоки, Боташ, Бел-Аран  
Окутаны — глянь! — синей мглой.  
Вон степи мои — Ак-баур и Керей,  
О край мой любимый, родной...

Защемило сердце мурзы. Задыхаясь от жары и не в силах глубоко вздохнуть, едва не припадая грудью к луке седла, он уперся в холку коня и свесил голову. Он знал теперь, что все пропало — пропала вера, пропали все близкие и родные и он сам тоже пропал! Пропадет, если уже не пропал, и его младший брат Жасанжан. И ничего ему уже не было жалко в этом утратившем свой смысл существовании — ни себя, ни братьев, ни так усердно приобретаемого всю жизнь богатства. Ему было только жалко до боли сердца вот эту землю, родной край, проклятый край, молчаливые горы и равнины, с которыми связана была вся его жизнь. И еще мельком подумалось, что у младшего брата его Жа-

санжана будет, пожалуй, еще более печальная судьба, нежели у него самого.

Почувствовав внезапные слезы на глазах, мурза помотал головой и утерся рукавом. Эта дорога кого угодно вымотает, думал он. Два дня прошло с тех пор, как они выехали из Ак-Чили, а все устали так, будто и не было отдыха в богатом байском ауле. Про лошадей и говорить нечего — сытые, застоявшиеся кони из байских табунов, на которых не ездили всю зиму и лето тоже, сразу стали выдыхаться, исходя тяжелым, жирным потом.

До гор, которые издали казались совсем близкими, добирались долго. Только вечером, уже перед заходом солнца, головная часть армии достигла подножия Бел-Арана. Генерал Чернов со свитой ехал на выстрел впереди остальных. Почти стремя в стремя поспевал за ним и Танирберген. Он был так хмур и молчалив всю дорогу, что даже со своим верным слугой, косоглазым юрким джигитом, который догнал его уже после выезда из аула, он не обмолвился ни единым словом. Когда свита генерала с громким топотом выскочила рысью на пригорок Бел-Арана, с левой стороны ей открылся, сверкая на солнце, широкий простор моря. При виде воды измученные жаждой кони начали ржать и нетерпеливо грызть удила. Потянув за повод, мурза сразу же повернул коня в сторону Ак-баура.

— Экая красота! — вырвалось у генерала Чернова.

Любуясь, он долго смотрел сначала на крутобокие склоны Бел-Арана, потом на переливавшееся под солнцем синее море, потом на уходящие в бесконечность пестрые пески Ак-баура и повернулся наконец к Танирбергену.

— Мурза, есть ли здесь пресная вода?

— Есть.

— Тогда здесь и остановимся на ночлег. Кстати, а есть ли поблизости аулы?

Танирберген смутился. И только когда генерал еще раз спросил об аулах и пристально посмотрел на Танирбергена, он молча кивнул и, ударив пятками коня, поехал вперед. Через некоторое время, пробившись сквозь толпу верховых, его догнал подполковник Федоров.

— Что, мурза, знакомые места?

— Знакомые...

— А что за местность?

— Вон те пески под горой — Ак-баур.

— Как? Акба...

— А вон тот черный перевал — Бел-Аран.

— Биль... Все равно не запомню. А места эти, мне кажется, я видел.

— Здесь когда-то ваш отец промышлял.

Танирберген незаметно оглядел Федорова. Под ним был теперь длинный серый конь, а его прежний, в яблоках, уже второй день шел в поводу. Этот быстроногий скакун, участвовавший во многих байгах, принадлежал раньше бедному охотнику, живущему в одинокой юрте у подножия горы Тебренбес, недалеко от станции Саксаульск. Когда Федоров отвязывал стоявшего на привязи скакуна и садился на него, женщины и дети, выбежавшие из юрты, вопили во весь голос. И только хозяин — охотник, крупный сутуловатый мужчина средних лет, молчал, сжав побелевшие пальцы. За день до этого он гонялся за сайгаками на равнине за горой, загнал коня в мыло и на выпас не отвел, а продержал всю ночь на привязи. Бедная семья все лето перебивалась одним молоком, сладкое сайгачье мясо было в диковинку, и потому, когда охотник добыл-таки сайгака, женщины наварили целый котел, ужинать все сели поздно, а спать легли уже под утро. Когда в предутренних сумерках появились солдаты, все в юрте спали безмятежным сном. Разбудило их тревожное ржанье скакуна. Усылав конский топот, хозяин выскочил наружу в одном исподнем, но было уже поздно — Федоров подъехал к скакуну раньше. Иначе в тех краях никто бы не угнался за Тарланом, разве что птица... И вот с самого Ак-Чили Федоров вел быстроногого скакуна в поводу, приберегая на крайний случай. Знал подполковник: на таком коне от самой смерти уйдешь.

Исподтишка наблюдая за Федоровым, Танирберген заметил, как побледнело у того лицо, когда он узнал край, где убили его отца. Он стал высокомерен, как и тогда, когда впервые, еще молодым офицером, приезжал сюда на торги. Должно быть, вспомнились ему несколько белых домишек да огромный, как караван-сарай, сумрачный лабаз на берегу моря. В своих письмах к

ыну, всегда коротких и похожих друг на друга, будто он их одно с другого списывал, отец с нескрываемой гордостью писал каждый раз: «Слава господу, дела мои идут хорошо. Азиаты меня боятся. Промысел расширяется, и состояние наше, слава богу, растет».

Хваленое состояние Федоров увидел потом собственными глазами. Что же касается того, боялись отца азиаты или нет, Федорову было безразлично. Смерть равнодушна... После смерти все теряет смысл. Но все-таки ему больно было, что отца, как прокаженного, зарыли на рыжем холме в стороне от аула. Правда, поставили над ним деревянный крест, но крест этот скоро повалили пасущиеся за аулом верблюды. Сильный ветер, гулявший по открытой степи, развеял могилу, а теперь уж, наверное, и с землей ее сровнял, так что и следа не найдешь...

Конь под Федоровым испуганно всхрапнул и попятился назад. Задумавшийся Федоров быстро подобрал выпавший из рук повод, выпрямился, взглянул в ту сторону, куда опасливо косился конь. Перед ним стояло заброшенное зимовье. Вместо двери и окон зияли черные провалы.

— Тьфу, дьявольщина! — сам не зная почему, разозлился вдруг Федоров и поискал взглядом мурзу.

Танирберген, оказывается, уехал вперед. Группа всадников остановила его. Издалека было видно, как на мурзу замахивались камчами. Федоров шибкой рысью погнал туда коня.

— Вот, ваше благородие, — закричал какой-то казак, увидав подъехавшего Федорова, — опять обман! Опять, иуда, не туды завел, мать его... Опять воды нету!

— Где колодец? — приходя в бешенство, крикнул Федоров.

Танирберген с тупым упрямством молчал и не глядел ни на кого. Федоров подумал, что именно такие азиаты и убили его отца.

— Сейчас он у меня заговорит, стервец! — стекленея глазами, сказал он и расстегнул кобуру нагана. В эту минуту откуда-то сзади к нему протиснулся косоглазый джигит — слуга Танирбергена.

— Таксыр... таксыр!

Все замолчали и сразу обернулись к нему.

— Таксыр, мурза не обманывает вас! Нет, нет... Это зимовка нашего аула. Здесь было десять колодцев! Воды много-много... Все пили. Люди, и скотина, и путники...

— Врешь, подлец! Твой мурза с самого Аральска дурака валяет, обманывает нас.

— Нет, нет, таксыр... Он не валяй дурака, клянусь аллахом! Десять колодцев, бог свидетель!

— Ишь, холуй косоглазый! Куда же делись эти твои колодцы?

— Их рыбаки закопали...

— Рыбаки?

— Верно, таксыр. Это они нарочно — узнали, что сюда идет войско, и колодцы закопали... Они и вашего отца убили! Они всем нам вредили. Они тут рядом живут.

Танирберген, не вмешиваясь в разговор, стоял в стороне. Федоров, не глядя больше на мурзу, застегнул кобуру и ударил коня. Столпившиеся вокруг казаки, гикнув, понеслись за ним крупной рысью. Скоро они выскочили на небольшой бурый холм позади рыбацкого аула. Множество землянок рассыпалось у них перед глазами на круче, обрывавшейся в море. Ни души не было в ауле, а в море, уже почти на горизонте, тесной кучкой уходили вдаль лодки с поднятыми парусами.

В землянках было голо. Рыбаки весь свой немудреный скарб забрали с собой.

— Поджечь! — приказал Федоров.

Солдаты оживленно кинулись к опустевшим землянкам. Сухие сучья и разный хлам, сложенные у дверей домов, вспыхнули, как порох. С громким треском запылали двери, рамы, черные столбы дыма поднялись в безоблачное небо, и одна за другой начали обрушиваться крыши землянок.

На ночлег устроились на берегу. Изнуренные жаждой кони, еще разгоряченные, потные, бросились и припали иссохшими губами к соленой морской воде. Некоторые пустились вплавь и пили там, где вода была не так взбаламучена. Солдаты, поспешно стянув с себя грязную, сопревшую одежду, с наслаждением окунались в прозрачную до самого песчаного дна воду.

На другой день все проснулись поздно. Танирберген прилег было на потник, не раздеваясь, да так и уснул и проспал всю ночь, овеваемый прохладным ветерком с моря. Прибрежная роса быстро высохла. Поднялся ветер, море потемнело, волны беспорядочной чередой, налезая друг на друга, пошли на берег. Небо со стороны моря покрылось черными взлохмаченными тучами.

Едва проснувшись, солдаты побежали ловить своих коней. Генерал Чернов, проснувшись раньше всех, давно уже сидел на белом аргамаче и внимательно осматривал окрестности. Подобрал развевавшиеся по ветру полы чапана, Танирберген пошел к своему коню. Черногривый жеребец ушел недалеко. Он стоял, отвернувшись от ветра, среди сбившихся в круг лошадей, недалеко от того места, где мурза стреножил его вчера.

Пока головные отряды не спеша выбирались в открытую степь, приморский ветер разошелся вовсю. Волны покрылись белой пеной, закачался и заныл под ветром редкий прибрежный камыш, поднялась пыль. Танирберген решил, что пойдет дождь, но ошибся. Плотные тучи ветер будто распорол по швам, и на просторном небе там и сям стали показываться светлые окна. Скоро по небу неслись уже рваные кучи облаков, а под их брюхом мчались по земле большими пятнами, догоняя друг друга, легкие тени. Все чаще из-за этих кучеобразных облаков вырывалось солнце, и свет его был так ярок и жгуч, что мурза невольно начинал погонять коня, стараясь попасть поскорее в несущуюся впереди легкую тень.

Но дождичек все-таки робко побрызгал. Редкие крупные капли слегка прибили рыхлую, мягкую пыль, испестрив ее поверхность глубокими темными оспинками. После обеда утих и ветер. Влага, которую успел все-таки принести дождик, мигом испарилась, и сразу же стало душно, будто в доме, в котором развесили сушить мокрое белье. Мурза скоро потерял из виду своего косоглазого слугу. Видно, конь у бедняги выдохся и отстал. Надеясь скорее добраться до воды, до селений, где бы можно было отдохнуть, генерал Чернов решил не останавливаться и не пережидать жару.

Бел-Аран был далеко позади, и остатки армии все глубже и глубже уходили в одинаково безлюдную

зимой и летом глухую степь. Скоро началась красная каменистая пустыня без единого кустика, без единой, даже чахлой травинки. Эти места Танирберген знал уже плохо. От караванщиков-астыкчи ему было известно только одно: до самой Каракалпакии, до далекого знаменитого Пятиградья теперь им не встретится ни одна живая душа. Даже птицы не летают над Устюртом. По этой пустыне рыскали когда-то басмачи свирепого хана Жонеута, отсюда они совершали опустошительные набеги на казахские аулы, по этим местам увозили они награбленное добро, угоняли скот и женщин. Одни туркмены знали, где находятся редкие колодцы в этой пустыне. От немногих отважных караванщиков, ездивших за хлебом в Кунград и Чимбай, мурза слышал когда-то, что среди скал, нависших над морем, встречаются родники, из которых бьет прозрачная ледяная вода. Но сколько бы он теперь ни вглядывался в скалы, он не видел там ни малейших признаков жизни. По всему плато — ни единого кустика, который бросал бы хоть чахлую тень. От соленой морской воды лошадей пронесло, и вид у них был такой измученный, что впору было бросить их и идти пешком.

Все западное побережье Аральского моря обрывисто. О крутые скалы, дробясь, бьются волны. Глянешь вниз, голова кружится. И чем дальше войска подвигались вперед, тем все безнадежней казалось найти хоть какую-нибудь тропу к морю. А впереди их поджидали трудные перевалы через Каска-Жол, Кара-Тамак и Коян-Кулак. Танирберген понимал, что немногим суждено выдержать эту дорогу.

Генерал Чернов стал похож на живые мощи. В бесконечных переходах с самого Бел-Арана измучился и его конь, и он сам. Лицо его, опаленное пустынным зноем, осунулось, почернело, заросло грязной щетиной, глаза ввалились, губы потрескались. И все же он крепился из последних сил. По-прежнему прямой и отрешенно-суровый на своем белом аргамеке, он так же, как и все эти дни, держался на расстоянии выстрела впереди медленнодвигающейся по безбрежной пустыне армии. Лицо его застыло в каменной неподвижности, брови упрямо сошлись на переносице. Со вчерашнего дня обессиленные солдаты отставали и терялись в степи уже десятками, но генерал ни на что не обращал внимания. Все его

мысли отныне были об одном: хотя бы с остатками армии как можно скорее добраться до границы казахской земли и Каракалпакии. Если генерал Нокс сдержит свое слово, там их с продовольствием и водой должны ждать войска атамана Фелишева и белого офицера Сафара.

И хотя генерал утешал себя этой надеждой, Танирберген этому решительно не верил. Он не верил каким-то призрачным союзникам. И вообще не верил лживому человеческому роду, и самому богу на небе, и даже священному духу предков, который якобы извечно поддерживает страждущих. То, что на этом свете кто-то кого-то жалеет, любит, что люди сострадательны друг к другу — все вздор, досужие вымыслы. Сама мысль о человеческой доброте — глупость. Его такими рассказами не проведешь. Слава аллаху, он познал жизнь и понял — те, что источают елей о человеколюбии и проповедуют жалость к ближнему, на самом деле есть бессердечные и жестокие люди. Хватая окровавленной рукой свою жертву за глотку, они твердят с мерзкой улыбкой: «Не убий!», «Человек человеку брат»... Они протягивают мед, предварительно всыпав туда яду. Да, да, он знает, он сам был таким, когда был в могуществе и силе, сам драл по три шкуры со слабых. А потом, когда счастье и удача отвернулись от него и он стал слабым, дошла очередь и до него. И вот уже на его глазах растерзали его аул, разграбили имущество, забрали лошадей, на его глазах насиловали женщин и девушек, а он глядел на это глумление и покорно молчал. Точно так же расправились бы они с аулом рыбаков, не уйди те заранее в море. Да что говорить, когда, в какие времена бывало, чтобы кто-то кого-то жалел?

До перевалов Каска-Жол и Кара-Тамак войска добрались, когда докрасна раскаленное солнце уже садилось. Никто не стал выбирать удобного места для ночлега, валились где попало.

Расседлав коня, Танирберген подложил под голову седло и обессиленно повалился на спину. Ощутил боль от камня под лопаткой, но двигаться больше не было ни сил, ни желания. Он лежал, прислушиваясь к ноющей боли в суставах. Раскалившийся за день песок жег спину, тело покрылось потом, в горле пересохло. Глаза, уши и ноздри засыпала песчаная пыль, поднятая лошадьми. Время от времени мурза облизывал сухие потрескав-



шиеся губы, и тогда песок противно скрипел на зубах. Сон, несмотря на дикую усталость, не шел, и Танирберген, отупевший, безразличный уже ко всему на свете, долго глядел на аспидно-черное небо, на котором мерцали-мигали звезды. Наконец беспробудный сон сковал смертельно уставших людей.

Перед зарей крики, топот, беспорядочная стрельба разбудили спящих. Страх охватил ничего не понимавших людей. В предрассветном сумраке ошалело металась лошадь, солдаты спросонья вслепую палили из винтовок во все стороны. Мурза подумал сначала, что на них врасплох напали красные, но скоро понял, что какой-то отряд, подкравшись по-воровски, угнал перед рассветом лошадей. Как нарочно, угнали самых выносливых и надежных, в том числе и белого аргамака генерала Чернова, сивого в яблоках коня Федорова и чернотривого саврасого Танирбергена.

Мурза не сомневался, что и в этом происшествии замешан Кален. Все муки, все горе, которые терпели они в пути от самого Аральска,— все это было делом его банды. Это он запугивал аулы на их пути, это он закапывал колодцы. Это он устроил так, чтобы аул Танирбергена перекочевал в Ак-Чили. И вот, наконец, он угнал лошадей... Он! Только он!

Танирберген не побежал, как другие, за своим жеребцом. Он не отчаивался, не убивался, его даже не возмутил дерзкий набег удачливого врага. Он принял это как обычное, заурядное зло, какое испокон веков причиняют друг другу люди. Если есть сила, почему бы не поизмываться брату над братом, родичу над родичем, мусульманину над кафыром или кафыру над мусульманином? Люди пришли в этот мир зла, и так же уйдут из него, и сильные издревле угнетали слабых. Таков этот подлый мир, в котором вечно торжествует зло!

Генерал Чернов, казалось, тоже остался равнодушен к случившемуся. Ему подвели какую-то клячу, он осмотрел ее и не сел. Взяв в руки палку, попробовав, на какой конец ее удобнее опираться, он зашагал по пустыне, увлекая за собой растерянно толпившихся солдат. Танирберген равнодушно взглянул на свое отделанное серебром седло, и тоже, пошатываясь, пошел, подхваченный потоком бессмысленно бредущих вперед солдат. «Пеший или конный, теперь все равно!» — безразлично думал он.

Только к вечеру преодолели солдаты перевалы Каска-Жол и Кара-Тамак. Многие так и остались по ту сторону перевалов, весь путь был усеян трупами людей и лошадей. Танирберген еле волочил ноги. Высокие каблуки этих проклятых сапог, за которые он щедро вознаграждал когда-то сапожника, мешали теперь ему идти. Серый чапан из верблюжьей шерсти, все время сползавший с плеч, он давно уже сбросил, оставшись в одном бешмете. Вспомнив про генерала Чернова, он по привычке посмотрел вперед. Но и впереди теперь брели одни серые призраки, нельзя было уже разобрать, кто из них офицер и кто солдат. Оружие все давно бросили, одежду тоже. Многие стянули с себя и белье и брели нагишом. Сквозь выгоревшие лохматые волосы на грязных заросших лицах безумно горели запавшие глаза.

Танирберген брел, спотыкался и думал только об одном: как бы не упасть. На тех, кто падал, не в силах больше подняться, он старался не глядеть, уставившись себе под ноги. «О господи!» — хотел он сказать и не услышал своего голоса. Надсадный хрип вырвался из пересохшего горла. Он зашатался и, чтобы обрести равновесие, остановился, расставив ноги. Взглянув вверх, он увидел огромную стаю стервятников, которые слетелись сюда со всей пустыни. А над стервятниками, над всем миром возвышалось чистое небо. Танирберген стоял, покачиваясь, и бессмысленно смотрел на высокие белесые облачка — остатки вчерашних туч. Потом лицо его дрогнуло и прояснилось. Он увидел в этом небе, и вмиг понял что-то совсем новое для себя.

Ну, конечно, конечно, зачем судить мелких, завистливых людишек на земле? Как же им не грызться и не пожирать друг друга? Ты взгляни только на это небо! Ведь и там... даже там нет покоя. Тучи и ветер с сотворения мира бьются в бесконечной схватке. На небе всходит солнце. На небе всходит луна. День и ночь в вечном борении сменяют друг друга. И когда окончен день и заходит утомленное солнце, скажи, какой человек не предастся унынию и печали, кому не кажется, что вместе с солнцем погасла и его надежда? Но где-то в глубине души всякий знает, что с закатом солнца жизнь не кончается, что вслед за мраком наступит свет и что радость и горе всю жизнь неразлуч-

но идут бок о бок, что беспокойная жизнь на земле будет повторяться вечно. Веришь ли ты в это? Повторится ли она для тебя? Верят ли в нее вот эти отверженные? Не знаю, не знаю, вон те стервятники в небе, пожалуй, верят.

Мурза пошатнулся, и сознание его помутилось на минуту. Черный мрак вокруг озарился вдруг ярким огнем. «Да это пожар! Мир охвачен пожаром!» — подумал мурза. В лицо ему ударило горячее дыхание огня.

И будто языки пламени облизывали его. Вдруг в красном бушующем зареве мелькнуло что-то темное, тут же обретя человеческое обличье. Показалось, что это Жасанжан, бегущий навстречу пожару. Танирберген узнал брата и долго с недоумением и страхом следил за ним. Потом расхохотался громко и злорадно. О глупец! Несчастный глупец... Разве человек в здравом уме побежит навстречу всепожирающему пожару? Только безумец бросится тушить его!

Мурза очнулся, и вновь вернулось и прояснилось его сознание. И он опять увидел все то же: неизменное небо и нестерпимо пылавшее солнце. По-прежнему висели над головой черные стервятники. И по-прежнему в недостижимой высоте, до которой стервятникам было так же далеко, как и людям, сияло небо. Нет, что ни говори, а небо, куполом раскинувшееся над земной твердью, не столь жестоко, как эта старая скряга земля, жаждущая все новых и новых человеческих слез и крови. Нет, небо добрее и справедливее! «Полно, так ли это? — спросил себя мурза. — Ко всем ли оно одинаково справедливо? Разве справедливо то, что сделало оно со мной и с этими несчастными?»

Как бы спрашивая ответа, Танирберген опять посмотрел на небо. Оно все так же сияло, чистое и далекое. А с запада нестерпимо били в глаза полыхающие снопы заходящего солнца. Танирберген задохнулся. Не может быть, чтобы даже небо было несправедливо. «Оно справедливо, справедливо, справедливо!» — хотелось ему кричать, возвещая всему лживому миру только что открытую им истину.

Но у него уже не было голоса.

**С О Д Е Р Ж А Н И Е**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ . . . . . | 7   |
| ЧАСТЬ ВТОРАЯ . . . . . | 107 |
| ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ . . . . . | 239 |

**Абдижамил НУРПЕИСОВ**

**КРУШЕНИЕ**

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1975, 368 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Усыскина**

Редактор **И. Юшкова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Л. Сухоставская**



А 09344. Сдано в набор 4/III-75 г. Подписано в печать 1/VII-75 г.  
Формат  $84 \times 108^{1/32}$ . Бум. печ. № 1. Печ. л. 11,5. Усл.-печ. л. 19,32.  
Уч.-изд. л. 19,72. Зак. 202. Тираж 200 000 тыс.

Цена 85 коп.



Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».  
Москва, Пушкинская пл., 5

Киевская книжная фабрика республиканского производственного объединения  
«Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Воровского, 24.

**В 1975 году  
издается 15 книг  
библиотеки**

**«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Й. Авижюс** — Потерянный кров. Роман. Перевод с литовского.

**А. Адамович. В. Быков. В. Богомолос. Б. Васильев. Ю. Герш. А. Кулаковский. Б. Рахманин** — Повести о войне.

**Ю. Балтушис** — Проданные годы. Роман. Книга вторая. Перевод с литовского.

**С. Дангулов** — Кузнецкий мост. Роман. Книга первая.

**В. Козаченко** — «Молния». Повести. Перевод с украинского.

**В. Кожевников** — Особое подразделение. Повести и рассказы.

**Я. Кросс** — Окна в плитняковой стене. Повести. Перевод с эстонского.

**П. Куусберг** — Одна ночь. Шоссе свободы. Романы. Рассказы. Перевод с эстонского.

**В. Лам** — Кукла и комедиант. Роман. Повести. Перевод с латышского.

**К. Лордкипанидзе** — Клинок без ржавчины. Повести и рассказы. Перевод с грузинского.

**А. Нурпеисов** — Крушение. Роман. Книга третья трилогии «Кровь и пот». Перевод с казахского.

**Ш. Рашидов** — Победители. Сильнее бури. Романы. Перевод с узбекского.

**А. Чаковский** — Блокада. Роман. Книги 1—5. В трех томах.



